

7278к7

Ф. Д. НЕФЕДОВ



МОСКВА - ИВАНОВО



10/2-150/20 | 1912.02
51002

4/4 ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

12/03.06 - 8234

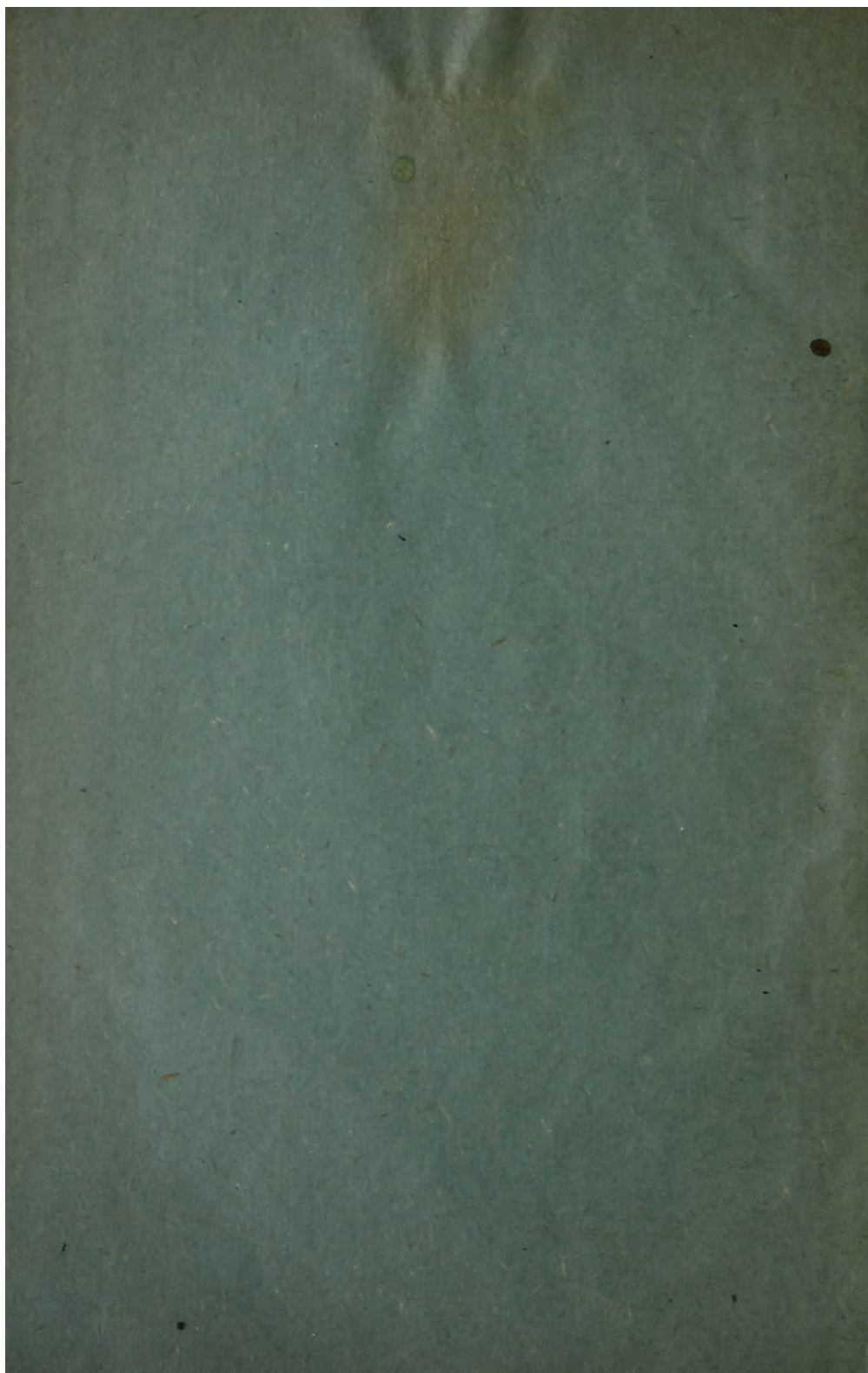
0616

28/05.06 - 8234

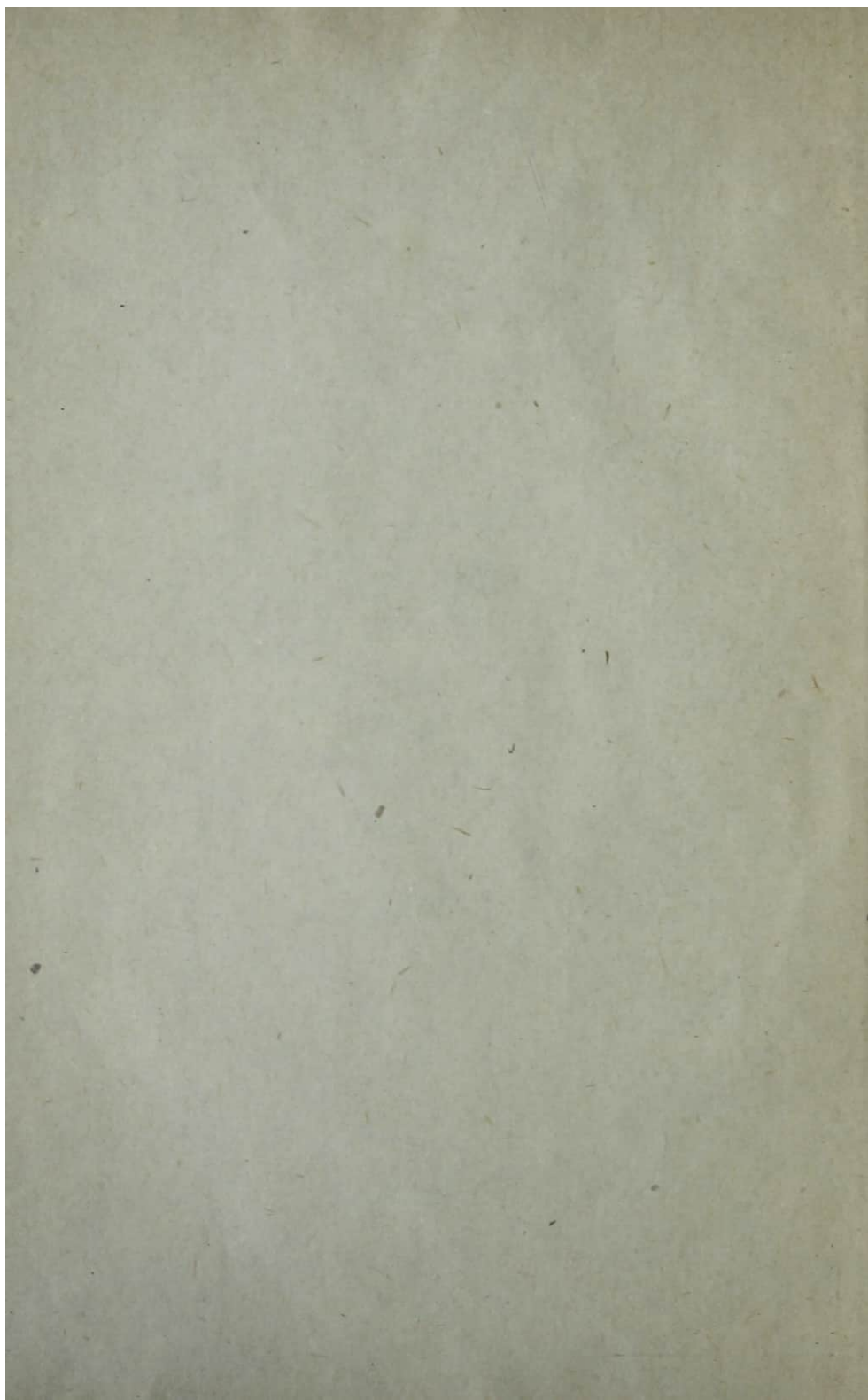
17.10.06 8234

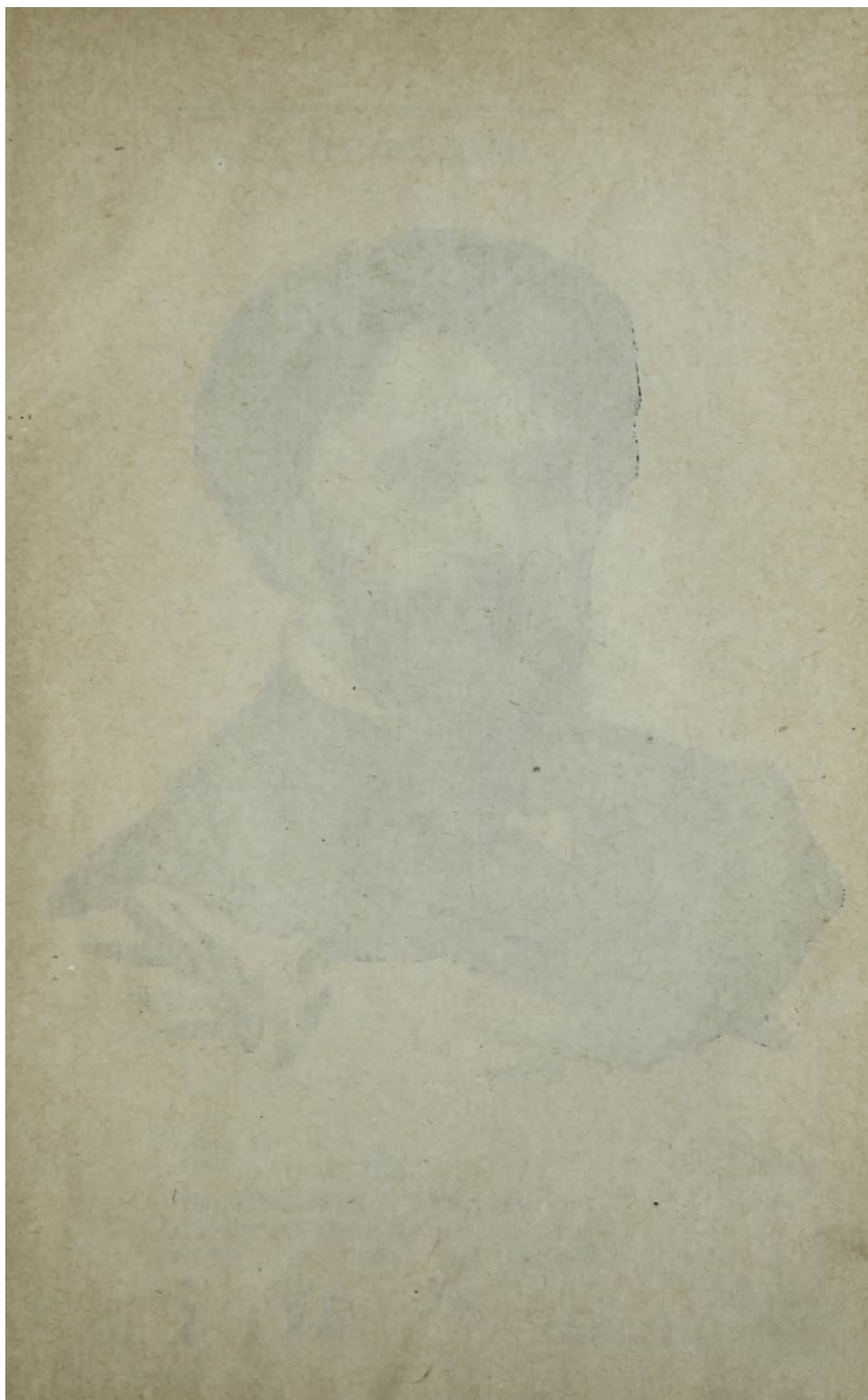
27/11.06 - 8234

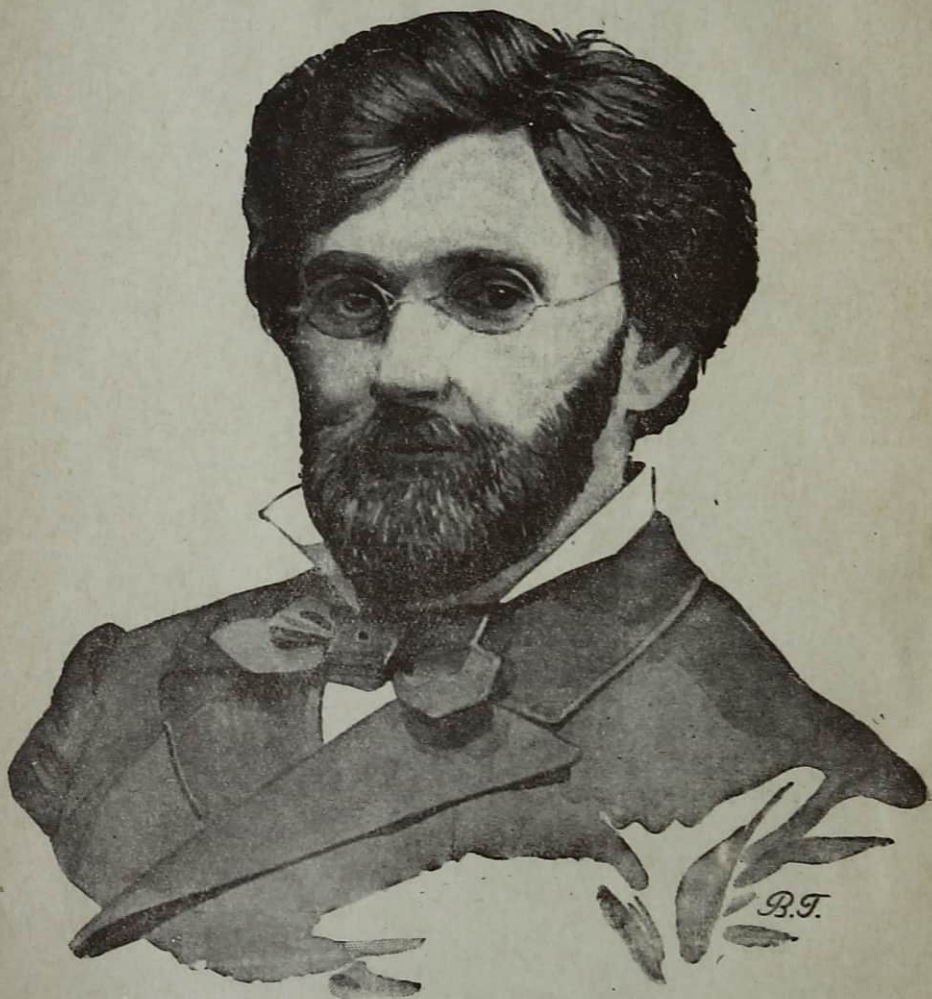












7278к

Ф.Д. НЕФЕДОВ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

ТОМ
I



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКВА *** 1937 *** ИВАНОВО

1941

55
// 2010

Ивановская Обл. Научн. Библиот.

Отдел Краевой

010111

2002

2002

2002

ФИЛИПП ДИОМИДОВИЧ НЕФЕДОВ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иваново издавна славится как один из выдающихся центров текстильной промышленности нашей страны. Его роль и значение особенно усиливаются со второй половины XVIII столетия, когда в нем появляются ситцевое и миткалевое производства. А в 1825 году в Иваново насчитывалось уже до 125 фабрик. Число набойщиков доходило до 7000 человек. Исследователи утверждают, что в это время почти невозможно было найти избу, где бы не было производства, где не занимались бы набойным промыслом.

Все эти предприятия принадлежали крепостным крестьянам, так как село Иваново являлось собственностью графов Шереметевых.

Процесс развития капитализма в промышленности России — в Иваново получил свое яркое выражение. Из сотен и тысяч мелких кустарей начинают выделяться отдельные крупные и крупнейшие фабриканты. Патриархальность общественных отношений (тесно связанная с примитивностью техники производства) постепенно заменяется прямо противоположными отношениями.

«Образуется, — пишет В. И. Ленин, — целый ряд промышленных центров, не занимающихся земледелием. Главным представителем промышленности становится уже не крестьянин, а купец и мануфактурист, с одной стороны, «мастерской», с другой стороны. Промышленность и сравнительно развитые торговые сношения с остальным миром поднимают жизненный уровень населения и его культурность; на крестьянина-земледедца работник мануфактуры смотрит уже сверху вниз»¹.

¹ В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Собр. соч. т. III, стр. 427.

Вот в этом-то промышленном центре, в своеобразных условиях сочетания крепостной зависимости и предпринимательства, у крестьянина, «вышедшего в люди», Диомида Васильевича Нефедова 6 октября 1838 года родился сын Филипп.

Семейство Нефедовых принадлежало к числу средне-достаточных. У Нефедова-отца была небольшая, сравнительно, ваточная фабрика с ручным производством. К этой фабрике присоединилось затем, а может быть и пришло на смену, занятие торговлей. Семья поддерживала связи с крупными фабрикантами. Семейные условия Нефедовых были типичны для массы ивановской мелкой буржуазии: строгость нравов, вечная забота о «деле», строжайшее соблюдение всех обычаев, купеческая «степенность», отрицательное отношение к культуре и принятие ее только в пределах, необходимых для успешного ведения «дела».

Поступил Нефедов в незадолго до этого открытое 1-ое Ивановское Приходское Училище, которое он в 1849 году и окончил. Учился Нефедов неплохо, что подтверждается «похвальным листом», полученным им на публичном испытании «за отличные успехи в науках и примерно-скромное поведение».

Старик Нефедов торопился получить себе помощника и стал приучать сына к своему «делу». Мальчик «исполнял иногда деловые поручения отца, записывал под его диктовку в фабричной книге и бывал в «лабораторке», при варке красок».

Мы не имеем сколько-нибудь достоверных сведений о жизни Нефедова со времени окончания школы и, примерно, до 1856—1857 годов. Можно, однако, предположить, что Нефедов-юноша, приставленный своим отцом к «делу», старался пополнять свое образование, порядочно читал, покупал книги. Пробовал Нефедов и писать. Известны два небольших рассказа («Вечер или девичник» и «Ночная прогулка»), написанные им зимою 1854/55 года и представляющие собой лирические излияния влюбленного юноши-Нефедова по адресу какой-то знакомой ему девушки.

Во время одной из своих поездок по делам отца юноша-Нефедов в 1856 году познакомился в Костроме с неким Н. Ашмариним, москвичем по рождению, служившим

конторщиком у костромского богача Шитова и не чуждым литературной работы (он сотрудничал в «Костромских Губернских ведомостях»). Сохранившиеся письма Ашмарина к Нефедову показывают, что Ашмарин сыграл роль литературного отца Нефедова. Он поправлял писания Нефедова, составлял для него лекции по грамматике и т. д.

Знакомству с Ашмариным Нефедов обязан и напечатанием своего первого произведения. В «Костромских Губернских Ведомостях» появляется первая корреспонденция Нефедова — «Галичская ярмарка». А в № 9 за 1859 год печатается путевой очерк Нефедова — «Из путевых заметок по Нерехтскому уезду». Оба очерка-корреспонденции носят характер записи этнографических наблюдений. Этими двумя корреспонденциями и начинается литературная деятельность Нефедова.

*

Наступила пора устройства личной жизни. Нужно было найти свое место в обществе, нужно было, так сказать, самоопределиться.

Удушливая атмосфера российского самодержавия особенно остро чувствовалась в Иванове. Отсутствие каких бы то ни было развлечений, культурных очагов, картежная игра и провинциальные пьяные «балы» и «вечера», с одной стороны, тяжелейший труд, вечная нужда рабочих, с другой стороны. Молодежь из мелкобуржуазной среды, получив кое-какое образование, тянулась к знанию, мечтала о какой-то новой жизни, о борьбе с царским произволом, чувствовала приближение гибели старого (дореформенного) строя. К этой молодежи принадлежал и Нефедов.

Однако, нужен был какой-то человек, который смог бы стать если не объединяющим началом, то, во всяком случае, играть роль старшего товарища, учителя, советчика.

Таким человеком явился В. А. Дементьев.

Дементьев, родом из с. Иванова, сын дьячка, учится в Костромской духовной семинарии. В поисках дальнейшего образования он попадает в Москву. После долгих мытарств он становится близким человеком у проф. М. Погодина, который издавал журнал «Москвитянин». Дементьев, сотрудничает в этом журнале довольно долгое время. Но сотрудничество это часто прерывалось, так как

Дементьев страдал запоем. Повидимому, в один из таких перерывов он приезжает в с. Иваново и получает место учителя в прогимназии. Дает он и частные уроки.

Приезд Дементьева в Иваново не мог остаться незамеченным. Это был литератор с большими знакомствами, с довольно солидными знаниями. К нему потянулась ивановская жаждавшая культуры молодежь и одним из первых Нефедов, который быстро становится центральной фигурой небольшого кружка молодежи. Чем же занимался кружок? Документы свидетельствуют, что кружковцы ставили спектакли, читали, занимались самообразованием.

Кружок состоял из лиц достаточно культурных. Это не были выходцы из самых «низов». Это были в большинстве своем люди из нарождавшейся буржуазии, люди, получившие известное образование и тяготившиеся болотом провинциальной жизни. Их объединяла ненависть к провинциальному «обществу», ненависть к существующему общественному строю, глубокая скорбь о «малых сих» тогдашней России, вера в «грядущее светлое будущее», желание принести пользу «народу», делом своим помочь приближению «светлого будущего».

Стремление к «настоящему делу» толкает кружковцев на весьма интересную попытку, а именно: организовать воскресную школу для рабочих. О подобных школах тогда много говорили, а кое-где, в частности в Москве, и пытались организовать. Попытка ивановских кружковцев была, во всяком случае, одной из первых в России.

Школа после долгих хлопот была открыта 12 марта 1861 года и, повидимому, пользовалась популярностью, так как насчитывала 139 учеников. Однако уже 1 июня 1862 года школу закрыло «начальство».

Причиной закрытия школы послужило то, что преподаватели не ограничивались узкопрограммными вопросами, а пытались дать слушателям сведения из русской истории и т. п., как это явствует из статьи Нефедова (за подписью Ф. Уводин), помещенной им в «Московских Ведомостях» в № 172 за 1862 год. Статья эта вызвала чрезвычайно характерный запрос со стороны директора училищ: «на каком основании преподаватели вменяли себе в обязанность знакомить слушателей с важными эпохами исторической жизни русского народа, замечательными историческими личностями»...

Так окончилась попытка Нефедова и всего так называемого «дементьевского» кружка заняться широкой культурно-просветительной деятельностью.

*

С 1861 года Нефедов начинает систематически корреспондировать в ряд московских газет, в частности в «Московские Ведомости» и «Век». Уже в этих корреспонденциях выясняется основной круг интересов Нефедова: это — положение ивановских крестьян, защита их интересов против землевладельцев (графа Шереметева), «обличение» произвола властей, местных заправил, забота о просвещении, образовании и культуре.

В 1862 году Нефедов записывает в дневнике: «я — будущий учитель и, может быть, литературный деятель».

Педагогическая деятельность требовала образовательного ценза, и Нефедов мечтает о Москве, об университете. В конце сентября 1862 года с большим трудом он уезжает из Иванова.

«Мечты и цель» жизни Ф. Д. Нефедова являются одной из характерных черт в настроениях российской интеллигенции, известных под именем «просветительства 60-х годов».

Просветитель «...одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» — это отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому»¹.

Нефедов, на правах вольнослушателя, поступает в университет, на историко-филологический факультет. Пе-

¹ В. И. Ленин. От какого наследства мы отказываемся? Собр. соч., т. II, стр. 314.

реехав в Москву, Нефедов, однако, не порывает связи с Ивановом. Он все время деятельно переписывается с ивановскими друзьями, живо интересуясь жизнью родного города, своими товарищами. Переписка друзей давала Нефедову обильный материал для его литературно-публицистической деятельности.

В № 46 журнала «Развлечение» за 1863 год Нефедов печатает под псевдонимом «Ф. Уводин» очерк «Перед кончиною». Выводя в очерке тип откупщика, Нефедов разоблачает взяточничество полиции, деятельность откупщика. Название села Иванова было довольно прозрачно замаскировано «селом Зобовым». С 1864 года сотрудничество в «Развлечении», а затем в «Будильнике» становится постоянным.

Деятельность Нефедова как корреспондента о с. Иванове, его порядках и заправилах доставила автору не только большую популярность в самом Иванове, но и быстро вызвала бешеную ненависть среди тех, кого затрагивал в своих статьях Нефедов. С особенным негодованием было встречено «Чортово болото».

«А ивановцы-то! Ивановцы в каком ожесточении; так и скрипят зубами, съест вас хотят, только покажись», — писал Нефедову С. Г. Нечаев.

Нефедов работает очень много. Очерки, фельетоны, сценки, обозрения он печатает почти из номера в номер. Темы его произведений — самые разнообразные: о суде, о спектаклях, вопросы быта и т. п. Часто берет он и ивановские темы. Пишет он под псевдонимами — Уводин, Нескажуся, Незаметный и т. п.

Пробует он и служить, в надежде иметь постоянный заработок. Служит он в библиотеке Черенина, а в 1865 году его приглашают редактировать библиографический журнал «Книжник».

Но в следующем же году он оттуда уходит, и с этого времени Нефедов живет исключительно литературной работой.

Вслед за Нефедовым потянулись в Москву и другие члены дементьевского кружка. Переезжает сам Дементьев, на короткое время приезжает Нечаев. Здесь, в Москве, Нефедов и его комната становятся центром, вокруг которо-

го объединяются и старые друзья и вливаются новые люди. Среди новых лиц, находивших себе приют у Нефедова, был и известный писатель Левитов, который частенько подолгу жила в комнате Нефедова.

Кружок продолжал, с одной стороны, линию, взятую еще в Иванове (чтение и обсуждение литературы и «наболевших» вопросов), с другой стороны, условия Москвы, возможности печатания, издательской деятельности выдвигали и другие идеи, в частности — издание альманаха из произведений художественной литературы и статей, посвященных критике и «обозрению текущих вопросов жизни за год». Но из этого начинания, встретившего сочувствие у многих писателей (напр., Гл. Успенский, Слепцов), по неизвестным причинам ничего не вышло.

Для понимания настроений и стремлений Нефедова, а также и всего кружка характерно следующее письмо одного из новых «молодых» членов кружка — Д. В. Торчилло.

«Нас интересует, как вы выразились, — писал он Нефедову, — ч е л о в е ч е с к и е интересы (преимущественно, муж и ц к и е). Не знаю, откуда в вас человеческие отношения к мужицким невздам... Московский шум со всем треском его либерализма и бессодержательной начитанности не дает этого. Были, вероятно, сызмала условия, влиявшие на склад вашего мировоззрения... Представьте же, как я должен был обрадоваться, встретив в вас товарища по своему горю и злобе...» И дальше, в этом же письме, мы читаем такую, полную горечи, оценку поведения Нефедова, поведения, которое впоследствии определило путь писателя, его постепенный отход от своих идеалов: «Мне не понравилась в тебе одна черта. Это — боязнь своих убеждений». «Зачем это полусоглашение с нашими недругами? Зачем, хотя и самая невинная, лесть их помещичьим поползновеньцам?»¹

Это «полусоглашательство» явилось следствием недостаточно четкого мировоззрения Нефедова.

Годы 1866—1867 следует считать, в известной степени, годами распада старого дементьевского кружка. Многие члены его, в том числе и Нефедов, предпочли для себя иной, мирный путь деятельности. И похоронным звоном звучит письмо Торчилло Нефедову:

¹ Письмо от 7/VI 1868 г. Хранится в Пушкинском Доме Академии наук СССР.

«Все реформы свидетельствуют о знамениях времени... рабочий люд не сознает еще единства и общности своих интересов, не чувствует своей отдельности от прочих сословий, не носит в себе «своего особого, самобытного я». Поэтому у нас немыслимы: серьезные партии, немыслимо существование социалистической литературы, немыслимо появление Лассалей, даже Шульце-Деличей... Пора не пришла... почвы нет... воздуха нет, которым дышат эти благородные создания европейской культуры...

Вот причина, почему и ты, и я, и все мы, невольно, против желания, несемся по течению, живем и работаем для буржуазии...» (Подчеркнуто мною. Н. М.)¹

Окрыленный литературными успехами, Нефедов избирает путь литературной легальной деятельности, продолжая с этих позиций борьбу с социальной несправедливостью, за лучшие условия существования «нижнего класса населения».

*

В 1869 году Нефедов впервые появляется на страницах «толстых» журналов. В февральском номере «Современного обозрения» он печатает «Нечаянную беду» — первый из серии «Деревенских очерков», а в № 29 в «Отечественных записках» — «Девичник» (очерки фабричных нравов). Оба очерка за полной подписью автора.

27 сентября этого же года Нефедов женится на учительнице русского языка Марии Константиновне Затрапезной. Брак Нефедова оказался неудачным. В 1871 году он, из-за семейных невзгод и неурядиц, вынужден порвать с семьей и уехать в Иваново, к родным. Эту размовку Нефедов переносил крайне тяжело. Переписка его с Левитовым говорит нам о пьянстве, об отчаянии, которое порою охватывало Нефедова.

Семейная драма, однако, не прерывала ни литературной, ни корреспондентской деятельности Нефедова. Помимо указанных нами произведений, Нефедов в эти годы печатает ряд «корреспонденций» в «Неделе» и «С.-Петербургских ведомостях» на московские и ивановские темы, причем особенно велика его деятельность с 1870 года. Большинство корреспонденций посвящено вопросам условий

¹ Письмо от 8/VI 1871 г. — Арх. Пушк. Дома А. наук СССР.

жизни и быта ивановских рабочих и крестьян. Нефедова-корреспондента интересует не только непосредственный быт, не только непосредственные условия работы ивановских рабочих, крестьян, — всех тех, кого он подводил под понятие «народ». Его интересуют также и вопросы экономической жизни страны, в частности — вопросы промышленного развития, ибо эти вопросы имеют, конечно, прямое влияние на положение рабочих масс.

В Иванове Нефедов, помимо своей корреспондентской деятельности, мечтает написать большую вещь, целый роман, который охватил бы все общество России. Он даже делится своими планами с известным либеральным деятелем Стасюлевичем¹. Но мечты не осуществляются. Нефедов получил предложение, которое его захватило целиком.

Предыдущая корреспонденция и публицистическая деятельность доставили Нефедову некоторую известность — как человека, ориентированного в вопросах положения рабочего класса в России. Поэтому не представляется удивительным, что редакция известной буржуазно-либеральной газеты «Русские Ведомости» предложила Нефедову командировку в Иваново с целью изучения жизни ивановских «фабричных».

Нефедов охотно принял предложение и деятельно принялся за работу.

«Я здесь, — писал он, — весьма занят изучением фабричной жизни. Хожу ежедневно по фабрикам, смотрю, как народ работает в вонючих мастерских, громадных зданиях с прядильными и ткацкими станками; хожу в заварки и мытилки, где люди, стоя по 14 часов в сутки, ворочают миткалевые куски в холодной воде, стоя босыми ногами; посещаю жилища рабочих и мастеров, и из всего этого выношу самое тяжелое впечатление, болезненно заставляющее сжиматься мое больное сердце. Независимо от этого, езжу с фельдшером по деревням к больным, гляжу на жизнь «свободных мужиков» и мною чуть не чувство отчаяния овладевает при виде всяческих убожеств жизни нашего православного народа»².

¹ М. М. Стасюлевич (1826—1911) — общественный деятель. Был петербургским городским головой. Профессор Петербургского университета. В течение нескольких десятилетий редактор «толстого» журнала «Вестник Европы» умеренно либерального направления.

² Письмо от 13/1 1871 г. «Стасюлевич и его современники», т. V, стр. 262.

Нефедов составляет соответствующие анкеты, лично опрашивает как самих рабочих, так и фабрикантов. В результате в «Русских Ведомостях» за 1872 год появляются его очерки — «Наши фабрики и заводы».

Очерки эти стоят в одном ряду с очерками «Девичник» и «Святки». Вместе с ними они создали Нефедову известность и представляют собою наиболее интересный этап его творчества. Не потеряли они своего значения и для наших дней.

Очерк «Девичник» начинается ярким, контрастным описанием села Бубнова (т. е. Иванова). «Видишь большой каменный дом, принадлежащий фабриканту; рядом с ним прилепилась крестьянская избенка, вся черная, точно в саже, и покачнувшись на бок; там какая-нибудь фабрика; тут высовывается кабак, над гостеприимными дверями которого смиренная надпись гласит: «с печали и огорченьев», а там целый ряд ветхих крестьянских изб; потом опять каменные палаты и т. д. Таково знаменитое село Бубново».

Дальше мы увидим, что подобное контрастное описание часто встречается у Нефедова и представляет собой один из излюбленных им приемов.

Задача Нефедова в данном очерке — показать дифференциацию ивановского населения, в частности ивановской молодежи.

Для выполнения этой задачи Нефедов сталкивает в своем очерке две группы молодежи: «образованные» (семинарист, конторщик одной из фабрик, писарская и приказчиья дочери) и «холостые» (местная рабочая молодежь) — слесарь, набойщик, гравер Васютка и девицы, в огромном большинстве своем ткачихи, работающие на местных фабрикантов.

Между этими группами лежит пропасть. Это — враги. «Кому же и полированным-то быть, как не им, да купеческим дочерям. В одном питье да сладкой еде весь божий день проходит, а работы, oprичь што в пальцах пошьют, никакой не знают. Сиди, да книжки читай». Столкнув эти две группы на «девичнике» (местное название посиделок) и шаг за шагом развертывая перед читателем ход «девичника», Нефедов с достаточной убедительностью показывает нам всю глубину этой пропасти, силу этой вражды.

В «Девичнике» уже мы можем заметить те черты, ко-

торые будут затем повторяться и получают свое дальнейшее развитие в творчестве Нефедова. Это, прежде всего, вждаемость к богатству несправедливому, к купечеству и глубочайшее сочувствие к «рабочему люду», к «трудоному люду», к «бедным труженикам». Это, затем, враждебность к внешней «полированности», к «городской» моде, культуре, ко всяким «романсам».

*

Как и «Девичник», «Святки» начинаются картиной внешнего вида с. Данилова, тоже Иванова, материал которого лег в основу «Святок».

Пышный фабричный центр, почти-что Москва, как гордо заявляют местные жители, и тут же, рядом, убожество, бедность и нищета рабочих жилищ, особенно при сравнении с домами и дворцами фабрикантов и купцов.

Поставив себе целью — дать очерки русской фабричной жизни, Нефедов берет ее, эту жизнь, во время праздников, как бы для того, чтобы, используя праздничное веселье, разгул и пьянство, еще резче оттенить всю ужасающую неприглядность положения рабочего класса в России в 60-х годах, всю глубину эксплуатации рабочих масс, отдельные картины которой он даст несколько лет спустя в своих очерках-корреспонденциях «Наши фабрики и заводы».

Нефедов не стесняется показать в «Святках» разгул и пьянство. Не стесняется потому, что он находит причину, объясняющую это явление. Его основная в данном случае мысль сводится к тому, что нет ничего удивительного в том, что изнуренный 14—15-часовым рабочим днем, оставляющим время еле-еле для отдыха и сна, рабочий-текстильщик ищет забвения от каторжного труда в водке, в уличных драках.

Показывает Нефедов и недовольство и ропот в массах рабочего люда.

«Невдалеке, посреди улицы, показался запоздалый народ, послышались голоса:

«Ах! И черти же эти хозяева! — гудел какой-то бас. — Им только и дело, што из нашего брата, рабочего человека, кровь сосать! Сколько ты у них ни живи, как честно ни служи, а все от хорошего слова не уйдешь: либо вор,

либо мошенник, а то и все вместе, а под конец и последние штаны оставишь на фабрике...»

Эпоха, в которую Нефедов писал очерки «Наши фабрики и заводы», является эпохой становления буржуазного порядка в России. Идет процесс гибели дворянства, рост капитализации земли, сильнейшей дифференциации крестьянских масс, окончательного разорения беднейшей части крестьянства; идет огромный рост фабрично-заводской промышленности, рост промышленного пролетариата, жесточайшей и свирепейшей эксплуатации рабочих масс.

Как же показывает положение ивановских текстилей Нефедов?

В «Наших фабриках и заводах» мы снова встречаемся с излюбленным приемом Нефедова — противопоставлением роскоши и бедности, богатства и убожества. Прием этот, конечно, не случаен. Имея задачу — показать истинное положение рабочего класса, «разоблачить» казенный оптимизм и благодушие, Нефедов должен был обратиться к этому простому и яркому приему контрастирования.

Употребляя ходившее в то время наименование Иванова — «русский Манчестер», Нефедов сразу же занимает критическую позицию по отношению к прославленному текстильному центру. Для него, Нефедова, центр вопроса не в росте промышленности, не в увеличении производительности труда, не в росте пролетариата, а в том, чтобы «показать, насколько труд фабричный, сменив собою в Иванове труд земледельческий, был благодетелен для местного и окрестного населения и до какого состояния довел он материальный, нравственный и умственный быт рабочей массы». Для него задача состоит в том, чтобы показать «во всей своей наготе настоящее положение рабочих знаменитого русского Манчестера».

Нефедов прибегает к приему показа «старого доброго времени» и противопоставления его современному положению дел. Начиная излагать историю с. Иванова, он рисует нам такую идиллическую картину: «Здесь, на этом поле, летней порой все полно деятельной бодрой жизнью. Лето кончилось, хлеб с поля весь свезен и обмолочен. Картина переменилась. Старики теперь отдыхают... молодичи и девки усаживаются за «станы», ткут холсты и полотна... Помещик от них далеко — он живет в столице; барщины

никто не знает; все живут на оброке. Отличительной чертой нравов того времени служили: прямой характер, честность и безмерная доброта землевладельцев».

Нарисовав нам такой мирный, безмятежный пейзаж, Нефедов описывает развитие промышленности в Иванове все более и более темными красками, изображая ухудшение материального положения, развитие пьянства и т. п.

Для ивановцев остается один выход (спасительный) — вернуться к земле, к «труду своих предков». Но и этот единственный для них выход закрыт, так как село Иваново преобразовано уже в город.

Создав, таким образом, у читателя предубежденное настроение к ивановским фабрикам, Нефедов переходит к знакомству с современным положением рабочего класса. Характерной чертой его изложения является чрезвычайная точность и детальность, стремление держаться только фактов, опираться на цифры, на цифровые расчеты. Его очерки охватывают два момента в жизни ивановских текстильщиков: фабричные помещения и продолжительность рабочего дня.

Картина условий, в которых работают текстильщики и которую развертывает перед нами Нефедов, настолько ярка и выразительна, настолько выпукло представляет нам всю степень безудержной эксплуатации рабочих масс, что очерки его и до сегодняшнего дня не потеряли своей большой познавательной ценности, особенно теперь, когда мы имеем повышенный интерес к истории наших фабрик и заводов.

Непроглядная пыль, вонь, духота, грохот механизмов, полное отсутствие каких бы то ни было защитительных приборов — вот обычная картина фабрики.

Скорбь по патриархальным порядкам прошлого, отрицательное отношение к крупным промышленным предприятиям, к пришлому населению — характерные черты этих очерков. Эти черты нашли свое суммарное выражение в следующих словах, которые Нефедов вкладывает в уста одного из стариков-ивановцев:

«Жили все попросту, без всяких новейших затей, да больно уж жили-то мы тогда хорошо. Без всякого лукавства, по всей чистой правде все у нас было, ну и бог не забывал нас. Помянешь прошлое-то времячко, эка жизнь тогда была, господи».

Нефедов не понял настоящей причины, покоящейся в самом капитализме.

Не понял он и прогрессивного значения развития капитализма¹.

*

Известность Нефедова как человека, ориентированного в вопросах положения рабочего класса в России, базировавшаяся на его обширной корреспондентской и публицистической деятельности, заинтересовала и «знаменитое» III отделение, которое было обеспокоено содержанием и характером газетных корреспонденций из с. Иванова.

Летом 1871 года тайный советник Грибовский посылает в Шую следующий запрос:

«В газетах пишут, что будто бы экономический быт крестьян села Иванова так плох и бедственен, что многие из них стали продавать приезжим купцам-фабрикантам свои дома и землю за самую ничтожную цену... При введении же в селе Иванове городского положения, когда обложатся земским и иным сбором усадьбы, лачуги и никауда негодные земли, то продажа домов пойдет быстро и тогда явится до трех тысяч пролетариев... Покорнейше прошу... собрать и сообщить III отделению... подробные сведения о положении дел в селе Иванове».

В ответ на этот запрос последовал доклад шуйского жандармского капитана Тимофеева. Исключительный интерес этого доклада вынуждает нас привести из него обширную выдержку.

«Экономический быт собственно крестьян села Иванова действительно весьма плох и бедственен, так как огромное большинство из них, не занимаясь вовсе земледелием и не имея никакого к тому хозяйства, суть только рабочие на ситцевых, прядильных и ткацких фабриках, получающие весьма ограниченную заработную плату, едва хватающую им на необходимое пропитание и уплату лежащих на них повинностей... Нельзя не сказать, что вообще ивановские рабочие в высшей степени подавлены гнетом своих хозяев-фабрикантов, сильно их эксплуатирующих. Низкая заработная плата, при чрезвычайной дороговизне в селе Ива-

¹ Очерки „Наши фабрики и заводы“ должны были иметь продолжение. Однако вскоре цензура запретила печатание очерков.

нове продовольственных припасов, еще более уменьшается разными рода вычетами и штрафами, которые взыскиваются фабрикантами за разгул и прочее...

В последние годы не только на больших, но даже и на менее значительных фабриках введение машин все более и более вытесняет ручной труд и при этом заработная плата заметно уменьшается... Наружный... вид крестьян села Иванова изнуренный как употреблением плохой и непитательной пищи, так и несоразмерной силам работой... Кроме того, здоровье рабочих на фабриках сильно страдает в тех отделениях, где производится окраска ситцев и белеяние их и где рабочие дышат удушливым и, по всей вероятности, не безвредным воздухом... Таково положение большинства крестьян села Иванова»...

Как мы видели при рассмотрении очерков «Наши фабрики и заводы», капитан Тимофеев весьма правдиво показал положение рабочих с. Иванова.

Но испугавшись, повидимому, столь мрачной картины и полагая, что в корреспонденциях она еще более мрачна, он спешит добавить:

«В заключение я позволю себе высказать, что в нередких корреспонденциях из села Иванова, помещаемых в газетах, почти без исключения сообщаются малодостоверные сведения, так как пишущие весьма односторонни и даже по большей части мало знакомы с обстановкой и условиями жизни села Иванова и Вознесенского посада. Один из таковых, живущий в Москве и нередко бывающий в селе Иванове, купеческий сын Нефедов, защитник низшего класса населения — хотя и действительно не пользующегося благосостоянием и, как выше сказано, эксплуатируемого фабрикантами, — часто высказывается с предубеждением, искажением фактов и явным нерасположением ко всем фабрикантам и вообще лицам состоятельным» (подчеркнуто мною. Н. М.)¹.

Утверждение жандармского капитана, что, мол, Нефедов «искажает» факты и т. п., представляется, конечно, абсолютной чепухой. Нефедова скорее можно упрекнуть в

¹ Арх. III отд. III эксп., 1871, дело № 74, ч. I. Доклад от 19/VIII 1871 г., № 290.

некотором смягчении фактов, понятном, впрочем, так как не следует забывать цензурных условий того времени.

Популярность Нефедова как знатока «рабочего вопроса» послужила и к тому, что во второй половине 1871 года Нефедов был приглашен на должность управляющего делами Комиссии попечения о рабочих. Комиссия эта была организована при Комитете по организации Московской политехнической выставки 1872 года. Комиссия пыталась организовать своеобразный «народный дом», но правительство резко ограничило деятельность комиссии. Работа комиссии выразилась только в организации театра и читальни («для народа») во время существования самой выставки.

Работе в комиссии Нефедов отдавал много времени. Он был членом Совета театра, директором читальни и т. п.

Нефедов и после закрытия выставки пытается организовать кое-какие просветительные мероприятия для «народа».

Но на большее, чем дозволение организовать «Общество народных чтений», — правительство не шло. А это общество, с его жалкой деятельностью, никак не могло удовлетворить Нефедова.

*

Литературно-общественная известность Нефедова к этому времени становится все более и более значительной. Свидетельством этого может служить факт избрания Нефедова членом Общества любителей российской словесности 22 мая 1872 года. Это избрание совпадает по времени с выходом в свет первой книги Нефедова, а именно сборника рассказов «На миру». В сборник вошли следующие произведения: «Безоброчный», «Крестьянское горе», «Иван-воин» и «Леший обошел».

Выпущенная, на основании закона 1865 года, без предварительной цензуры, книга эта оказалась через несколько лет в числе «недозволенных» к перепечатыванию. Недозволена была книга потому, что, как это установила полиция, ею пользовались для «преступной пропаганды», при чем, так как она составлена была из отдельных рассказов, то ее разрывали, превращая в ряд отдельных брошюр.

Сборник «На миру» состоит из рассказов о крестьянской жизни. Как же отражает крестьянство, его жизнь, его стремления и чаяния Нефедов? Читатель, который внимательно прочтет повесть «Безоброчный», рассказы «Крестьянское горе» и «Иван-воин», прежде всего обратит внимание на то, что в этих произведениях Нефедов упор делает на тяжелое положение крестьянства, на ту «неправду» и «обиду», которую терпит крестьянский «мир». Неравная борьба Максима и его сына Григория против кулака-бурмистра (помещичьего управителя) — вот сюжет «Безоброчного».

Не выдерживает этой борьбы Григорий. Появляется задолженность по оброку (ежегодная плата помещику), и Григория объявляют «безоброчным». Ссора с бурмистром заставляет Григория бежать, а когда, через несколько лет, его по этапу возвращают обратно, это — уже больной, полусумасшедший человек.

«Не токмо што лучше, а в десять раз хуже вашего по другим местам народ живет, — отвечает офеня (торговец иконами) на вопрос крестьян. — Вы еще што... а то такие ли есть люди, живут нето в избенках каких, нето в пещерах, до половины в земле у них хижины сидят, и вместо окон дыры поделаны, едят хлеб пополам с мякиной, а скотины домашней только и держат што курицу одну».

Так и живет дореформенное и послереформенное крестьянство. Невежество, забитость, нищета. Зависимость от кулака-миroeда, от любого чиновника, от любого «начальства». Вечный, тяжелый, не обеспечивающий труд. Стихийное бедствие, пожар — значит нищета, полное разорение. Малейший неурожай — голод, без всякой надежды на помощь, на какое-то облегчение. Суеверия, невежество опутывают крестьянство. Вера в «леших», в «домовых». Вера в «клады», в «чудеса», которые помогут выйти из нужды, выйти в «люди». Но «чудес» не бывает, и все остается по-старому, по-прежнему.

А на этой темноте, на этом невежестве наживаются чиновники («Крестьянское горе») и ловкие торговцы («Иван-воин»), обдирая крестьян, выжимая последнюю копейку. И естественно, что крестьян привлекает кабак, водка, чтобы в вине попытаться утопить свое горе, свою нужду. И если молодежь веселится, смеется в редкие праздничные дни, то и здесь прорывается горе. Беда тому бедняку,

которому полюбится дочь богатея. Не видать ему счастья, не отдаст богатый свою дочь за бедного («Безоброчный»).

Рисуя тяжелые условия крестьянской жизни, Нефедов особо подчеркивает положительные черты беднейшего крестьянства и пытается найти какой-то выход, какие-то пути.

Что же это за пути?

Это, прежде всего, просвещение.

«Что же, учись. Другой человек будешь, как выучишься», — говорит один из крестьян («Крестьянское горе»).

В этом, в борьбе с суеверием, с невежеством, с темнотой — основная задача. Это поможет бороться с неправдой, с обидой. Другого пути Нефедов не видит, хотя и проскальзывают у него глухие призывы к «борьбе», к организованности. Но плохо он верит в успех этой борьбы.

«Умираю... час мой пришел... Ох, Гриша!.. Жаль мне тебя... Надежи... ни на кого в мире!.. Нет ни друзей, ни приятелей... В петлю лезь — не вытащат, разве крепче захлеснут... Одни деньги... Не поддавайся!.. Борись, пока сил-мочи хватит... Звери! да пожалейте хоть вы сироту-то мово: ему мать и сестру кормить. Не поддавайся!.. вольный дух... Гриша, да утри ты хорошенечко Парамошке нос... Откозакаемся!.. — восклицает Максим («Безоброчный»).

Естественно, что такие рассказы из крестьянской жизни, собранные в книге «На миру», могли служить и служили неплохим иллюстративным материалом в революционной пропагандистской работе.

*

Выход в свет «На миру», избрание в члены Общества любителей российской словесности, казалось бы, должны были значительно усилить дальнейшую литературно-художественную деятельность Нефедова. Этого, однако, не случилось.

Работа в Комиссии попечения заняла у Нефедова весь 1872 год и часть 1873 года. Незначительный эффект этой работы тяжело, с грустью переживался Нефедовым. В результате всего этого мы имеем то, что с 1874 года литературная деятельность Нефедова почти совсем прекращается. Он продолжает лишь корреспондировать в газеты, в частности в «С.-Петербургские Ведомости». Это, однако, не дает достаточных средств к существованию, в

Нефедов, в поисках заработка, обращается к тому, чем он начал свою деятельность, а именно — к антропологическим, этнографическим и отчасти археологическим исследованиям. В 1874 году он избирается членом-сотрудником Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В этом же году он командировается Обществом в поволжские губернии для производства этнографических наблюдений. С этого года Нефедов значительную часть своего времени отдает научной работе.

*

В 1875 году Нефедов на продолжительное время возвращается к интенсивному литературному труду. Летом этого года он принимает на себя по предложению издателя редактирование литературного отдела «Ремесленной Газеты», издававшейся И. Желтовым. С 5 июля 1875 года он из номера в номер ведет там «Еженедельные беседы с читателем» за подписью «Неизвестный». Эти «беседы» представляют собой, в сущности, московскую хронику, изложенную в виде фельетона. Тематика их чрезвычайно пестра. В этих же «беседах» Нефедов сообщает и различные провинциальные события. Здесь он снова черпает материал из жизни ивановских текстильных предприятий, описывает Нижегородскую ярмарку и т. д.

Годы 1876 и следующие Нефедов отдает главным образом экспедициям, не переставая, однако, мечтать о возвращении к исключительно литературной работе. Нефедов предполагает дать целую серию очерков из народной жизни. В этих очерках он хочет «представить картину современной жизни русского крестьянина в связи с отношением к нему представителей других классов нашего общества и администрации». Но из этого задуманного им произведения ничего не вышло. Помешала выполнению, повидимому, перегруженность этнографической и другой работой, а во вторых, — скорое возвращение Нефедова к газетной работе. Впрочем, часть материала, собранного им, была использована в позднейших рассказах.

*

1879 год можно считать, в известной степени, переломным годом в жизни Нефедова.

26 июня 1879 г. в Москве вышел первый номер новой газеты под названием «Русский Курьер». Инициатором и владельцем газеты являлся московский купец Н. П. Ланин, владелец весьма известного в то время заведения минеральных вод. Заведывающим редакцией и фактическим редактором газеты был приглашен Нефедов. Нефедову удалось сгруппировать около газеты целый ряд крупных «имен», привлечь к сотрудничеству ряд либеральных профессоров, публицистов. С первого же номера газета приняла либеральный характер и стала предметом цензурных притеснений. Предостережения, приостановки, запрещения розничной продажи сыпались на газету непрерывно.

Цензурные неприятности не могли доставлять удовольствие Ланину. На газету он смотрел не только как на общественно-полезное мероприятие, приносящее ему, Ланину, известную славу и популярность среди широких кругов населения. Он смотрел на газету, главным образом, как на коммерческое дело, которое если и не приносит какой-либо прибыли, то, во всяком случае, должно было быть безубыточным. К этому прибавлялось и то, что Ланин желал быть не только издателем, но и оказывать влияние на редакцию.

Между Ланиным и Нефедовым возникали конфликты, достигая порой весьма острых моментов — до подачи Нефедовым в отставку включительно. Можно предположительно думать, что дело окончилось бы уходом Нефедова из состава редакции. Однако события приняли совершенно неожиданный оборот. 19 марта 1881 года Нефедов был арестован.

Причина ареста Нефедова была политической. При аресте известного народовольца Желябова накануне 1 марта 1881 года (день убийства Александра II) у него была обнаружена зашифрованная записка от С. Г. Нечаева из Петропавловской крепости. Записка заключала в себе фамилии лиц, к которым, по мнению Нечаева, можно было обратиться за той или иной помощью революционному движению. В числе лиц был упомянут и Нефедов. Министерство внутренних дел немедленно дало распоряжение об аресте Нефедова, тем более, что подобная же зашифрованная записка найдена была и у С. Перовской.

Арест был непродолжительным. Обыски, произведенные как на квартире Нефедова, так и в редакции «Рус-

ского Курьера», не дали никаких результатов. Имевшиеся в распоряжении правительства данные о деятельности Нефедова не давали возможности привлечь его к судебной ответственности вообще, а по делу первомайцев (участников убийства Александра II) в особенности.

Вследствие этого Нефедов «отделался» сравнительно легко, а именно — отдачей под гласный надзор.

Нефедов предпринимал всевозможные шаги к полной своей реабилитации, в частности через Н. П. Колюпанова, своего знакомого, имевшего связи в Петербурге. Но из этих попыток ничего не вышло. Колюпанов писал Нефедову, что «не смотря на все мое искреннее желание, ничего сделать нельзя. Через Плюшика переговаривался с Плеве¹; за обедом у Игнатьева воспользовался его благосклонностью и долго говорил с ним о вас. Результат один: вследствие разбора дела участь всех решена особым высочайшим повелением. Вы отданы под надзор полиции, гласный и срочный, что составляет низшую карательную меру; вновь о чем-либо докладывать государю никто решиться не может ни для кого, а иначе этого сделать нельзя»².

Эти события чрезвычайно повлияли на Нефедова и его судьбу. Прежде всего — нужно было оставить, разумеется, редакторскую работу. Для Нефедова, организовавшего, в сущности, газету, это было большим ударом. Он продолжал, однако, живо интересоваться газетой и лелеял мечту о своем возвращении к оставленной работе.

Удрученный неожиданным арестом и наказанием, лишенный возможности продолжать редакторскую деятельность, Нефедов все же не впадает в совершенное отчаяние. В поисках места приложения своих творческих сил он, в частности, делает попытку занять место постоянного московского фельетониста недавно основанной М. М. Стасюлевичем газеты «Порядок». Напечатав несколько корреспонденций, он предложил Стасюлевичу вести московский фельетон.

Однако задуманное дело не вышло. Нефедов не сумел понять требования Стасюлевича. Последний прежде всего требовал яркого, публицистического фельетона, а Нефедов писал обычные корреспонденции, разве что большего, про-

¹ В то время директор полиции.

² Письмо хранится во Влад. гор. архиве.

тив обычного, размера. Оставался таким образом один путь: литературная деятельность в «толстых» журналах. В 1882 году в «Русской Мысли» появляются обширные очерки «В горах и степях Башкирии». В том же году Нефедов делает попытку возобновить сотрудничество в «Отечественных записках». Он посылает туда рассказ «На арестантском пароходе», рассказ, насквозь пропитанный либерализмом, слащавостью, написанный очень бледно, без малейшего признака политической остроты. Нет ничего удивительного, что автор получил резкий отказ от ненавидевшего всяческий либерализм редактора «Отечественных записок» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Нефедов передает рассказ в журнал «Наблюдатель», который редактировался известным юдофобом Пятковским. С этого времени Нефедов остается постоянным сотрудником этого журнала.

Повидимому, для Нефедова, напуганного и выбитого из колеи арестом, искавшего «литературного пристанища», становилась безразличной репутация и политическая направленность журнала.

*

Годы, начиная с 1883—1884, открывают собой последний период жизни и творчества Нефедова. Последнее двадцатилетие жизни Нефедова небогато значительными внешними событиями. Можно сказать, что каждый новый год похож здесь на предыдущий. Жизнь Нефедова идет по двум основным путям: литературно-публицистическая деятельность и этнографическо-антрополого-археологические работы и исследования. Последние начинают занимать столь значительное место, что вызывают неудовольствие среди ближайших друзей Нефедова, не веривших в успешность научной «карьеры» его.

Действительно, Нефедов ежегодно ездит на раскопки, в этнографические и антропологические экспедиции. Нельзя сказать, чтобы вся эта научная деятельность Нефедова проходила неоцененной. Так, например, в 1887 году Нефедов избирается членом-корреспондентом, а в 1894 году — действительным членом Московского археологического общества. Как материалы его работы не потеряли своего значения и до сегодняшнего дня, и ссылки на его публика-

ции мы встречаем в трудах современных археологов и этнографов.

С 1884 года Нефедов регулярно сотрудничает в «Русских Ведомостях». Он печатает там значительное количество своих очерков, рассказов и корреспонденций (частично за подписью «Д»). Из них отметим статью «Русский Манчестер», посвященную ивановскому текстильному производству и представляющую собой развернутую рецензию на книгу Я. Гарелина об Иванове. В «Русских Ведомостях» напечатан и последний рассказ Нефедова «На меже», опубликованный уже после смерти автора.

Но не одни «Русские Ведомости» были органом, в котором Нефедов печатал свои произведения. Нужно, однако, отметить, что ему с большим трудом удавалось «пристраивать» свои вещи. Нефедову хотелось сотрудничать в журналах крупных, с «именами», популярными в широких общественных кругах (как «Русская Мысль», «Вестник Европы»), а именно тут-то и встречались затруднения. Приходилось ориентироваться на «Наблюдатель», «Северный вестник» и разные альманахи и сборники («Почин», сб. памяти Юрьева). Таким образом у Нефедова не было постоянного, фиксированного, литературного заработка. Он предпринимал различные шаги в этом направлении, стремился к газетной, постоянной работе, но и здесь дело не клеилось. «Русские Ведомости», правда, печатали его, но далеко не в том размере, в котором бы хотелось. Повидимому, дело было в том, что правительство не могло никак забыть «грехи» Нефедова.

Все это делало материальное положение Нефедова крайне шатким и неопределенным. Нефедов переезжает на постоянное местожительство в д. Перебор (Владимирского уезда). Переезд этот был вызван желанием уменьшить расходы на жизнь. Но особых результатов это не дало и Нефедов попрежнему часто нуждался в деньгах.

В девяностых годах Нефедов пробует издать свои произведения отдельными книгами и брошюрами. Но попытки его не дают желаемого результата.

К такого рода попыткам относится издание отдельных рассказов «для народа». Издание взял на себя некий рязанский книгопродавец И. Житков. Однако попытка окончилась на первых порах неудачей. Виною тому была цензура, не пропустившая рассказа «Человека одного забоялся»

(взятого из очерка «В тумане»). Нефедов попытался было сделать «вставку» и изменить, таким образом, впечатление от рассказа (в котором речь шла о невинно-осужденном на каторгу), но цензура осталась неумолимой. Интересно, что цензор Соколов в «откровенном» разговоре с Житковым заявил: «попробуйте сделать так — снимите надпись «для школ и грам. народа» и назначьте цену не 5, а 50 коп. — тогда еще может быть...»¹ Житков на это не пошел.

В 1893 году Нефедов получает согласие Солдатенкова на издание собрания сочинений. Весь 1893 и 1894 годы уходят на это издание и на поиски издателя для сборника «Рождественских рассказов».

Нефедов возлагал на издание своих сочинений большие надежды, но им не суждено было осуществиться. Все издание было рассчитано на четыре тома, но, выпустив в свет I и II томы, Солдатенков увидел, что идут они плохо, и от дальнейшего издания отказался.

Некоторые из рассказов Нефедова были выпущены С.-Петербургским комитетом грамотности и издательством О. Н. Поповой «для народа». Но цензура крайне неохотно пропускала эти книжки. Не пощадила цензура и «Собрания сочинений». Оно значится в списке книг, запрещенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. Критика либо обходила молчанием появившиеся произведения Нефедова, либо встречала их отрицательно, насмешливо.

В 1900 г. выходят из печати III и IV томы собрания сочинений Нефедова. Изданы они были Чарушниковым и Дороватовским. В этом же году те же издатели выпускают второе издание «Святочных рассказов». Критика не заметила этих изданий. На страницах русской печати не появилось ни одного более или менее значительного отзыва.

Нефедов все больше и больше оседал в д. Перебор, выезжая лишь в экспедиции да изредка в Москву. Он все больше и больше отходил от литературного движения.

10 марта 1902 г. Нефедова постигло кровоизлияние в мозг и 12 марта он умер. Похоронен он был в Москве, на Ваганьковском кладбище, рядом с Левитовым.

Несколько некрологов, где уже попадаются слова «забытый писатель», напечатано было в разных газетах и журналах.

¹ Письмо от 4/VI 1890г. Хран. во Влад. гор. арх.

В творчестве этого, последнего, периода жизни Нефедова, мы не найдем уже ни следа прежнего «обличительного» тона, прежней заостренности его произведений. Больше того, Нефедов, переиздавая свои вещи, исключает некоторые места, которые могут показаться политически-острыми. Так, например, в рассказе «Леший обошел» он в 1895 году вычеркивает последнюю фразу... «Да когда же это наш край просветится?! Ровно уж и не дождешься!»

В своих новых произведениях он в качестве основного материала берет крестьянство и интеллигенцию, лишь изредка обращаясь к фабрике, к рабочим.

Но в этих немногих случаях его отношение отлично от прежнего. Он не скрывает своего резко-отрицательного взгляда на фабрику, на развитие капитализма. В «Чудеснике Варнаве» и в «Стене Дубкове» читатель найдет достаточно примеров этому. Пьянство, нужду, разврат, все, что есть дурного в крестьянской жизни, Нефедов приписывает фабрике.

Но характерным является то, что если ранее Нефедов в фабрикантах, в капиталистах не видел ничего, кроме жадности, прибыли и наживы, то теперь он пытается находить «хороших людей» и среди них. Мы можем в этом убедиться по повести «Семь ключей».

Показывая читателю братьев-фабрикантов, Нефедов выделяет особо Геннадия Яковлевича как «образцового», «простого», обходительного хозяина», такого же, каким был и отец его. И если Нефедов дает достаточно яркий тип фабриканта-самодура, жесткого и крутого, в лице его брата Конона, то он берет его как образ «плохого человека» в противоположность «хорошему человеку» и только. Капиталистическая, эксплуататорская сущность фабрикантов остается в тени, замазывается Нефедовым.

Мы говорили, что Нефедов особое внимание уделяет крестьянству.

В нем, в крестьянском, патриархальном быту, он находит «истинную жизнь», которую он противопоставляет фабрике и фабричным.

В «Стене Дубкове» читатель найдет ряд описаний, дающих нам совершенно сусальную идиллию крестьянской жизни.

«Безлюдие и тишина... Ярко и приветливо светятся дву-

мя линиями огненные точки; порою где-нибудь во тьме мелькнет рука или плечо, на белую занавеску упадет тень головы или широкой спины. И сдаётся, что жизнь опять вырвется на улицу, хлынет по ней волнами и зашумит. И точно, как только успели семьи отужинать, деревня из конца в конец наполнилась молодыми голосами, смехом и весельем. Пока бабки, матери и снохи, перед отходом ко сну, управляют по хозяйству, парни с девками урвут от жизни свое: с песнью проходит толпа, за нею вслед с пляскою несется другая, взлетает чье-то бойкое слово, подхватываемое взрывом здорового мужского хохота, надрывается и рыдает итальянка-гармошка в руках искусного игрока и звенит девичий смех... А под тесными навесами ворот ведутся тайные речи, прерываемые тихими, но пламенными поцелуями... Молодость. Жизнь...»

Таких картин в произведениях Нефедова последних лет много. Но сусальность сквозит не только в пейзажах, в описаниях. Она имеется и в самих образах крестьян. Если мы, для примера, обратимся к тому же «Стене Дубкову», то легко установим, что образ Стени далек от действительности, что он написан нарочито, что не только сам Степан, но и товарищ его, неожиданно меняющие водку и сквернословие на исключительную вежливость и книгу, представляют собой явления не только не типичные, но попросту мало вероятные.

Но не только эта сусальность характерна для последнего этапа творчества Нефедова. Характерны, в этой связи, его отход от изображения бедноты, нищеты. Его внимание привлекают зажиточные, крепкие «хозяева», «своим трудом» составившие себе достаток. Таков отец Стени, такова, в сущности, и семья Поплавских («Не в обычае»), таковы и герои рассказа «Лукавый попутал».

И если раньше Нефедов находил резкие слова по адресу таких несомненных кулаков, как Михей Потапов («Лукавый попутал»), то теперь он их не находит. И если он упрекает Михея, то только в жестокости по отношению к дочери, но не больше. Как «хозяин» Михей не вызывает у Нефедова ничего, кроме уважения.

Реже и реже встречаются у Нефедова картины нужды и горя крестьянского, а если и встречаются, то только лишь как явление временного порядка в жизни и судьбе героя.

И характерной для Нефедова (как впрочем и для мно-

гих народников-либералов 80—90-х годов) является попытка всякое улучшение в быту крестьянства объяснить влиянием книги, просвещения. Читает Стеня Дубков, читает Авдей («Лукавый попутал»), читает Поплавский и т. д.

Все это говорит о том, что Нефедов в эти годы окончательно становится на позиции либерал-народничества (элементы которого у него были и раньше), того самого, о котором В. И. Ленин говорил, что оно рассчитывает только на то, «...чтобы заштопать, «улучшить» положение крестьянства при сохранении основ современного общества»¹.

Показательным является и обращение Нефедова к изображению интеллигенции. Он призывает ее к «служению народу», к несению «просвещения» и «знаний». И естественно, что Нефедов яростно нападает на тех, кто забывает о «мужике», с грустью говорит, что — «мода прошла»...

«Народ живет своей жизнью... У него особое мирозерцание, свои идеалы и верования. Мы чужды народу, он сторонится нас и остается попрежнему сфинксом, хотя мы притворяемся, что знаем его, — у нас много о народе пишут и говорят... впрочем, теперь меньше стали говорить, мода на мужика прошла...» («Весною»).

*

Мы познакомились с жизнью и деятельностью Ф. Д. Нефедова, с основными, наиболее характерными его произведениями.

Творческое наследие Ф. Д. Нефедова не блещет большими художественными достоинствами. Внимательный читатель легко заметит и длинноты, встречающиеся в произведениях Нефедова, и недостаточную, в общем, выразительность художественного языка, и некоторую его слащавость.

Почему же все-таки мы считаем возможным и нужным переиздание сочинений Нефедова? Почему мы привлекаем внимание советского читателя к этому полузабытому писателю народнику?

Мы переиздаем Нефедова потому, что он в лучших своих вещах, в вещах первого периода своего творчества, дает нам достаточно яркое и правдивое в своей основе отражение положения рабочего класса в России 60—70-х

¹ В. И. Ленин. Собр. соч., т. I, стр. 165.

годов девятнадцатого века, отражение тяжелой жизни российской крестьянской бедноты. В этом познавательная ценность ранних произведений Нефедова и в этом — смысл переиздания их.

Творчество Нефедова, на ряду с творчеством Решетникова, Слепцова, Левитова и многих других, более талантливых и крупных, чем Нефедов, писателей, раскрывало читателям правду жизни российского народа, измученного гнетом капиталистического и помещичьего ига.

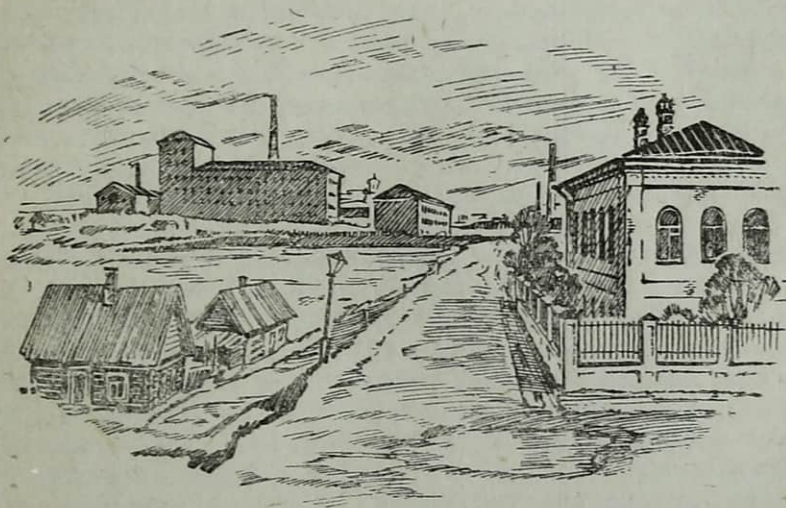
Жуткой своей правдой творчество их будило мысль, заставляло задумываться, искать выхода, искать пути борьбы за лучшую, за новую жизнь, пути борьбы с царским самодержавием, с помещиком, с капиталистом.

Своевременность переиздания Нефедова определяется еще и тем, что в лице Нефедова мы имеем одного из первых бытописателей ивановских текстилей. «Тяжелая правда жизни», рассказанная в произведениях Нефедова, дает советскому читателю возможность еще ярче почувствовать и осмыслить всю грандиозность, все величие успехов, достигнутых народами СССР в результате побед Великой Октябрьской социалистической революции, в результате неуклонной борьбы под знаменем Ленина — Сталина.

Н. Морачевский.

Июнь 1936 г.

НАШИ ФАБРИКИ



REPT. OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE



СЛО Иваново представляет вид цветущего города, — говорили нам учителя отечественной географии, — в нем находится множество фабрик и заводов, на которых ежегодно вырабатывается хлопчатобумажных изделий на десятки миллионов, и где живет более двадцати тысяч рабочего люда». Почтительно внимали мы красноречивым глаголам, и наше воображение рисовало нам цветущий фабричный город, исполненный богатства, всеобщего довольства и какой-то весело-деятельной жизни.

Действительно, как только-что подъезжаешь к Иванову, особенно в первый раз, впечатление, им производимое, именно таково. Вдали перед вами открывается прекрасный город с каменными зданиями, множеством высоких труб и еще более высоких колоколен и богатыми храмами, золотые главы которых так и ослепляют глаза. Но это впечатление тотчас же сменяется другим, когда локомотив быстро подкатит вас к вокзалу ивановской станции и вы очутитесь лицом к лицу с русским Манчестером. Куда девался красивый город, которым за несколько минут вы восхищались? Нет больше его, он исчез! Вместо красивого города вы уже видите сплошную массу почерневших от ветхости деревянных построек, раскинутых на шестиверстном пространстве, да изредка и кое-где из-за них выставляются каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик; везде солома и тес, покрывающие хижины и жилища манчестерцев. Только одни церкви с их златоглавыми верхами и красные трубы остаются во всей своей неизменной красе и как-то уже особенно резко выделяются из массы окружающего убожества и поражающей нищеты. Вознесенский посад, составляющий, так сказать, предместье русского Манчестера и вместе с тем представляющий нечто самостоятельное целое, особую муниципию, также при въезде поразительно походит на обыкновенное село: те же чума-

зые избы и избенки, крытые соломой и тесом, те же кабаки и даже тот же неизбежный трактир с чудовищно пузатым самоваром на вывеске; потом идут какие-то пустыри, и, наконец, только центр, где находятся торговые ряды, весьма, правда, пустынные, церковь и проходит главная улица Александровская, напоминающая собою что-то смахивающее на уездный город. Самое Иваново еще больше поражает непривычный глаз жителя столицы: изрытое оврагами, оно состоит из множества кривых и неправильно расположенных улиц, пересекаемых узенькими переулками; постройки большею частью деревянные, целые улицы сплошь состоят из черных изб, и только местами, рядом с какой-нибудь разваленной хижинкой крестьянина встречается громадная фабрика с пыхтящими паровиками или большой каменный дом богача-фабриканта с штофными драпери на окнах. Прибавьте ко всему этому базарную площадь с торговыми лавками, трактиры и бесчисленное множество кабаков, попадающихся чуть не на каждом шагу, — и перед вами налицо весь русский Манчестер с его внешней стороны.

Нам предстоит познакомиться с внутренней стороною русского Манчестера, именно — с жизнью его рабочих. Нужно сказать, что это знакомство дело не такое легкое, как оно может показаться некоторым из наших читателей. В Западной Европе существует богатая литература по этому вопросу, что дает полную возможность ознакомиться с его положением и сделать надлежащие выводы; у нас ничего подобного не существует; кроме ограниченного числа журнальных статей, трактующих, однако, больше о различных видах производства, чем о положении рабочих, да книги г. Флеровского, нам положительно не на что указать.

Ввиду всего этого смеем думать, что наш скромный опыт по исследованию у нас положения рабочего класса не будет лишен значения. Главная задача, которую мы себе поставили, беспристрастное и, по возможности, всестороннее рассмотрение условий жизни рабочего класса, составляющего контингент наших фабрик и заводов. Но какие же у нас средства к выполнению настоящей задачи? Средство пока одно: личные наблюдения и непосредственное знакомство с фактами. Чтобы эти факты и наблюдения не были переданы только одним безжизненным цифрами и голых сведений, а представляли нам картину жизни рабочих, мы поведем наших читателей в разные мастерские

русских фабрик, где целые две трети своей жизни проводит рабочий, введем их в жилища труда, покажем им пищу работника, его заработок и т. д.; в заключение на основании всего виденного и слышанного нами подведем итоги и приведем все к одному знаменателю.

Для начала труда мы выбрали село Иваново. Это предпочтение оказано ему по двум причинам: во-первых, мы еще гораздо раньше имели случай и возможность делать наблюдения над жизнью ивановских рабочих и ознакомиться частью с их положением, что для нас в настоящем случае значительно облегчало труд; во-вторых — и это будет самым важным — мы взяли Иваново потому, что оно есть центр хлопчатобумажной фабрикации всей Владимирской губернии. Знакомясь с положением ивановских рабочих, мы вместе с тем узнаем, в каком положении стоят фабричные рабочие не только одной Владимирской, но равно и других губерний, в которых процветает одинаковая промышленность. Иваново — не даром оно названо русским Манчестером — это фокус явления фабричной жизни различных мануфактурных местностей. Независимо от фабрик и заводов Шуи и сел Тейкова, Кохмы, Лежнева и других, которыми со всех сторон окружен русский Манчестер, Иваново одно для собственного своего производства требует рабочих больше 100 000 человек обоего пола, из коих 20 000 человек живет на самых фабриках Иванова, а остальная масса работает в уездах Шуйском, Ковровском, Гороховецком и Нерехтском (последний — Костромской губернии).

Что село Иваново по своему резко выдающемуся положению среди других мануфактурных пунктов издавна уже служило предметом любознательности, доказательством тому служит обширная литература, какой не имеет по отношению к производству ни один из фабричных городов России, не исключая даже и обеих столиц. Но, к крайнему сожалению, несмотря на такое видимое богатство литературы, в трудах наших предшественников ничего почти не нашли мы прямо относящегося до предмета нашего труда: все они занимаются или изложением истории села Иванова или развития фабричного производства, или говорят об обширных торговых оборотах и удивляются колоссальности последних; но никто из них не благоволил взглянуть на положение этой черной, не кидающейся ярко в глаза рабочей массы, труду и упорным тяжелым усилиям которой

Иваново обязано своей громкою славою, цветущею фабричною и миллионами фабрикантов. Читая и перечитывая труды наших почтенных предшественников, приходишь к одному заключению: мануфактура в с. Иванове процветает, шаги по части усовершенствования делает гигантские, сами фабриканты с каждым годом богатеют, и рабочие их все от мала до велика благоденствуют... Вот суть всех статей о с. Иванове. Только статья г-на Власьева представляет некоторое исключение: в ней еще кое-где встречаются попытки автора определить заработную плату, есть намеки на что-то, но, против воли самого автора, попытки не удалась, потому что приведенные цифры относятся к области мифической и в действительности не находят ни малейшего подкрепления, а намеки темны и могут быть комментированы всяким по наитию. Таким образом при всем обилии литературных материалов в результате оказывается, что нам весьма немногим придется заимствовать из этого источника; и как средством при исследовании занимающего нас вопроса придется пользоваться личными наблюдениями и теми изустными и письменными сведениями, которые нам удалось добыть на месте от разных лиц.

В настоящей статье мы намерены показать, насколько труд фабричный, сменив собою в Иваново труд земледельческий, был благодетелен для местного и окрестного населения и до какого состояния он довел материальный, нравственный и умственный быт рабочей массы. Чтобы резче и определеннее представить нам себе настоящее положение рабочего класса, мы предположим краткий очерк развития фабричного труда, очерк, который введет нас в самую жизнь и покажет во всей своей наготе настоящее положение рабочих знаменитого русского Манчестера.

В связи с развитием фабричного труда необходимо будет сказать о развитии ситцевого производства в Иваново, что мы и сделаем в следующей главе.

II

Перенесемся лет за полтора назад и взглянем на тогдaшнее село Иваново. Мы видим громадную, на несколько верст раскинувшуюся и густо населенную деревню; три церкви, из которых одна каменная, и какой-нибудь десяток кирпичных домов нисколько не нарушают цель-

ности впечатления деревенского вида. Базарная площадь по середине селения, в беспорядке разбросанные деревянные лавочки и весы под тесовым навесом свидетельствуют, что тут в известные дни происходит торговля. За селом, с северо-восточной стороны, между зелеными лугами извирается река и теряется из глаз в бесконечности изгибов на юге; с запада взорам открывается широкое поле, идущее вплоть до леса, который со всех сторон окружает Иваново и тянется на десятки верст. Здесь на этом поле летней порою все полно деятельной бодрой жизни. Лето кончилось, хлеб с поля весь свезен и обмолочен. Картина переменялась. Старики теперь отдыхают, изредка лишь выезжая в соседний лес за дровами и от скуки справляя кое-что по дому; молодежи и девки усаживаются за «станы», ткнут холсты и полотна; молодежь, мужчины запасаются лучком и идут в разные концы России бить шерсть или на другие какие промыслы. На пасху они возвращаются по домам, принося с собою зимние заработки, и с весны опять принимаются за свою кормилицу-землю. Сам помещик от них далеко, — он живет в столице; барщины никто не знает: все живут на оброке. Отличительной чертой нравов того времени служили: прямой характер, честность и безмерная доброта землевладельцев-ивановцев. О пьянстве и других печальных спутниках фабричной жизни, которыми так богато современное Иваново, никто в ту давнюю пору и понятия не имел, даже нет никаких указаний на то, был ли хотя один какой-нибудь кабак во всем селе.

Но вот в эту жизнь врывается новый элемент. В 1750 г. возвращаются из Шлиссельбурга двое крестьян, долго там жившие; вместе с заработками они приносят на свою родину неведомый никому из их земляков талисман: секрет составления красок и набивки ситца. На следующий год в Иваново является первая ситцевая фабрика; на ней сто набивных и ткацких станков. Насадители этой новой промышленности — Бутримов и Сомов, крестьяне, вернувшиеся из Шлиссельбурга. Спустя год в Иваново заводится другая фабрика уже с 300 набивных и ткацких станков; основатель ее — крестьянин Грачев, человек также возвратившийся недавно с «чужой стороны»: он жил на ситцевой фабрике в Москве. С появлением этих двух фабрик для жителей Иванова открывается новая область труда, труда фабричного. В истории

развития фабричного труда в Иванове мы находим два главных момента: труд ручной и труд машинный. Первый момент начинается тотчас по открытии фабрики (1751—1752 гг.) и продолжается до 1840 г. Это время быстрого возникновения целого ряда ситценабивных фабрик, накопления значительных капиталов в руках отдельных личностей — время постепенного оставления ивановцами земли и перехода их из земледельческого населения в фабричное. Второй момент — с 1840 г. и до наших дней — характеризуется введением печатных машин и силы пара, произведших страшный переворот в местной производительности и резко определивших дальнейшие судьбы Иванова; хлопчатобумажное производство принимает колоссальные размеры, создаются громадные, по образцу западных устроенные мануфактуры, кустарная промышленность вытесняется и гибнет, задельная плата набойщиков, коренных жителей Иванова, понижается и спускается до минимума, — словом, Иваново получает то значение, которое дает ему право на громкий титул русского Манчестера.

Рассмотрим теперь ближе оба эти момента в развитии фабричного труда. Прежде всего при взгляде на старинное Иваново нам должен притти в голову следующий вопрос: каким образом могла здесь развиться хлопчатобумажная промышленность? Положим, Бутримов и Сомов жили в Шлиссельбурге и прельстились хорошими барышами, получаемыми от ситцев тамошними фабрикантами; они перенесли, с целью обогащения, эту промышленность на свою родину и завели фабрики; но откуда Бутримов и Сомов взяли материал для нового производства? Где те местные условия, которые поддержали бы начало возникающего дела и способствовали дальнейшему его развитию? Село земледельческое (крепостная вотчина графа Шереметева), село, бог знает куда-то заброшенное от всех промышленных и торговых пунктов России и целые столетия бывшее совершенно изолированным, как воспитало на своей почве такое чужеземное растение, как ситцевая фабрикация?

Вероятно, исходя из того положения, что Иваново было селом земледельческим, некоторые из наших публицистов в литературе проводили ту мысль, что ивановская фабрикация есть результат помещичьей затеи и насильно была навязана местному населению. Насколько

эта мысль верна, читатели увидят дальше. Что влияние крепостного права действительно было и сказалось на жизни ивановцев, это не подлежит сомнению; но только влияние это обнаружилось в совершенно другом и отнюдь уж не в развитии хлопчатобумажной фабрикации. А между тем дело объясняется весьма просто: Иваново уже в себе самом заключало необходимые соки для питания привозного растения и Бутримов с Сомовым нашли готовую почву; иначе они, как люди неглупые и с сильно развитым практическим смыслом, вряд ли решились бы на риск — пустить на ветер свои трудовые денежки. Какие же местные условия благоприятствовали развитию ситцевой фабрикации? Мы уже знаем, что в Иваново женщины занимались ткачеством холста и миткаля; это было чисто домашнее и для удовлетворения домашних нужд производство; материал для себя они получали со своих полей, на которых засеивались вместе с хлебом конопля и лен. Вот этим-то материалом и воспользовались основатели ивановской фабрикации. Первые ситцы, вышедшие на свет божий с ивановских фабрик, представляли не что иное, как кусок холста или полотна, расцвеченный во всю длину красками; полотно и холст употреблялись на ситцы даже гораздо позже и миткалем были заменены не раньше как в начале текущего столетия.

Все почти авторы статей о с. Иваново говорят, что первоначальные занятия местных жителей состояли в земледелии и ткачестве полотна и миткаля. Не знаем, на основании каких данных они приписывают доисторическим ивановцам миткалевую промышленность и положительно не имеем никакого основания допустить этого. Хотя у нас, в России, хлопчатобумажные изделия и были давно известны, но чтобы в начале или половине прошлого столетия мы сами занимались бумагопрядением и ткачеством миткаля, — это дело совсем невероятное. Первая бумагопрядильная фабрика в России была открыта только в 1798 г. Оссовским; эта фабрика послужила началом для знаменитой Александровской мануфактуры; в Москве же бумагопрядильные завелись еще позже, именно в 1808 г. Откуда же, спрашивается, полтора-два или два-три десятилетия назад ивановцы могли брать для миткалевого производства пряжу?

Естественно, новая отрасль промышленности потребовала рабочих рук, и высокая плата за труд, назначенная

первыми ивановскими фабрикантами, и простой, совсем уж незамысловатый способ обработки ситцев обаятельно действовали на местных землевладельцев и привлекали ивановцев к фабричному труду. В самом деле, стоит только заглянуть в набивные того времени, чтобы убедиться в простоте и необычайной легкости ситцевого производства. В длинном деревянном строении, называемом «работною», или «набоешною», стоят «верстаки», похожие на обыкновенные продолговатые столы; за каждым таким верстаком стоит мужчина и, обмакивая доску, или «манер»¹, в краску, находящуюся тут же и растертую в круглом обресе на сукне, постукивает по белой новине холста или полотна, положенного на верстаке. Рисунок, или манер, который отпечатывается на белом месте, очень прост: он имеет форму лопаты, метлы и тому подобных изображений. Искусник, который производит такие прекрасные узоры, называется набойщиком; он работает в день не больше 8—10 часов и получает за свое искусство плату сдельно, то есть сколько он в день набьет «проходов» («проход» значит раз пройти или набить одной краской штуку миткаля или полотна), и с каждого такого прохода получает, смотря по краске, от 50 коп. до 1 руб. ассигнациями; в день он может «набить» 5—7 проходов. В одной и той же мастерской с набойщиками сидят женщины, чаще их жены или другие какие родственницы, и посредством кисточки, сделанной из лубка, брызжут разными красками по набитому уже «манером» полотну или производят, по собственной своей фантазии, всевозможного рода мелкие фигуры; это называется «расцветкою».

Женщины зарабатывают в день от 10 до 30 коп. ассигнациями. Вместе со взрослыми мужчинами и женщинами мы видим и детей мальчиков, которые размазывают большой кистью в круглом обресе краску; чтобы она ровнее приставала к манеру, которым набивает набойщик. Мальчики эти называются «штриховальщиками» и большею частью дети самих набойщиков; они получают жалованье в год от 20 до 40 рублей ассигнациями. Если мы еще заглянем в отдельную маленькую комнатку, где сам хозяин в глиняных горшках варит краски, то будем иметь

¹ Манером называется вырезанный рисунок на доске, и так же он называется уже отпечатанным на материале.— *Прим. автора.*

совершенно полное и ясное понятие о ситцевом производстве с. Иванова за первый период от 1751 г. и до 1840 г.

Нечего и говорить, что такой способ обработки ситцевого был до последней степени прост, выгоды, получаемые фабрикантами от сбыта товара, значительные, и в Иванове фабрики стали увеличиваться в огромной прогрессии. Всякий почти набойщик старался завести собственное свое производство, сделаться самому хозяином. И это достигалось без особенного труда: запасшись красками и холстом, набойщик ставил в своей избе верстак, и, перекрестясь, принимался за свое дело. Здесь ситцевое производство являлось в еще более простой форме: вместо махера употребляется для набивки какой-нибудь обломок доски, вместо обреза с краской служил черепок, а «расцветка», где требовалось от исполнявшего более всего искусства и фантазии, делалась просто рукою: жена или дочь хозяина обмакнет кисть руки в черепок с краскою, ударит пальцами по холсту—и расцветка готова! Развитию такого производства много еще и то способствовало, что не требовалось со стороны мануфактуристов никаких особенных затрат: холст или полотно были домашние, краска стоила недорого, а часто и совсем ничего, потому что набойщик, заводя у себя на-дому ситцевое производство, в то же время сам оставался на фабрике и делился хозяйской краской с женой, которая с остальными членами семейства непосредственно уже и сама продолжала развивать мануфактурное дело.

Этим мелким производством было положено начало кустарной промышленности, иначе называемой горшечной (от слова горшок, черепок, в котором находились у мелких фабрикантов краски). Фабрики эти в большом числе являлись обыкновенно зимою, когда все были свободны от полевых работ, и уменьшались с наступлением весны. Таким образом в течение нескольких десятков лет в Иванове развилась обширная промышленность, главную силу которой составляли горшечники. Этот вид промышленности у нас сохранился наиболее в Московской губернии, Богородского уезда, именно в Гжели и ее окрестностях, где вырабатывается хорошая глиняная посуда. Но и там в настоящее время сила капитала убивает кустарную промышленность. Но, несмотря на это видимое преобладание горшечной силы, не трудно уже было и тогда заметить, что будущее принадлежит не им, горшечникам, а тем из-

бранникам, которые, хотя скромно, но уже выделялись из массы даже и в момент эмбриологического состояния местной промышленности: до 1812 г. особенно резкой грани между теми и другими еще не существовало.

С 1812 г. характер ситценабивной промышленности входит в новую сферу развития. Московский погром и народные бедствия России сразу поднимают ивановскую фабрикацию: конкуренция больше не существует, и ивановские фабриканты пользуются случаем наживать громадные деньги, получая чистой прибыли на каждый кусок ситца, состоящего из 30 аршин, по 20 и 25 руб. Фамилии Гарелиных, Кобылиных, Удиных, Ямановских и других крупных фабрикантов возносятся над сотнями мелких и приобретают могущественное значение. Вслед за двенадцатым годом происходит важная перемена в ситценабивном деле — перемена, внезапно изменившая естественное развитие местной производительности и раз навсегда давшая не только одному Иванову, но и всем мануфактурным пунктам России совершенно иное искусственное направление. Русские холст и полотно, служившие доселе для набивки ситца, заменились теперь миткалем, который стали работать из привозной английской пряжи. Преимущество миткаля перед холстом и полотном было очевидно: он стоил дешевле русских тканей, был тоньше и, что самое главное, мог вырабатываться в том количестве, какое требовалось самым усиленным запросом на ситцы, и тем способствовать увеличению фабричных операций, тогда как полотно и холст, вследствие младенческого состояния земледелия в нашем отечестве, ставили ситцевое производство в известные рамки, и фабриканты не всегда были в состоянии удовлетворять требованию покупателей. Вот почему миткаль так быстро вытеснил русское полотно и поставил в иные условия ситцевую фабрикацию.

На дальнейший ход ситценабивной промышленности в с. Иванове имел громадное влияние торговый дом бр. Киселевых, открывшийся в г. Шуе; эта фирма вошла в непосредственные сношения с лондонскими конторами, у которых закупала пряжу оптом и в баснословных размерах и продавала ее в Москве, С.-Петербурге и на месте в кредит и на продолжительные сроки. Свободный и широкий кредит торгового дома бр. Киселевых упрочивает положение ивановских фабрикантов и создает новых, так что к тридцатым годам в Иванове насчитывалось до 180

фабрик. Из них, кроме вышеупомянутых, замечательными были: Полушина, Зубкова, Самокатова, Бебухина, Шюдчина и пр. Берега р. Уводи буквально покрылись фабричными заведениями, как то: заварками, отбельными и т. п. Первоначальные постройки родоначальников ситцевой промышленности мало-по-малу стали заменяться каменными зданиями. Из Иванова ситцевое производство, благодаря тому же торговому дому бр. Киселевых, начинает проникать в окрестные селения, и рождаются новые фабричные местности: г. Шуя, села: Кохма, Тейково, Лежнево, Дунилово и Писцово (Нерехтского уезда, Костромской губ.). Но скоро александровская мануфактура и за нею бумагопрядильные других русских фабрикантов вступают в соперничество с английскими бумагопрядильщиками. Русская пряжа, вырабатываемая из американского хлопка и привозимого также из Англии, оказывается по своим качествам превосходнее английской и входит во всеобщее употребление на всех русских и ивановских фабриках, в особенности. Торговая фирма бр. Киселевых гибнет.

В начале тридцатых годов в Иванове основывается купцом Бабуриным первая бумагопрядильная, и местные базары превращаются в бумажный рынок, где сотни мелких лавок и лавочек занимаются продажей бумажной пряжи, куда привозятся и приносятся еженедельно тысячи кусков миткаля, и торговые обороты ивановских базаров выражаются сотнями тысяч. Высокий тариф на привозные ситцы как нельзя более благоприятствует этой чужеземной промышленности в России вообще и в с. Иванове в частности. В таком состоянии ивановскую производительность застают сороковые годы, с которых начинается второй момент в истории развития фабричного труда и с ним ситцевой фабрикации. Братья Киселевы, весьма образованные люди по тому времени, умерли, — один, старший, в сороковых годах и младший в пятидесятых: оба в своей больнице, которую они построили на свой счет и которая до сих пор красуется в г. Шуе и содержится на проценты с капитала, положенного умершими. Шуя, помимо того что ее первостепенные граждане нажили свои капиталы через Киселевых, обязана им хорошей мостовой и многим другим. Но шуяцы хорошо помнят добро Киселевых: посещая Киселевскую больницу в г. Шуе, мы заметили два портрета, писанные масляными красками, из которых один висит

в какой-то необитаемой комнате, а другой, — в передней. Это — портреты братьев Киселевых, основателей больницы.

По мере того как ситцевое производство росло и развивалось, население Иваново постепенно из своего земледельческого состояния переходило в фабричное. Сперва, как мы видели, ивановцы заводили фабрички, не отрываясь в то же время и от земледелия, но подобное явление было переходным, и оно скоро миновало. Примеры обогащения односельцев, которые еще не так давно, у всех на памяти, были такими же крестьянами-земледельцами, как и все остальные, обаятельно действовали на массу, и всех увлекало, манило к фабричному труду. Они бросали землю и шли на фабрики. Некоторые из них, как мы знаем, через несколько времени сами сделались хозяевами, другие находились в качестве работников и лучшего не желали, потому что недостаток в рабочих руках чувствовался постоянно и задельная плата год от года возвышалась. Набойщики получали от 1000 до 1500 руб. в год. Если к этому мы прибавим дешевизну предметов жизненных потребностей и даровой лес, то совершенно поймем, почему земледельческий труд потерял всякое значение в глазах ивановцев. Отец поступал на фабрику в набойщики, туда он вел и своего сына, едва последнему исполнится шесть-семь лет; отец живет и умирает набойщиком, его сын точно так же всю жизнь занимается одним и тем же делом и, в свою очередь, приспособляет к набойничеству уже своих чад: так одно поколение сменяется другим, и новое поколение наследует от предыдущего одно и то же занятие. Таким образом в течение ста лет из прежних земледельцев-ивановцев создается особый фабричный класс, класс набойщиков. С течением времени образовывались и другие занятия, но ивановцы предпочитали набойничество и ко всем новым профессиям относились пренебрежительно, как малоодоходным. Исключения составляли резчики и рисовальщики, получавшие также высокую задельную плату, но число их было, сравнительно с набойщиками, весьма ограничено, и занятия их требовали большего времени для изучения, чем работа набойщика. Но как из набойщиков пробивались в хозяева, так и из резчиков некоторые делались фабрикантами. Для примера укажу на современную, одну из лучших, мануфактуру гг. Зубковых, дед которых, умерший назад лет десять, был сам резчиком и только около тридцатых годов

завел свою небольшую фабричку. Все эти рабочие-мастера жили артелями, артель рядилась с хозяином, артель получала заработанные деньги, и артель грудью стояла за каждого своего члена, — она имела большое значение на фабрике, но каждый работник был сам по себе, жил своею самостоятельной жизнью в родной семье и был полным господином в своем доме.

Женщины и девушки с введением миткалевого ткачества совсем оставили фабрики и работали уже исключительно дома. В каждой избе стояло по станку и по два, целый день весело стучал челнок и девичьи песни не смолкали за краснами до самой полуночи. Одни ткали на хозяев; беря от них на-дом бумагу и возвращая миткаль, получали за труд обыкновенно с клуба, который успевали выткать в две-три недели, и получали от десяти рублей ассигнациями до золотого, т.е. полуимпериала. Другие сами покупали бумагу и вытканый миткаль выносили продавать на базар, где у них покупали его фабриканты для набивки ситцев. Как тот, так и другой способ вознаграждения за женский труд был одинаково выгоден для жительниц с. Иванова.

Ничего нет удивительного, что перемена труда ивановцев и громкая слава, рано разнесшаяся о с. Иванове как о каком-то золотом дне, очень скоро обратили на себя любопытный взор помещика, гр. Шереметева. Результатом такого внимания было возвышение оброка до 70 руб. с тягла и обложение натуральною повинностью ивановских женщин. За податную единицу брался возраст: от 18 до 20 лет девушки и женщины обязаны были в пользу своего помещика ежегодно вносить по 3 фун. пряжи; от 20 до 25 лет — по 8 фун. и от 25 до 30 лет—10 фун. Этот новый, до сих пор еще никогда не существовавший бабий оброк гр. Шереметевым впервые начал собираться с 1768 г. Но гораздо важнее по своему значению и последствиям была первая часть господской внимательности: увеличение мужицкого оброка. Заплатить ивановскому крестьянину того времени 70 руб. не составляло бы еще особенной тягости, но дело в том, что один крестьянин платил оброк с двух, трех и даже пяти тягол, а фабриканты несли и все десять и больше. Но ивановцы, при своих хороших заработках, выносили безропотно это господское внимание и за свой фабричный труд выплачивали каждый год контрибуцию.

В тридцатых годах в Иванове появились кабаки, но их посетителями преимущественно были чернорабочие, «натеки» и «жуки», как сами ивановцы называли всех, кто не был ивановцем и приходил к ним на житье со стороны. Только около начала сороковых годов, когда за недостатком рабочих рук ивановские фабриканты «выписали» набойщиков из Москвы, «московских», да стал наплывать народ с других сторон, хождение по кабакам начинает входить понемногу во вкус и ивановцев, но об этом будет сказано дальше, когда мы перейдем ко второму моменту развития фабричного труда. Нравы того времени, с половины XVIII века и до начала сороковых годов XIX, представляли небольшое отклонение от своей первобытной чистоты и безыскусственности. Ивановцы не терпели лжи, обмана и только изредка позволяли себе пользоваться хозяйскими красками для домашнего обихода, а их жены и дочери отличались необыкновенной нравственной и физической чистотою: никто не знал случая, чтобы девушка выходила замуж уже лишенною невинности, и не было примера, где бы жена нарушила обет «супружеской верности». «Жили все попросту, без всяких новейших затей, да больно уж жили-то тогда мы хоршо, — рассказывал нам один семидесятилетний старик, — без всякого лукавства, по всей чистой правде все у нас было, ну и бог не забывал нас. Помянешь прошлое-то времечко, экая жизнь тогда была, господи!»

Это одна сторона тогдашней жизни, а вот — другая. Рядом с этой хорошей и довольной жизнью и об руку с развитием местной индустрии выступило нечто до того странное и никак уже не гармонировавшее с тем, о чем мы сейчас говорили и что иначе нельзя назвать, как протестом против нового направления жизни: почти с самого возникновения фабричного производства в с. Иванове начинаются разбои, воровство, поджоги. От них страдают крестьяне, гибнут целые сотни домов и различных построек, разрушается вконец то, что было создано трудом и усилиями рабочей массы. Один из историографов с. Иванова, г. Полушин, в своей статье «О ситцевом производстве в с. Иванове», помещенной в «Вестнике промышленности» за 1860 г., объясняет данное явление «грубою мезтью» со стороны недовольных. Приведем его слова. Говоря о том, что выгодные заработки привлекали в с. Иваново «соседний народ» и что оно было рассадником про-

мышленности во Владимирской губернии, г. Полушин продолжает: «Но вместе с дружным участием к делу явились люди, не имеющие никаких средств и способностей к какому бы то ни было роду деятельности, и составили партию недовольных обогащением своих земляков. Пожары, бывшие в 1775 и 1781 гг., служили грубой мезью недовольных своим положением крестьян с. Иванова. Зависть, недоброжелательство шли под руку с негодяями, и скоро убийства и грабежи появились в Иванове». Так смотрит на факты, г. Полушин, сам фабрикант и купец ивановский. Что грабежи, пожары и убийства были прямым следствием народного неудовольствия, в этом нет никакого сомнения, но почему и откуда явился столь грозный протест, когда, по словам самого же автора-мануфактуриста, местная фабрикация процветала и, как мы выше сами видели, ивановцы-набойщики с переходом из земледельческого класса в фабричный стали не в худшее, а лучшее материальное положение, — на это г. Полушин не отвечает. Сказать, что образовалась партия недовольных и затем свалить всю вину на «негодяев» — значит отделаться только от объяснения факта общим местом и ровно ничего не сказать в защиту своего взгляда.

Народная месть росла. Виновники, или, по выражению г. Полушина, негодья, уличенные в поджогах и разбоях, наказываются публично кнутом с вырыванием ноздрей, клеймением чел и ланит и ссылаются в каторжную работу. Личности сомнительного поведения по воле помещика ссылаются на поселение в Сибирь. В 1817 г., по инициативе Гофмана, управляющего гр. Шереметева, в с. Иванове вводится полиция, штат которой состоял из одного полицмейстера, двух частных и восьми квартальных. Содержание нового института общественной безопасности ложится на одних крестьян. Но «грубая месть» с введением правильно организованной полиции не только не прекратилась, но еще более увеличилась и наводила всеобщий страх. «Общественное спокойствие было нарушено, — рассказывает г. Полушин, — недовольные разными улучшениями (?) крестьяне, кроме того, что произвели грабежи и убийства в самом Иванове, разбежались и по окольным дорогам села, так что проезд в Иваново составлял довольно опасное предприятие. Разбои с 1817 г. по 1823 г. принимали большие размеры, и в 1823 г. была обокрадена церковь покрова пресвятой богородицы, сняты были бо-

гатые украшения и ризы с двух икон — Казанской и Смоленской богородицы, церковная касса была разломана, и потеря храма простиралась до 50 000 руб.». Полицию нашли за благо уничтожить. Около этого времени в Иваново развивается сильный раскол, который сюда был занесен с давних пор; многие из жителей отпадают от православной церкви, образуя различного рода секты; некоторые из раскольничьих сект отрицали Иисуса Христа. Так один ивановский крестьянин, Иван Иванов Нечулаев, публично издевался над крестом, топтал его ногами и плевал на святое изображение. «Всенародно» он был за это наказан тридцатью тремя ударами кнута и сослан в каторжную работу. Насколько раскол в Иваново имел серьезное значение, можно видеть уже из того, что для сектантов были отделены особые кладбища и построена единоверческая церковь, известная под названием Новоблагословенной.

Наступил второй момент в развитии фабричного труда. Еще в 1828 г. на фабрике одного приезжего купца Спиридонова была поставлена печатная машина, но до сороковых годов никто из прочих фабрикантов не последовал за Спиридоновым, находя за более удобное для себя отдавать последнему миткаль «под пропуск» в машине. Он работал исключительно «чужбину» и благодаря отсутствию конкуренции брал с ивановских фабрикантов по 7 руб. с куска за этот «пропуск» в машине. Насколько всякая мысль о каких-либо улучшениях в ситценабивном деле была далека от ивановских фабрикантов, весьма наглядно доказывает настоящий факт. Двенадцать лет они возили под пропуск Спиридонову миткаль, видели все преимущества машинного печатания перед ручной набивкою, и все-таки никто не хотел поставить у себя на своей фабрике такую же «машинку». Только через двенадцать лет, заметив, что Спиридонов, этот «натек» и пришлец, от своей машины нажил и большие каменные дома, и деньги, фабриканты-аборигены смекнули, что, мол, не мешает и нам завестись этими машинками. С 1839 г. фабриканты начинают выписывать печатные машины, и затем со следующего года и вплоть до наших дней идет целый ряд нововведений: ставятся печатные машины, паровые, каландры, перотины и т. п. Первая паровая машина является на фабрике П. М. Гарелина, отца нынешнего фабриканта. Раньше Гарелина была поставлена паровая машина на бумагопрядильной Бабурина, но она почему-то не приво-

дидась в действие. За П. М. Гарелиным ставят паровые машины Н. М. Гарелин, П. А. Зубков, А. Ф. Полушин и другие ивановские фабриканты. Введение печатных машин и замена сил человеческой и лошадиной силой пара производят революцию в местной производительности: фабрики принимают другой, более европейский вид, и создается множество новых видов фабричного труда: горшечники один за другим начинают исчезать, и труд набойщиков и резчиков упадет. Развивается в самых широких размерах ткачество. В конце сороковых годов открывается огромная бумагопрядильная мануфактура Н. М. Гарелина, вслед за которою возникают другие — в г. Шуе и с. Тейкове. Крымская война дает новый случай к обогащению фабрикантов, а последовавший вскоре пересмотр и изменение тарифа заставляют фабрикантов подумать об улучшении своих изделий. Я. П. Гарелин ставит механическую ткацкую в 180 станков, потом фирма Никона Гарелина сыновей заводит механическую ткацкую; наконец, механические ткацкие распространяются по уезду и продолжают вводиться до сего дня. Теперь конец существованию мелкого производства, пробил последний час горшечников; теперь наступило абсолютное царство богатырей-фабрикантов и сила капитала, создав гигантские здания с машинами, пригнула и задавила все мелкое производство.

Страшным событием ознаменовалось это вступление в новый период. 1839 г., мая 13-го, произошел еще никогда не бывалый по своим последствиям и размерам пожар. Иваново, за исключением небольшого числа домов и фабричных зданий, сделалось жертвою пламени, и сгорели все лучшие и главные фабрики. Убыток, понесенный жителями от пожара, превышал цифру 3 000 000 руб. Чувствительны были потери для пострадавших фабрикантов, но они оказались ничем в сравнении с тем бедственным положением, в каком очутилась масса работников-набойщиков. Фабриканты немедленно принялись за возведение новых зданий, и фабричные операции снова пошли, но ивановцы-рабочие, лишившись крова, имущества и на довольно продолжительное время всяких заработков, превратились в нищих. Не легко им было поправиться, а тут, не успели еще они обстроиться и зажить как следует, стали появляться на фабриках печатные машины, которые заставили фабрикантов понизить задельную плату набойщика. Но они на это несчастье смотрели как на временное и крепко

были убеждены в том, что придет другая, лучшая пора, когда вернутся к ним их прежние хорошие заработки, и что их труд до окончания мира не потеряет своей ценности. Печатные машины росли, как грибы, и заработная плата все понижалась, а набойщики и не думали изменить своей профессии, и число их увеличивалось. А между тем вместе с различными нововведениями и усовершенствованиями в фабричном производстве открывались новые занятия, на которые поступали «натёки», люди все пришлые, бог весть откуда взявшиеся и целыми толпами валившие в Иваново. Все прибыльные мастерства и должности, как то: гравёров, накатчиков, раклитов и т. п., занимали эти пришлые люди. Заработки набойщиков в сороковых годах не простирались выше 600 руб.; спустя десять лет они понизились до 400 руб., а в начале шестидесятых годов средний заработок набойщика был уже только 300 руб. Но и тут ивановцы продолжали упорно держаться своего отцами заповеданного труда и не меняли его на другой, новый и более оплачиваемый, да и не легко человеку, достигшему 30—40 лет, начинать чему-либо снова учиться.

Печатные и паровые машины удесятерили выработку ситцев. Вследствие этого ручное ткачество миткаля приняло колоссальные размеры; оно потребовало десятков тысяч рабочих рук, и фабриканты стали раздавать пряжу по окрестным селениям, где, начиная с осени и до пасхи, ткали не одни женщины и девушки, как то мы видели в Иваново, но и мужчины. По деревням и селам скоро образовались так называемые комиссионеры, которые брали от фабриканта пряжу, условливались с ним в цене за работу и уже от себя раздавали ее деревенским ткачам. Не одни кулаки, разжиревшие мужики и прохвосты-мещане взялись за дело эксплуатации, — за него с радостью ухватились и господа дворяне, ближайšie к Иванову помещики: они, пользуясь крепостным состоянием, отдавали пряжу ткать своим крестьянам, получая от фабрикантов с клуба 4—5 руб., а сами платя всего только по полтиннику и много по рублю. Но с тех пор как завелись механические ткацкие, и эта отрасль труда погибает; хотя еще в настоящее время какой-нибудь сотый процент и достается на долю ручного ткачества, но близок час, когда и этого не будет, и механические ткацкие вконец убьют ручной труд. Он держится пока еще кое-где по деревням, давая рабочему за клуб вместо прежних 6 и 5 руб. только рубль

и много полтора. Но в самом Иванове, где ручное ткачество составляло домашний женский труд, оно окончательно исчезло: женщины и девушки оставляют теперь свои дома и идут на фабрики бумагопрядильные, ткацкие и пр.

Остановимся на нравственном состоянии рабочего за этот период. В конце тридцатых годов на ивановские фабрики являются работники-набойщики из Москвы, народ уже крайне распушенный и «вольный», как говорят ивановцы; они вносят с собою первый элемент разложения в туземные нравы. Начинается сперва веселое и само по себе невинное разгульное житье, заявляющее себя в праздники, потом, с постоянно возрастающим наплывом новых рабочих и понижением заработков, развивается уже пьянство в массе ивановских рабочих. Сосредоточение громадных капиталов в руках отдельных личностей, в связи с одновременно идущим понижением уровня зажиточности в среде большинства рабочего населения с. Иванова, оказывает несравненно большее, чем столкновение ивановцев с пришлецами, влияние на деморализацию рабочего класса. Старики-фабриканты, которые хорошо помнили свое родство с рабочими и знали, что только их труду они обязаны своим богатством и славою, сошли со сцены; их место заняли молодые, воспитавшиеся в богатстве, неге и холе, на руках нянюшек и мамушек, которые в младенчестве натолковали им, что они богаты, умны, знатны и что все другие — бедняки, «низкие» люди, которые живут в услужении у их папенок, и папеньки по доброте своей великой дают им пропитание. Всякое нравственное звено, связывавшее отцов-фабрикантов с их рабочими, перестало существовать, было порвано; теперь фабриканты получают в глазах рабочих какое-то священное значение, никакой общности в интересах не существует. Есть только два, резко один от другого отделенные класса: наверху пьедестала стоит горсть фабрикантов, этих новых божеств, а внизу его лежат расprostертыми десятки тысяч новых париев. Как глубоко внедрилась деморализация, может служить доказательством бесчисленное множество фактов, выражающих отношения хозяев к рабочим. Все работники — мужчины, женщины и дети — при выходе с фабрики подвергаются обыску. Их заставляют раздеваться и осматривают сверху донизу, шарят всюду, куда только может проникнуть рука обыскивающего. У одних фабрикантов это делается при самом выходе из здания, у других — в

воротах, у третьих — везде: при выходе из здания, на дворе и у ворот. Мало того, сравнительно еще в недавнее время на некоторых фабриках существовали ременные плети, которыми при всяком удобном случае хозяин и приказчик полосовали рабочих — мужчин, женщин и детей. На одного из таких, самых крупных фабрикантов с. Иванова, рабочие, в числе 600 человек, жаловались местному становому; последний явился на фабрику, произвел следствие и нашел плети. Но фабрикант вышел из этого чистым, а становой был удален с должности. Этот факт относится к пятидесятым годам.

Мы теперь у порога настоящего. Еще один шаг, — и мы очутимся лицом к лицу с современным положением рабочих. Местные нравы все больше распускаются, бедность увеличивается и стоит грозным пугалом в глазах ивановских рабочих. Ивановцы-набойщики увидели наконец свое безвыходное положение, стали было возвращаться к земле, к труду своих предков, но фабриканты постарались село преобразить в город, и возврат к прошлому сделался невозможен. Крестьяне-ивановцы принялись за продажу своих домов и усадеб; из работников-собственников мало-помалу стал образовываться класс бездомных нищих, которые покидают свою родину и расходятся по разным местам России, чтобы там, вдали, где-нибудь найти себе хлеб, так как на своей родине им ничего не осталось делать.

К таким результатам пришло местное население с. Иванова через полтора столетия ситцевой промышленности. Теперь мы уже ступили на черту, с которой открывается перед нами настоящее рабочего населения в русском Манчестере.

III

Наше знакомство с современным положением рабочего класса начнем с обозрения фабричных зданий, в которых дни и ночи проводят люди за самой разнообразной работой.

Первое место здесь дадим бумагопрядильной, принадлежащей фирме Никона Гарелина сыновей. Под горою, почти у самой реки Уводи, возвышается каменный пятиэтажный корпус со множеством окон, — это бумагопрядильная. Глухой шум, который еще издали слышится, по мере нашего приближения становится все явственнее и

сильнее; чувство нето страха, нето удивления овладевает нами, когда мы подходим к самому зданию и совершенно инстинктивно останавливаемся, не зная, войти нам или назад вернуться. Мы улыбнулись нашей мгновенной слабости, быстро отворили наружную дверь, — и наше обоняние поражено страшным зловонием: слева, прямо против другой, входной, двери и в нескольких шагах от последней находятся ретирады. Первым нашим движением — зажать обеими руками нос и скорее проскользнуть в следующую дверь. Мы внутри помещения и на минуту теряем всякое сознание; оглушительный шум, стук механизмов и непроглядная пыль сразу овладели всем нашим существом и приковали к месту. Но вот мы справились с собою и начинаем всматриваться в окружающие предметы. Сперва, из-за давящего нас тумана пыли, выделились разных форм и очертаний машины, потом замелькали стучащие колеса, показались медленно ползущие шестерни и, наконец, когда глаз привыкает, замечаем какие-то странные фигуры, похожие на чучела или огородные пугала: то рабочие люди, мужчины и женщины, работающие на чесальных аппаратах, ленточных и банкаброшах. Эти люди с головы до ног покрыты таким толстым слоем пыли, что нет возможности отличить их лица от платья. Большинство рабочих — женщины и девушки, мужчин не больше шести-семи человек. Видим еще детей, мальчиков и девочек, которые подметают около машин и, частью ползая, вытирают рваной пряжей грязь с шестерен, колес и т. п. Все, как взрослые, так и дети, работают стоя в продолжение двенадцати часов в сутки сменные и четырнадцать — дневные и ни на минуту не присядут под опасением штрафа; работают они без обуви, разувшись, и голыми ногами ходят по каменному полу, а мужчины даже без нижнего белья; душно, воздух пропитан запахом масла, кругом пыль и температура 18° по Р. Мы отворяем дверь направо и слышим уже не шум и несмолкаемый стук, а какой-то ужасающий рев: здесь трепальные машины. Та же пыль и тот же маслянистый запах в воздухе. Рабочие ходят, перемещают места, как все люди, но в то же время почему-то сдается, что перед вами не живые люди, а двигающиеся манекены: так они похожи на те механизмы, которые их со всех сторон окружают и теснят. И это впечатление еще более усиливается тем, что ни одного звука человеческой речи никогда тут не услышишь!..

Поднимаемся на третий этаж.

При входе на третий этаж наше обоняние снова терпит, но мы уже немного привыкли и почти равнодушно минуем это место злачное. В новом помещении нет трепальных, но остальные аппараты одни и те же, что и в предыдущем, и в особом отделении стоят мюльные самодействующие машины (прядельные). И здесь преобладающий элемент рабочей силы — женщины и девушки и только на одних мюлях — прядельщики-мужчины. Опять та же пыль и тот же воздух! В отделении мюлей пыли меньше, но запах масла разносится повсюду и дает себя чувствовать. При взгляде на мюльные (прядельные) машины, поставленные одна за другой по одной прямой линии, и между ними, в промежутках, стоящих прядельщиков, — в голове тотчас рождается вопрос: как тут могут работать люди, не рискуя при малейшей оплошности ежеминутно быть подмятыми под колеса и раздавленными бегающими каретками?

— И вы тут не бонтесь? — спрашиваю я прядельщика, — здесь есть хоть какая-нибудь возможность расслышать человеческую речь.

— Привычно, — отвечает лениво прядельщик, человек с бледным и худым лицом, усталым взором и машинообразными движениями. Прядельщики, особенно сменные, все таковы.

— А бывают когда несчастные случаи?

— Как не бывать... Только у нас-то на мюлях редко, потому народ все опытный, а вот там, — лениво кивнул он головою по направлению к банкаброшам и другим аппаратам, — случаются, бывают несчастья... Особенно в трепальной, — там часто рвет руки, ато когда и всего человека эдак порешит: чуть мало не углядел, оплошку сделал, захватило пряжкой рубаху аль портку и притянуло ремнем к самому потолку, — взглянешь, ан человек уже там без головы, либо одни только куски от него остались. Случается. Все бывает.

И хоть бы одна какая нота дрогнула в голосе! Совершенно ровно, безучастно рассказывает прядельщик о гибели людей!

Мы спешим подняться на четвертый этаж. Но здесь нового уже ничего не встречаем. Только на пятом, кроме людей, находим машины шлихтовальные, сновальные, гидравлический пресс и прочее. Работа везде производится в

стоячем положении, а в сповальной преимущественно работают одни мальчики.

Теперь нам остается еще рассмотреть эти помещения по отношению к кубическому содержанию воздуха, в них заключающегося. Нижний этаж бумагопрядильной необитаем; в нем лежат сваленные разные чугуны и железные вещи. Мастерские, как мы видели, начинаются со второго и идут включительно до пятого. Второй этаж разделяется на три отделения: в одном — разбирают хлопок, в другом, совершенно изолированном от первого посредством капитальной стены, поставлены трепальные машины, а в третьем — находятся аппараты ленточные, чесальные и банкаброши. Первое отделение стоит в исключительном положении и потому о нем говорить нам не придется. Начнем со второго: высота помещения 6 аршин, ширина 15 и длина 18. В нем находятся 5 больших трепальных машин для очищения хлопка от зерен, песку и прочее; при этих машинах постоянно, в две смены, день и ночь, работают 10 чел. и еще 33 чел., исполняющие другие работы; из последних 33 — 18 женщин. По требованию гигиены для каждого человека в продолжение одного часа необходимо нужно иметь 6 куб. метров, или около 200 куб. футов чистого воздуха. Какое же содержание воздуха на человека приходится в отделении трепальных машин? Зная меру площади основания (15+18 арш.) и высоту (6 арш.) данного помещения, мы будем иметь всего 20 580 куб. футов воздуха. Разделив эту цифру на число всех рабочих (53 чел.), в частном получим 388 куб. фут. Но эта цифра — идеальная, действительностью не оправдываемая. Полученное содержание воздуха (388 куб. футов) возможно только в первый момент прихода рабочих в трепальную, а затем, с момента начатия работы и до момента окончания, т. е. по истечении шести суток, воздух уже почти совсем не возобновляется, так как вентиляции нет, кроме двери, по временам отворяющейся в соседнее отделение, и одной трубы, предназначенной для выгигивания пыли и не достигающей своей цели. Правда, летнею порою иногда отворяются форточки в окнах, но зимою этого не дозволяется, и воздух целую неделю остается спертым и пропитанным углекислотою, аммиаком и прочими негодными для дыхания газами. Спрашивается: сколько кубических футов чистого воздуха приходится на каждого человека спустя сутки и чем дышит работник, являющийся в трепальную в конце ше-

стых суток? Теперь исключите из данного пространства объем машин, занимающих собою больше половины всего помещения, и прибавьте к сказанному вечную пыль, запах масла, — и всякое понятие о воздухе исчезнет!

Третье отделение второго этажа имеет в длину 63 арш., в ширину 15 и высоту 6 арш. В этом отделении поставлены следующие машины: 25 банкаброшей, 4 ленточных аппарата и 39 чесальных. Эти 68 машин занимают почти всю площадь основания и стоят рядами, между которыми идут небольшие проходы; вышина каждого аппарата не менее 3 арш. Здесь работают в две смены 170 чел. — большинство женщины и дети как уже нам известно. Настоящее помещение содержит в себе 72 030 куб. футов, что на одного работника даст $423\frac{1}{2}$ куб. футов. Но из пространства 72 030 мы должны исключить машины, которых объем будет равняться 23 324 куб. футам, полагая объем каждого аппарата в 343 куб. фута; за этим исключением мы получим уже только 48 706 куб. футов, или около 287 куб. футов воздуха на каждую рабочую душу. Но даже и такое содержание воздуха идеально, ибо все эти банкаброши — ленточные и чесальные — стучат и в своем несмолкаемом шуме и гаме не останавливаются ни на минуту в продолжение целой недели, или 144 час., приковывая к себе рабочих, детей и взрослых. И здесь форточки открываются летом, но во все другие времена года закрыты; другой вентиляции нет, отсюда и вытяжной трубы для пыли не проведено. а° входная дверь, как единственное вентилирующее средство, когда открывается, то через нее обильной струей вливается воздух из ретирады, так что торопятся поскорее затворить ее.

В помещениях остальных трех этажей, исключая пятого, одни и те же условия по отношению к кубическому содержанию воздуха, т. е. везде работник на бумагопрядильной глотает пыль, дышит углекислотой, аммиаком и пр. В помещениях пятого этажа, благодаря другим аппаратам, воздух — если только на бумагопрядильных есть какой-нибудь воздух — для дыхания более сносен, хотя в час. времени рабочий вряд ли имеет его 25-30 куб. футов.

Освещаются все помещения зиму и летом газом, который здесь добывается из бересты и дров.

В с. Иваново бумагопрядильная одна, но в уезде их несколько. Нисколько не преувеличивая, скажу, что все

они и везде похожи одна на другую: я посещал бумагопрядильные в г. Шуе, в селах под Москвою, в Рязанской губернии и должен сознаться, что помещение бумагопрядильной гг. Гарелиных содержится в более лучшем и совершенном виде, чем у других фабрикантов.

От бумагопрядильной, где выделяется, как мы видели, посредством различных машин из хлопка пряжа, самый естественный переход к ткацким, в которых из выпряденной бумаги посредством новых машин производится уже миткаль.

При входе в механические ткацкие мы снова ослужены, но на этот раз каким-то особым шумом, но это уже не стук и рев, какой мы слышали в бумагопрядильной, а невообразимый треск, смешанный с звонким шелканьем челноков. Ткацкие станки в несколько рядов идут во всю длину помещения; взрослые и малолетние, мужчины и женщины стоят в наклонном положении за этими станками, присучивая оборвавшуюся нитку, натягивая миткаль и т. п. Хотя туман пыли здесь и реже, чем в трепальной, но маслянистый запах, разносящийся по всем направлениям, одинаков и сильно действует на непривычное обоняние. Работник и здесь также подвергается опасности быть искалеченным, но не так часто, как в бумагопрядильной, и притом не в такой степени, как на последней.

Механическая ткацкая Никона Гарелина сыновей занимает один четырехэтажный каменный корпус, соединенный крытой галлереей с корпусом бумагопрядильной. Стены в каждом этаже выбелены, потолок обит листовым железом. Большие окна вышиной в 4 арш., шириной в $2\frac{1}{2}$ расположены по обе стороны, делают помещение достаточно светлым, особенно в верхних этажах. Как длина и ширина, так и высота везде одинакова, именно каждый этаж занимает в длину 45 арш., в ширину 30 и в высоту 8. В нижнем помещается контора, а во всех остальных — ткацкие станки. Размещены они так: во втором и третьем этажах поставлено по 162 станка, а в четвертом всего 63. Двумя станками управляет один ткач или ткачиха; только в четвертом этаже один ткач работает на одном станке.

Работа в ткацкой производится так же, как и в бумагопрядильной — посменно, т. е. безостановочно день и ночь в продолжение целой недели и приостанавливается накануне праздника или воскресенья с шести часов вечера. Подробнее о рабочих часах, равно как и занятиях

малолетних, сказано будет дальше. В две смены работают 540 чел. и в одну — 270; из этого числа на долю четвертого этажа приходится 80, а на остальные два — 190 чел. Помещение каждого этажа содержит в себе 139 650 куб. футов воздуха. Но если мы вычтем цифру, составляющую кубический объем станков — 17 010 куб. футов (1 станок— 105×162 куб. футов), то останется свободного воздуха 122 640 куб. футов. С этой цифрой нам приходится иметь дело. Всех рабочих в одном этаже 95 чел. Следовательно, на каждого работника в минуту его прихода на фабрику дается воздуха 1296 куб. футов. Но, само собою разумеется, воздух этот сейчас будет поглощен и самая цифра сократится до минимума. Мы видим, что летом, благодаря иногда открывающимся форточкам, испорченный воздух здесь возобновляется притоком свежего, хотя далеко не в такой степени, в какой требуется гигиеною. Но во всяком случае дышать еще можно и работать сносно. Зато мы знаем, что зимой и осенью, даже и в начале весны, ниоткуда уже нет больше притока нового воздуха, так как форточки плотно закрыты, а другой вентиляции не устроено и не полагается. Таким образом мы узнаем, что работник первой смены, являясь на фабрику во второй раз, получает уже только 108 куб. футов воздуха, а работник второй смены — 72 куб. фута и, наконец, обе смены в последние сутки рабочей недели имеют в своем распоряжении воздуха от 10 до 8 куб. футов на человека. И, заметим, какого воздуха 8 футов!..

Взглянем на механическую ткацкую Я. П. Гарелина. Помещается она в каменном одноэтажном здании, занимающем в длину 89 арш., ширину 27 и высоту $7\frac{1}{2}$ арш. Это здание разделяется на две части: собственно миткалево-ткацкую и шлихтовальную, отделенную от первой капитальной стеной и имеющую с ней сообщение посредством двери. В обоих отделениях потолок обит железом и кирпичные стены выбелены. Во всю длину первого отделения, именно на протяжении 77 арш., расположены в четыре ряда ткацкие станки, всех станков 161. При них работает 90 чел. взрослых и малолетних, а именно: ткачей-мужчин 35 чел., женщин-ткачих — 35. Относительно времени работы миткалево-ткацкое заведение Я. П. Гарелина отличается от заведения Никона Гарелина сыновей: работа происходит только во время дня, на ночь останавливается и во время обеда прерывается на два часа. В

ткацком отделении, если мы исключим станки, окажется всего воздуха 174 904 куб. фута, т. е. по 1943 на каждого ткача. В продолжение первой рабочей половины дня, от 4 час утра и до 11 — до обеда, это количество воздуха при отсутствии вентиляции должно уменьшиться до 943 куб. футов, а затем, по возобновлении работы после обеда, с часу и до восьми, и это количество должно постепенно уменьшаться, так что к концу дневной работы ткач имеет воздуха от 34 до 35 куб. футов. При всем этом опять-таки не нужно упускать из виду пыль и маслянистый запах, бесцеремонно лезущие в нос и рот ткачей. В ткацкой Я. П. Гарелина вентилярующим средством служит одна наружная дверь, выходящая на фабричный двор и отворяющаяся летом, но во все остальные времена года она затворена, и воздух сперт. Но мы должны признать, что здесь положение рабочего по отношению к количеству вдыхаемого им воздуха несколько лучше, чем положение тех рабочих, которые работают посменно день и ночь, как то мы видели на ткацкой Н. Гарелина сыновей. Да и не в этом одном положении дневного рабочего лучше, чем сменного, а и в другом отношении, также тесно связанном с здоровьем и сбережением сил работника.

Второе отделение занято шлихтовальной, где клеят и снуют бумажную пряжу. В этом отделении поставлены 3 шлихтовальных и 2 сновальных машины, несколько мотовил и берд. Женщины, преимущественно девушки, разматывают пряжу, продевают вместе с мужчинами и мальчиками нитки сквозь берда, а мужчины заняты проклейкою и снованием пряжи. В шлихтовальной совсем нет вентиляции, если не считать дверь, ведущую в отделение ткацкой. Все помещение в длину имеет 11 арш., в ширину 27 и в вышину $7\frac{1}{2}$ аршин. Число работающих — 30 чел. Количество воздуха в начале работы на каждого человека по 915, а в конце работы около 18 куб. футов. В шлихтовальной не существует запаха масла, по крайней мере его не слышно; зато благодаря проклейке сильно разит кислым тяжелым запахом, так что с непривычки, после какой-нибудь четверти часа пребывания, кружится голова и чувствуется легкая тошнота.

Зимой и осенью, когда утро и вечер нельзя работать без огня, весь корпус освещается газом, который добывается — единственный пока пример в Иванове — из нефтяных источников.

Что касается до ретиральных мест, то при ткацкой Я. П. Гарелина хотя и полагается в трех саженьях от самого корпуса, у забора, целая досчатая, драпированная старыми рогожами, будка, но на самом деле она есть не что иное как только призрак, а в действительности всякий рабочий «ходит по своим надобностям» туда, куда случится и куда больше всего в данную минуту удобно. Вследствие такого повсеместного хождения «по своим надобностям» около здания ткацкой для постороннего человека пройти делается великим подвигом.

Обе ткацкие приводятся в движение паровыми машинами.

Мы познакомились с двумя механическими ткацкими: на одной из них работают посменно — день и ночь, на другой — только в течение дня. По этим двум фабрикам мы можем себе составить точное и верное понятие о помещениях всех других механических ткацких, процветающих как в селе Иваново, так и в его окрестностях, уездах Шуи-ском и проч. Обстановка и условия везде одинаковы, и если встречается где какая разница, то разве в ничтожных мелочах, нисколько не изменяющих самого дела. Бумагопрядильная prepares пряжу, из которой ткацкие выработывают миткаль; последний отправляется на ситценабивные фабрики, где, пройдя целый ряд метаморфоз, получается уже, наконец, тот знаменитый ивановский ситец, который развозится во все концы нашей широкой Руси и в благословенную Азию. С этими-то фабриками теперь и познакоим читателя.

Ситценабивные, или иначе печатные, фабрики, которыми переполнено Иваново и весь округ, мы разделим на три категории: к первой отнесем большие мануфактуры, производящие ежегодно на сотни тысяч и миллионы; ко второй — так называемые средние, годовые обороты которых дальше сотен тысяч не простираются, и к третьей — мелкие, сбывающие в год ситец на тысячи и много — десятки тысяч. Последние представляют в настоящее время вид вымирающей промышленности и число их весьма ограничено. Это, если можно так выразиться, последние из могокан-горшечников. Само собой разумеется, что наше внимание преимущественно остановится на первых двух и главным образом на помещениях больших мануфактур, по своему устройству и технической части приближающихся к подобного же рода европейским фабрикам; о мелких ска-

жем только то, что необходимо для сопоставления фактов и уяснения условий обстановки рабочих при ситцевабиз-ных фабриках.

Возьмем самую усовершенствованную из крупных мануфактур, где все на заграничный лад и где встречаем новейшие применения техники. Это ситцевая фабрика мануфактур советника Я. П. Гарелина.

Мы — в отбельной, куда поступает суровый миткаль прямо с ткацкой для очистки. Помещение высокое, просторное, хотя и недостаточно светлое; здесь все производится посредством механизмов, приводимых в движение паровым двигателем: миткаль варится, спиртуется, отбеливается, промывается и прочее. Воздух тут постоянно влажный, с запахом поташа и извести, везде сырость и ноги рабочих не выходят из воды: она бьет сверху, прыщет с разных сторон и обильными потоками разливается по деревянному полу. Как мужчины, так и женщины, взрослые и малолетние, работают стоя и босиком, а некоторые в видах экономии даже и без рубашек, кроме женщин.

— Одежи не напасешься, — объясняют рабочие, — и измочишься-то весь, и прет на тебе все, и расплзается во все стороны... Бе-еда!..

В этом помещении находится несколько отделений: собственно отделочная, в тесном смысле этого слова, мытьельная, спиртовальная и т. п. Вода и влажный воздух — отличительное явление и составляют общую принадлежность всех отделений; в одних для нагревания воздуха проведены паровые трубы, в других на зиму ставятся железные печи, которые топят дровами. Но как тот, так и другой способ отопления не достигают своей цели: с одной стороны, рабочие подвергаются сильному жару, особенно там, где железные печи, с другой — излишней влажности, так что пары сгущаются и ходят облаками. В одном и том же помещении, почти в одно и то же время рабочий испытывает на себе действие различных атмосфер, стоя, например, у мытьельных барабанов. Лицо и вся его передняя часть подвергаются влиянию холодной, не более 4—5° по Р. воды и сырости, а затылок и задняя часть остаются в температуре 18—20° Р; только одни ноги не знают этого различия, так как вечно стоят на мокром и холодном полу и никогда не могут согреться... Некоторые из рабочих зимою одеваются в полущубки и носят кожаные сапоги, но подобный комфорт при роде их занятий крайне разо-

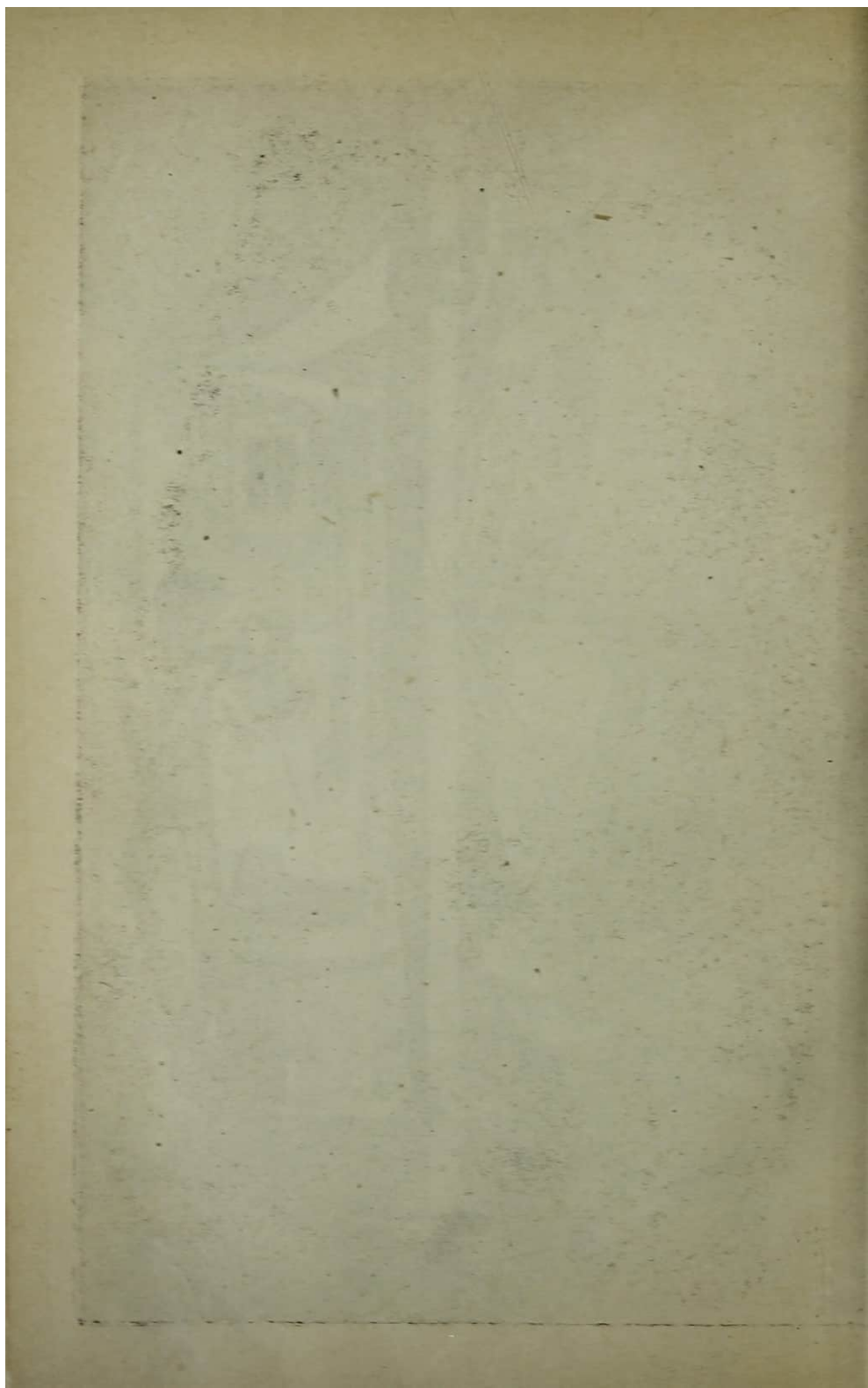
рителен; за зиму придется переменить две-три пары сапог и до гла износить всю дубленку. Во избежание лишнего расхода большинство рабочих отказывает себе в этой роскоши и зимою одевается так же, как и летом.

Из отбельной сырой миткаль поступает для просушки на так называемые сушильные барабаны. Чтобы миткаль высыхал быстро, его подвергают действию нагретых паром больших цилиндров, вследствие чего температура в помещении сушильных барабанов стоит выше 40° по Р. Нам с непривычки положительно нет никакой возможности пяти минут пробыть в такой духоте, а между тем за этим усовершенствованным европейским аппаратом, просушивающим в день тысячи кусков, с утра и до вечера ежедневно проводят время такие же люди... да еще кто? — мальчишки! Сидят они совершенно без всего, в чем только мать родила, за этими чудовищными «барабанами» и управляют своими детскими ручонками складки миткаля; их преждевременно впалые щеки лишены всякого признака румянца, свойственного юному возрасту, глаза без выражения, потухшие, а с бледно-матового лба ни на секунду не сходит пот. Вблизи этих почти младенцев-работников находится ушат с водою, и они беспрестанно пьют целыми ковшами, стараясь утолить хотя на одну минуту вечно томящую их жажду. В продолжение рабочего дня, зиму и лето, одна оконная рама стоит выставленною, и через эту отдушину врывается струя холодного воздуха.

В соседнем отделении температура более сносна, деятельность разнообразна: одни клеят миткаль, другие накатывают, третьи перебирают и т. д. Тут же варят крахмал и находится машина для впрыскивания ситца. Все суетятся, бегают, торопятся. Девушки и женщины сшивают куски ситца и миткаля, штопают ситец и т. п. В особой комнате, совершенно изолированной, помещается строгальная для миткаля машина; работа пыльная, и находящиеся при машине — с головы до ног в пуху.

Спускаясь в нижний этаж, мы присутствуем при печатании ситца. Помещение длинное, узкое и имеющее вид кривой формы; в нем пять цилиндрических печатных машин. Воздух насквозь пропитан чем-то кислым, острым и до боли режущим глаза, так что мы при самом уже входе принуждены обратиться к платку, чтобы вытереть слезы, мгновенно выжатые ядовитым красочным воздухом. У самого ящика, наполненного краскою, стоят подраклисты,





помощники главного мастера, заведующего печатными машинами, и наблюдают за ходом печатания ситца; они зорко следят за тонкой медной пластинкой — раклею, плотно и во всю длину прилегающей к медному цилиндру, который погружается в краску и рисунок которого потом отпечатывается на нескончаемой ленте белого миткаля, тянущейся куда-то в узкий — род какого-то ящика — коридор и исчезающей в крошечной тьме. До какой степени разрушительно действие газов, выделяемых красками, на зрение, можно судить по воспаленному состоянию глаз, замечаемому нами у подражников, из которых только один из десяти может, и то с великим трудом, протянуть до сорокалетнего возраста; обыкновенно скоро начинающаяся болезнь и затем опасение за совершенную потерю зрения заставляют их гораздо раньше оставить печатную машину и навсегда распрощаться с профессиею подражников.

Из печатной только-что вышедший и потому сырой ситец идет темным коридором, с температурою в 40—45° Р., в зрельну и потом на вешала; в этой страшной атмосфере, захватывающей дух и разъедающей глаза, выступают не совсем ясные очертания человеческих фигур: то мальчики, принимающие ситец и смотрящие за его просушкою.... Я раз спросил одного фабриканта, что за люди впоследствии выходят из всех этих мальчуганов, работающих при сушильных барабанах, в зрельных и на вешалах. Он, немного подумав, дал мне такой ответ:

— Бог знает, куда они у нас деваются, мы уж как-то их не видим после.

— Как не видите?!

— Да так, высыхают они.

Я принял это выражение за чистую метафору.

— Вы хотите сказать, что впоследствии они переменяют род своих занятий или перейдут на другую фабрику? — опять спрашиваю.

— Нет, просто высыхают, совсем высыхают! — отвечал серьезно фабрикант.

Из зрельной или с вешалов некоторые сорта ситца поступают в заварку, т.е. подвергаются действию горячих ванн, через что краски закрепляются и ситец делается прочным. Заваривание происходит в том же самом помещении, где и отбельная, и характер работы одинаковый; только при заваривании у рабочих еще больше дерется одежда, так как им приходится иметь дело с посиром —

лошадиным и коровьим калом — крапом и гарансином, растворенными в кипящей воде.

Последняя фаза — каландрение ситца. Для этой цели поставлены три машины с большими и гладкими цилиндрами, через которые пропускается ситец, и он приобретает лоск и плотность. У каждой каландры находится по несколько рабочих: один запускает ситец, другой принимает, третий складывает, четвертый мерит и т. д. Запускальщики иногда жертвуют своими руками, если как оплошают, и цилиндры вместе с концом ситца захватят непрочные пальцы запускающей руки.

Мы проходим мимо граверных, понтграфов, кузнечных, слесарных и прочих мастерских, находящихся при ситцевой фабрике, как потому, что обзор их потребовал бы не мало времени и занял много места в настоящей главе, так и потому, что все эти перечисленные виды труда относятся к мастерствам, более или менее уже известным читателям. Остановимся лишь на лаборатории, или, по местному выражению, «лабораторне».

Помещение лаборатории стоит совершенно отдельно от всех других фабричных корпусов. Оно довольно высоко и имеет сверху несколько конусообразную форму. Пол земляной. В лаборатории помещаются кирпичные печи, котлы для варения красок, реторты и проч.; все остальное пространство занято полками и горшками, наполненными красками в жидком и горячем состоянии. Пары и газы образуют густые облака и беловатой тучею висят над головами рабочих. Глядя на эти зеленые, красные, черные и желтые и различных цветов лица и руки лаборантов-рабочих, смело можно подумать, что тут собрались представители всех рас земного шара, только в более усовершенствованном и потому более ярком виде. Материал для красок берется из всех трех царств природы: животного — для пунцового, адрианопольского ситца, растительного и минерального; к последнему относятся ядовитые вещества, как, например, мышьяк, сулема и т. п. Насколько воздух лаборатории здоров для глаз и дыхания рабочих, — говорить излишне; замечу только, что у многих лаборантов, стоящих над горшками и размешивающих, нагнувшись, палкою дымящуюся краску, зубы черные и десны распухшие.

Фабрика Я. П. Гарелина расположена на восточной стороне Иванова и находится, подобно всем другим боль-

шим и средним мануфактурам, при самой реке Уводи, на правом берегу; она состоит из девяти каменных корпусов, не считая деревянной постройки, и занимает своими постройками земли не менее двух десятин. Впрочем, контингент рабочих — около тысячи человек — находится в главном трехэтажном корпусе, в котором помещается паровая машина, приводящая в движение все механизмы как на ситцевой, так и на ткацкой фабриках; последняя в одном дворе с ситцевой и расстояние между корпусами несколько шагов. Отопление почти везде паровое, а там, где нельзя было провести труб, поставлены кирпичные или железные печи, которые топят дровами. Освещение везде газовое, кроме одного каменного, старинной кладки корпуса, в котором помещаются набойщики, т.е. где набивают ситец руками, — старинный способ печатания ситца, — здесь работают при свете сальных свечей или ночника.

Стоит взглянуть на помещение набойщиков. Для этого мы зайдем на ситцевую фабрику торговой фирмы Никола Гарелина сыновей.

Фабричные корпуса ситцевого отделения мануфактуры гг. Гарелиных начинаются тотчас же за большим зданием, в котором помещается бумагопрядильная, и теснятся один подле другого. Все ситцепечатные помещения старинной постройки и не представляют никакого удобства. Набойный корпус принадлежит именно к разряду этой древней постройки. Он — каменный, двухэтажный и имеет в длину 42 арш., в ширину 15 и в высоту около 4 арш., т.е. содержит 30 870 куб. футов воздуха. В каждом этаже стоят в два ряда по 40 верстаков — столов для набивки; каждый верстак занимает 84 куб. фута, что вместе составит 3360 куб. футов (длина верстака 7 футов, ширина 3 и высота 4); исключив эту цифру из первой, будем иметь содержание воздуха в 27 510 куб. футов. В этаже находится 40 чел. взрослых набойщиков и 15 «штриховальщиков», следовательно при начале работы один человек имеет для своего дыхания воздуха 500 куб. футов. Но, к сожалению, это — иллюзия, как мы сейчас увидим. Положим, что работник с утра до обеда находится в мастерской 7 час., стало-быть, к тому времени как уходить с фабрики, он уже пользуется только 71 куб. футом (мы не упоминаем о порче воздуха от дыхания). После обеда и до окончания работы он пробудет на фабрике столько же вре-

мени, т.е. 7 час., но воздух в промежуток обеда не успеет очиститься до такой степени, чтобы его достало хотя на 700 куб. футов на долю каждого работника. Теперь прибавьте, что ежедневно в данном помещении развешивается для просушки до 60 кусков набитого ситца, что составит всего 3600 арш. (один кусок—60 арш.); ситец размещается по всей мастерской, от потолка и до пола, и делает воздух точно таким же, каким дышат рабочие в печатных машинах; говоря другими словами, тут воздуха в буквальном смысле совсем нет, а рабочие находятся под давлением какой-то ужасной атмосферы, действующей на человека очумляющим и губительным образом. Летом здесь открываются форточки, сделанные у каждого окна, но зато во все остальные времена года — никакой вентиляции. Таким образом дышит ивановский крестьянин-работник со дня возникновения больших фабрик.

Фабричные помещения второй категории мало чем отличаются от помещений первой, и рабочий по отношению к гигиене поставлен в одинаковые условия, если только еще не в худшие; разница больше количественная, чем качественная: так, например, все помещения фабрик этой категории заключены в двух, трех и много — четырех корпусах, тогда как помещения первой категории состоят из десяти и более зданий, превосходящих и громадностью размеров самой постройки. Есть еще разница в техническом устройстве, которая происходит от ограниченности капитала владельцев: те механизмы и усовершенствования, которые введены на больших фабриках, мы не везде встречаем на средних, — отсюда большой спрос на рабочие руки и видоизменение труда. На некоторых фабриках нет мыльных барабанов, и потому миткаль моется рабочими прямо в реке, на которой устраиваются деревянные плоты, а зимою — в деревянных избушках, известных под названием «мытилок» и устроенных также на воде, по середине реки. При подобном способе мытья рабочие в гораздо большей степени, чем при мыльных барабанах, подвергаются неблагоприятному влиянию действия воды и холода. Машины для вспыскивания также заменяются людьми, которые на этот раз сами превращаются в машину: рабочий наберет себе в рот воды и вспыскивает миткаль. Эту операцию он совершает в продолжение всего дня. Затем мы находим разницу в труде по отношению к возрасту: что на больших мануфактурах делают взрослые

работники, на средних — впрочем на весьма немногих — исполняют малолетние. На ситцевой фабрике М. Ф. Ямановского при машине для каландренья ситца находятся мальчишки, — они запускают и складывают товар. В сушильне опять работают малолетние. Далее, те же малыши «разбирают» сырой товар. Это делается следующим образом: кусок ситца раскладывают по полу, и мальчик, расправляя жгуты руками кладет мокрый ситец себе на голову; чем больше расправляет он жгуты, тем больше увеличивается тяжесть на голове; перебравши весь кусок до конца, он снимает его с головы и спускает на сушильный барабан, затем снова принимается за другой кусок. И так, не переставая, целый день. Эти работники имеют крайне изнуренный вид и, будучи от роду 10—12 лет, по своему маленькому росту и сложению кажутся никак не больше семилетних. Перебирают они товар без рубашек в жаркой, но сырой комнате.

Нам остается теперь познакомиться с фабричными дворами, узнать, как они содержатся, и взглянуть на устройство ретиральных мест.

Уже по одному тому, что мы видели, трудно было бы допустить, что фабричные дворы в Иваново содержатся хоть в какой-либо чистоте. Действительно, отсутствие всяких признаков заботливости о чистоте превосходит всякую меру описания, и вид дворов напоминает зрителю те страшные колодцы, которые описывает в своих фантастических рассказах Эдгар По и о существовании которых впервые и с ужасом узнали мы из восточных сказок в летах нашего детства. Фабричные дворы в большинстве случаев тесны и ничем не вымощены; не только осенью, но даже летом они редко когда пересыхают, чуть ненастная погода — обращаются в топкие болота, и рабочий вязнет в грязи буквально по колена. Всюду встречающиеся мусорные кучи, бугры и настоящие горы свидетельствуют о том, что под ними когда-то были ямы, назначенные для спуска негодных красильных веществ и различных нечистот. Несмотря на то, что все эти холмы и возвышения придают даже некоторую живописность виду, тем не менее, однако, заставляют отвести взоры и, что не раз уже мы делали, крепко зажать нос, так как исходящее от них зловоние воистину с ног сшибить может непривычного человека. При некоторых фабриках из корпуса проведены желобки и каналы в реку, но ради какой

цели — не решит и сам премудрый Магомет; проводники эти остаются в полном забвении, густая масса находится в них в стоячем положении, между тем поверхность реки окрашивается темным цветом, вода заражается отравой, и от нее несет опять, как из помойной ямы!

Устройство и содержание ретирад, как мы нашли при фабрике фирмы Никона Гарелина сыновей, можно назвать образцовым по отношению к прочим фабрикам. Обыкновенно на эту-то часть, как предмет самый пустой и притом очень «скверный», по понятию фабрикантов, не обращается никакого внимания. Выкопают у забора небольшую яму, поставят на ней досчатую будку или соорудят сами же рабочие для себя где придется нечто подобное из жердочек, да прикроют рогожкой — и дело в шляпе, — вот и отхожее место. Но все эти сооружения в скором времени делаются положительно недопустимыми для посетителей, ибо чистят их всего раз и много два в год, а потому рабочие обращают для своей надобности большую часть фабричного двора. Нечего и говорить, во что превращается двор во время ненастной погоды и что на нем бывает в знойные летние дни.

Главные мануфактуры, находящиеся собственно в Иванове, расположены на восточной стороне. Одни из них изолированы от сельских строений, другие построены в самых улицах села. В Вознесенском посаде большие фабрики сосредоточены на северо-западной стороне. Как те, так и другие находятся при реке Уводи и занимают низменную часть. Средние и мелкие фабрики разбросаны по всему селу и посаду.

При взгляде на фабричные здания резко бросаются в глаза теснота постройки и ограниченность земли, на которой они возведены: один корпус жметя к другому, этаж лепится на этаж и т. п. Что земли мало и хозяин дорожил всяким клочком, видно из того, что вновь воздвигаемые фабричные здания все больше и больше выступают на самую длину и местами захватывают чуть ли не целые переулки, стесняя проезд и совсем загораживая проход. Многие фабрики, по этой или другой причине, грязь и зловоние своих дворов распространяют на самые улицы. Так, например, фабрика гг. Бурковых треть улицы занимает глубокими ямами, в которые из кубовой выливается окшир; ямы эти сверху прикрыты тоненькими бревешками; в ночное время человеку, мало знакомому с Ивановым,

легко провалиться сквозь эти бревешки, и если не совсем можно потонуть, то отлично выкупаться и выйти сттуда, конечно, с помощью большой толпы добрых людей — выйти чудесно окрашенным с головы до ног в темнобурый цвет. А фабрики гг. Напалковых, благодаря постоянному вывозу разных нечистот и окширу, завалили целый овраг, прорезывающий центр Иванова, и создали колоссальных размеров гору в Мельничной улице. Выходящий из машин пар и из высоких труб густой дым часто застилают туманом целые улицы.

IV

Сколько же времени рабочий проводит на фабрике? Какое количество часов поглощается трудом в течение суток? Решению этих вопросов мы и посвятим новую главу.

Фабричные рабочие, как нам известно, разделяются на дневных и сменных. Первые работают 14 час. в сутки, вторые — 12 час. Это вообще и, так сказать, *de jure*, как требуют «условные правила»; но в частности и *de facto* фабрики берут у рабочего гораздо больше времени. Рассмотрим.

«Нанявшийся рабочий, — гласит «Условное правило» фабрики Никона Гарелина сыновей, — обязан работать четырнадцать часов в сутки, а именно в летнее время с четырех часов утра до восьми часов вечера; из этого времени предоставляется на обед два часа — двенадцатый и первый час; в зимнее время — от пяти часов утра до восьми часов вечера, на обед предоставляется один час — двенадцатый».

Действие «правил» распространяется на всех рабочих, как ежемесячно получающих жалованье, так и задельно. Взрослые, мужчины и женщины, и малолетние «обязаны» работать одинаковое число часов. Разницы по отношению ко времени между полом и возрастом никакой не допускается. Но мы сейчас увидим, что многие работы по самому фабричному кодексу требуют уже не 14, а 16 час. в сутки.

На некоторых фабриках работы начинают с 3½ час. утра и оканчиваются в 8 час. вечера; на обед дается полтора часа (ткацкая фабрика гг. Горбуновых, в 20 верстах от Иванова, ситценабивные г. Ямановского, Н. И. Гарелина

м др.), следовательно, рабочих часов будет 15 в сутки. Примем за среднюю цифру дневной работы $15\frac{1}{2}$ часов в сутки и пойдем дальше.

По «Условному правилу» каждый должен явиться на работу не позже пятнадцати минут после звонка под опасением в противном случае быть оштрафованным. Звонки или свисток бывает всегда за полчаса до начала работы; за четверть часа рабочий уже обязан быть на своем месте. По окончании работы ему опять ставится в непрелюбую обязанность прибрать товар, вычистить машину и т. п., на что минимум потребуется еще четверть часа. Таким образом в фабричных стенах рабочий ежедневно проводит 16 час. в сутки, а затем в распоряжении у него остается свободного времени 8 час.: это и на обед, и ужин, и отдых. Как же он располагает свободным временем?

Рабочие по месту жительства делятся на живущих при фабрике и приходящих; последние живут или в самом Иванове, или в близлежащих деревнях. Подробно об этом будет в главе «Жилые помещения рабочих». Первые встают вместе со свистком, т. е. за полчаса до начала работы, и торопятся бежать на фабрику; обедают полтора часа; вечером около половины девятого они возвращаются на квартиру и принимаются за ужин, на что с неизбежными проволочками уходит полчаса. Затем еще столько же времени проходит в укладывании и кратких разговорах. Следовательно, для сна остается всего пять часов. Рабочие, находящиеся вне фабрики и живущие в Иванове, спят только четыре с половиною часа, полагая, что квартира от фабрики отстоит на расстоянии одной версты и для прохода в оба конца требуется полчаса времени. Я беру в среднем выводе, так как многие рабочие живут от фабрики в полутора и двух верстах. Что касается до рабочих, ходящих ночевать в деревню, то здесь точной цифры времени, употребляемого на проход, нельзя определить: деревня одних находится в двух, трех верстах, других — в пяти и шести, третьих — в 10 и 15 верстах. Но последние ходят домой не каждый день, а только по воскресеньям и праздникам. Относительно же первых двух можно допустить максимум четыре часа сна в сутки, в чем не трудно убедиться, приняв в соображение вышеприведенные данные.

Независимо от этого распределения рабочих часов и времени для отдыха, — распределения, которое существ-

вует как общее правило, закон, — часто встречаются еще исключительные случаи, от которых совершенно изменяется как самое число рабочих часов, так и время отдыха. Такие случаи обуславливаются усиленным требованием на предметы местной производительности, что бывает перед главными ярмарками, на которых продается ивановский ситец; это то, что дневными рабочими называется «ночной».

Каждый фабрикант, сообразуясь с размерами своего производства, нанимает известное, определенное число рабочих; за норму при составлении комплекта рабочих обыкновенно берется средняя годовичная выработка. Но вот наступает, например, Нижегородская ярмарка, фабричные операции нужно удвоить, иногда даже и утроить, вследствие чего является необходимость в значительном увеличении числа рабочих. Фабрикант в таком разе умеет распорядиться так ловко, что производство увеличивается вдвое, и это без всякого прибавления работников; дело обходится при помощи наличного числа рабочей силы, — назначается «нощина». Работник, проработавший день, получает приказание работать и ночь; на следующий день, утром, он освобождается от занятий и идет отдыхать до обеда; после обеда снова отправляется на фабрику и работает целые сутки. Так продолжается в течение двух, трех недель.

Переходим к сменным рабочим.

Трудовая неделя сменного работника начинается с воскресенья. После полудня, без четверти в 6 час., является на фабрику одна половина рабочих и ровно в 6 принимается за дело; около 12 час. ночи приходит другая половина и сменяет первую; эта работает до 6 час. утра и на смену ей является первая, которую также в 12 пополудни сменяет вторая. Повидимому, работник здесь выигрывает во времени против дневного, — у него больше свободы и отдыха; но на самом деле оказывается не то: при сменной работе больше траты сил, а отдыха меньше.

Окончивши работу, прядильщик или ткач первой смены идет ужинать. В час или в половине второго он ложится спать, но сон в три часа нарушается пронзительным свистком, возвещающим о начале работ дневным труженикам; рабочий, поворотившись, снова засыпает, но тут в 5½ новый свисток, и он вскакивает, крестится, хватает кусок черного хлеба и спешит на смену. Вторая смена

возвращается на отдых и завтракает. Но тут уж день, каждому нужно куда-нибудь сходить по своему делу, и время проходит без сна. Первая смена точно так же не спит днем, рассчитывая впереди на ночь. Вторая смена в 6½ начинает ужинать, и потом все расходятся спать; они спят от 7½ или 8 и до половины 12-го. Из этого мы видим, что как у той, так и у другой смены рабочих для сна остается только 3½ и много 4 часа, притом, надо заметить, сна не крепкого, а тревожного.

Подведем итог всему, что в этой главе сказано.

Дневные рабочие в стенах фабричных помещений ежедневно проводят 16 час. в сутки, что равно двум третям всей жизни каждого.

Рабочие, живущие при фабрике, спят в сутки 5 час., а те, которые живут на особых квартирах, — 4½ часа и, наконец, уходящие в деревни, пользуются уже только 4-часовым сном.

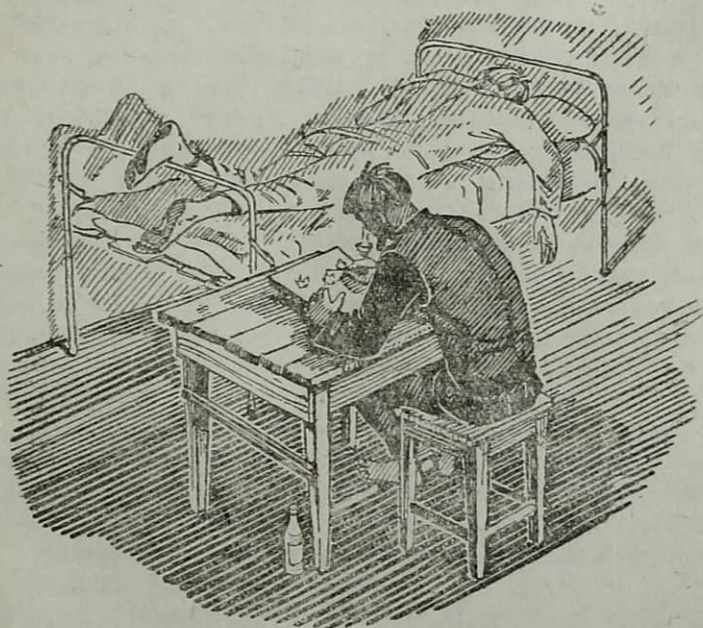
Посменные рабочие 13 час в сутки проводят в здании фабрики и остальные 11 в своих жилых помещениях. Ежедневно спят от 4 до 5 час. в сутки.

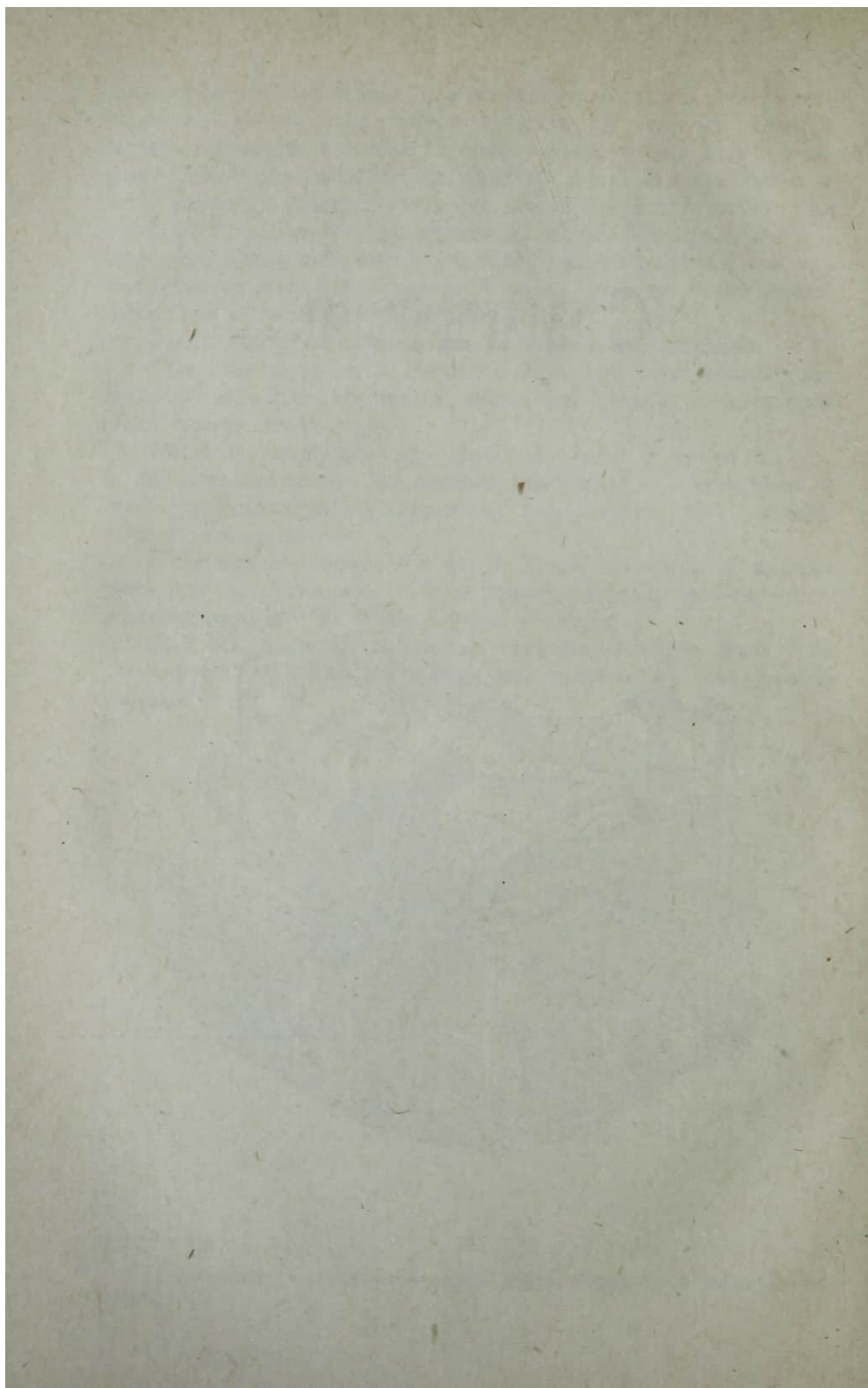
Как же рабочий проводит остальную часть дня? Где он живет и отдыхает? Это мы узнаем из следующей главы. ¹



¹ Дальнейшее печатание очерков царской цензурой было запрещено.

СВЯТКИ







ПЕРЕД нами большое село Данилово. Оно больше многих, не только что уездных, но даже и губернских городов, между тем как тип его решительно не подходит к типам села, уезда или губернии. Это что-то в высокой степени смешанное и склеенное из крайне разнородных элементов, так, например: в Данилове тяжело охают и пронзительно свистят паровики громадных фабрик, как в Москве или Петербурге, и с гигантской печалью вздыхают о чем-то фабричные трубы..

Коптят эти трубы своим дымом белые стены купеческих домов; сушат, стоящие вблизи их, деревья; пускают тяжелую, черную сажу по светлой поверхности даниловских вод, которые, обмывши в себе сотни тысяч пудов разноцветных материй, приготовленных на местных фабриках, начинают течь с самого Данилова оранжевыми, красными и зелеными струями, отравляя таким образом понемножку прибрежные населения и вымаривая рыбу.

Часто бывает и так, что чайка, наклевавшаяся этой рыбы, печально крича и бессильно трепеща на светлом солнце серебристо-сизыми крыльями, стремглав падает из-под облаков в реку или пруд — и тонет там, тщетно высвобождая красивую головку из речных захлестывающих наплывов....

Эта сторона даниловского ландшафта очень напоминает Петербург, когда он идет по нарвскому шоссе, сопровождаемый Финским заливом, с его заводами, поросшими дремучими камышами, с его закопченными и постоянно кипящими огненной суетнею фабриками, и, наконец, с его вилами, дачами и парками, некогда великолепными, а теперь развалившимися и запустевшими.

Походит Данилово также и на Москву, потому что в нем есть много высоких церквей, синие куполы которых усеяны множеством блестящих, бронзированных звезд. Стоят около тех церквей колокольни, пред высотой которых, по выражению строивших их даниловцев, «Иван Ве-

микий аршинчика на три, ато, пожалуй, и на все четыре не выстаивает»; висят на этих колокольнях гулкые колокола, по звонким голосам которых, во время больших праздников, на целые сорок верст служатся заутрени и обедни в окрестных селах; но и эти признаки, свидетельствующие о несомненном родстве Данилова с Москвою, тем не менее не дают ни одному человеку, должным образом понимающему Москву, никакой возможности согласиться с даниловцами, которые обыкновенно хвастаются тем, что «наше Данилово — Москвы уголок»...

— Наши-то хозяева — эвона каких палат понастроили! — толкуют по кабакам в праздничные дни отрепанные фабричные, работающие у этих хозяев. — Сколько богдельни этой одной понаделали!.. фабриков опять!.. Народу этого сколько от них кормится!.. Бедности, т. е. *несуветимой*, будем так говорить, — *пудам* хлеб отпускают... Да што тут толковать, известно: наше Данилово — Москвы уголок!.. — Петруша! — обращается затем в заключение речи восхваляющий свою родимую сторонущку к мальчишке, стоящему за кабачной стойкой: — угости, друг, еще нас по косушке, в «разделку» отдам!

Это дело идет в кабаке; а там, в громадных зданиях, наружные стены которых очернены дымом и сажей, — внутри этих зданий, в дорогих, но аляповато меблированных гостинных, идет своя речь.

Там, блистая из-под фрака бриллиантовыми жилетными пуговицами, шаркает подагрически-мягкими сапогами новый оратор. Он говорит своим многочисленным и плутовски-безмолвным гостям:

— В Москве, в Питере все мы, благодаря бога, уделали, за первый сорт... В Москве мне князь говорит: хи, хи, хи! Я ему тоже, понимаете, пушаю баском: хе, хе, хе! Он мне и толкует: «На устройство, мол, школ, енеральше Любомудровой двадцать пять тыщ»... Я ему отповедь такую даю: — не токма, мол, двадцать пять тыщ, а даже хоша и пядьдесят... Ну, и конечно, што мы с ним изладились в лутчем виде... Стал прощаться со мной, по плечу этак треплет и говорит: старайтесь, старайтесь для Данилова! Оно у вас «Москвы уголок!» Так-то вот!.. Алешка! Дай-ка парочку редерцу с приезда-то поздороваться с гостями.

Но все-таки, несмотря на ту настойчивость, с которою самые разнокалиберные даниловцы стараются приравнять

к Москве свое родное обиталище, — московского в Данилове очень мало.

По бесчисленным домишкам, убожество которых превосходит всякое описание, сиротливо лепящимся около грандиозных хором, нужно бы отнести Данилово к категории сел. Но и это будет не верно!

На улицах настоящих сел, с крестьянским населением, несмотря на их поражающую бедность, все-таки примечаются жизненные проявления, хотя и не особенно живые и разнообразные: там мужики дружною гурьбой во всю лошадиную прыть промчатся иногда на ближний базар; там дети веселыми стаями бегают по улицам, в товариществе больших дворовых собак, которые своим лаем и прыжками еще более подзадоривают ребячью бойкость; там старик с длинной седой бородою смиренно проплетется через улицу с большою кошолкой на спине, наполненной соломой...

Ничего этого нет на даниловских улицах! Все маломальски взрослое население с самого раннего утра уходит на фабрики и возвращается только поздним вечером. Одна заря, как говорит пословица, выгонит из избы, а другая — загонит. Собаки даже не бегают по улицам, потому что бедность прилепленных к хоромам хат такова, что там самим часто бывает на зубы нечего положить, нето что завести собаку и накормить ее...

Большая часть даниловских будней глубоко безмолвна! Заколдованным, мертвенно-немым царством глядят эти гордые, белые дома, эти несчастные лачуги, словно бы ищущие защиты у своих громадных соседей, — и временем разве обожжет, так-сказать, мертвую улицу шикарная рысь купеческого рысака, которого наезживает лютый наездник, да прокатится карета фабрикантши, отправляющейся от скуки с визитами.

Тишина и безлюдье полные! И тем ужаснее эти тишина и безлюдье, что их даже не освещает и не живит светлое небо. Черный дым фабрик заволок его своими непроглядными и, как большая река в сильный ветер, волнующимися струями, — и в этой тьме слышится только смутное и грозное грохотанье фабричных механизмов да пронзительно-громкий посвист паровиков, раздающийся в одно и то же время сразу в двадцати местах...

— Ишь, — говорят даниловцы, — ровно леший посвистывает!

И действительно: мертвенность села напоминает суровое молчание дремучего леса, а свист паровиков, ужасающий грохот машин и какой-то нето стон, нето скрежет зубовой, по временам вырывающийся из всего этого металлического говора, — посвист лешего и те ужасы, которыми он пугает людей в своем лесном царстве...

*

Но бывает время, когда и в Данилове проявляется жизнь, и рабочий люд, населяющий его, отдается шумному веселью и громко заявляет о том, что и в Данилове водятся живые люди. Это время — святки. Нет для даниловских рабочих лучше этого времени! Не говоря про молодежь, которая, по выражению стариков, на это праздничное время «словно с цепей срывается», а и сами старики — нет да и водочки выпьют и в карты прикинут вместе с молодыми.

Молодые, конечно, стараются при помощи тридцати шести карт определить то время, когда именно к ним придет счастье, насуленное им с детства отцом с матерью или бабкой с дедом; старики же большею частью пытаются судьбу насчет того собственно: выйдет ли им гроб в нынешнем году или нет.

Святки в Данилове начинаются со второго дня. Самое рождество проводится жителями в необычайной тишине и благочестии. Собственно говоря, благочестие соблюдается только до обеда, а после, смотришь, половина села и перепьется. Однако в Данилове этот день все тихо и смиренно; и хоть положим, что по избам между мужьями и женами без сражений дело не обходится, но тем не менее дальше ворот эти сражения не заходят: помнят люди, исстари, что велик на дворе праздник христов стоит, и какое бы тут побоище ни случилось, всячески стараются его домашним образом кончить и до улицы не доводить. А также воюющие стороны опасаются, чтобы не обеспокоить бранными криками местных богачей, которые, как разговоятся, на целый день предаются отдыху и благочестивым размышлениям.

Вот потому-то все и тихо в селе на первый день рождества, потому и песни нигде вечером не услышишь, и пьяного на улице не увидишь.

Таким образом праздник начинается только на другой

день, — и в этот день тихого, безлюдного Данилова узнать нельзя. Только-что отойдет обедня и рабочий люд успеет отобедать, как уж все и спешат оставить избы и торопятся скорее за ворота, на улицу.

Везде народ, везде жизнь! Серые армяки, полушубки и зипуны перемешались с суконными чуйками, лисьими шубами и разноцветными женскими нарядами, — все запестрело и зарябило, отовсюду раздается говор, смех и громкие песни.

— Карпыч! Будет тебе читать — пойдем гулять, — говорил резчик Гаврило Иванов своему приятелю, рисовальщику, сидевшему за книгой. — Нонче святки, народ празднует, а мы из избы не выходим. Благо, у меня жены дома нет. Пошли бы, выпили ради праздничка христово... Што мы с тобой, в сам-деле, некрещенные разе...

— Ступай один, я тебя не держу, — отвечал рисовальщик, бородастый мужчина лет под сорок, с серьезной физиономией и подбитой скулою. — Разве ты не видишь, что я науками занимаюсь?

— Друзе, Петр Карпыч, — ласково уговаривал резчик, — брось ты эту науку! Што она тебе далась? Опричь вреда, пользы себе никакой от нее не получишь... Слыхал, чай, народу умного сколько пропадает от книжек. Читают, читают, да и зачитаются...

— Ну?

— Ну и спят с ума, да и помрут! Помирают, больше, скоропостижно... По началу в голове у них кругом заходит, потом живот выпрет — и шабаш! Вот-те и вся недолга!

— Молчи! Ты ничего не понимаешь.

— А вот увидишь, как я не понимаю! Помянешь, брат, тогда резчика Гарьку, да не пособишь. Жалко мне, Карпыч, души твоей! Погубил ты ее с этими книжками... — И резчик, как бы в подтверждение истины высказанных им слов и в знак сожаления о погибшей душе ученого друга, вздохнул и подошел к деревянному шкапчику, стоявшему у печки, из которого достал полуштоф, потряс его перед светом и затем печально поставил посудину на прежнее место.

— Ни капли! — проговорил он с глубокой тоскою. — Экая жизнь моя, господи, — жаловался резчик на свою судьбу: — такой великий праздник господень, — все люди в радости, а ты, ровно окаянный, сидишь целый день без

водки и без гроша в кармане! А всему причиною жена, — обобрала всю «разделку» и хоть бы полтинник какой мужу оставила на гулянье. Да когда ж ее черти к себе в когти заберут?..

Последовало короткое молчание и затем возглас:

— Карпыч!

— Ну?

— Пойдем — выпьем!

— Подожди!

— Не могу! Ежели ты друг мне, кинь свою книжку и пойдем. Скоро, поди, ряженые выдут, представленья разные будут показывать. Наука твоя при тебе останется, после успеешь — начитаешься, а святки-то пройдут и не увидишь.

Рисовальщик поднял голову, устремил на приятеля глубокомысленный взор и, закрыв книгу, торжественно произнес:

— Собирайся!

— Ой-ли? Вот друг-то, так друг! — возликовал резчик. — Ну, как тебя за эвто не похвалить? Ученый, брат, ты человек, страсть какой ученый! Я готов...

— А что, Гаря, — спросил ученый человек с подбитой скулою у своего друга: — дома бы хорошо зарядиться сначала? Давича водка-то оставалась. Хватим-ка по стаканчику!

— Фю-ю-ю! Хватился!.. Еще утром мы с тобой всю ее покончили. Неш ты забыл?

— Как утром? Перед обедом с полштофа было...

— Откуда ты это взял? — тихо засмеялся резчик: — тебе уж, должно быть от наук-то от твоих, представляться стало... Ни капли нет! Давича все порешили... Пойдем! Вот твой картуз...

— Послушай, Гаврило, — сказал рисовальщик, надевая ужасного вида пальто с не менее ужасным собачьим воротником: — можешь ты мне на один простой вопрос ответить?

— После, Карпыч, после, — торопливо отозвался Гаврило, устремляясь к двери, — пойдем скорее! Не выпивши, ты сам знаешь, я не могу с тобой по науке говорить...

— Да ты никогда со мной говорить не можешь: ты ничего, Гаврило, не знаешь, — ты, как есть, необразованный мужик.

— Будет тебе, будет! Пойдем поскорее...

Рисовальщик Петр Карпыч Груздев был вдовец. Несколькими годами назад он лишился своей жены и после того ни разу не заявлял желания вторично обзавестись другой женщиной. На это у него есть свои причины: во-первых, он не мог забыть, что жена его померла каких-нибудь семнадцати лет, и что сошла она так рано в сырую могилу единственно от мужниной безалаберности и запоев, которым беспрестанно подвергался в молодости Петр Карпыч; а во-вторых, как человек «ученый» и добросовестный, он дошел продолжительным опытом до того непогрешимого убеждения, что время и ученость несколько не изменили его натуры, что он всегда может подвергаться запоям и до самой смерти останется верен годам своей юности. Груздев почти одинок: родни у него всего две племянницы по жене, которые, оставшись круглыми и малолетними сиротами, были взяты старушкой-родственницей и воспитывались у нее вместо родных дочерей. Дядя любит их и не забывает: раз или два в году он заходит в один старенький домик, в котором живет с двумя молоденькими и хорошенькими девушками старушка Фекла Денисовна, и всякий раз оделяет этих хорошеньких девушек калеными орехами и пряниками. Петр Карпыч постоянно при деле и в хлопотах, работает, читает «хорошие» книжки и переезжает чуть не каждый день с квартиры на квартиру. Но чаще всего он любит отдаваться великим думам и глубокомысленным соображениям; то он думает, куда ему пойти выпить, в кабак или трактир, и решает всегда согласно с количеством наличной суммы; то заглядывает в таинственное будущее, именно, кто пустит его ночевать, так как нередко случается — у него совсем не бывает квартиры; то вдруг поднимается мыслью до общечеловеческой идеи о цели бытия; то быстро опять опускается долу и с тоскливым чувством спрашивает у самого себя: опохмелит ли его резчик Гарька, лучший его друг и пьяница, каких еще не видывал белый свет, стаканом водки или нет? Ко всему этому нужно еще прибавить, что на Петра Карпыча, по временам, так он сам выражался, что-то «накатывало»: им вдруг с чего-то овладевает страшное уныние, он вспоминает о своей рано умершей жене, о «хороших книжках», прочтенных им, о своем мастерстве, — какой, например, был бы он хороший мастер, если бы не пил, — и тогда начинает пить так отчаянно, что наводит ужас даже на самого

Гарьку. Но при всех особенностях своего характера, разных недугах и «накатываниях» Груздев был хороший «рисовало».

Он превосходно знал цену своего художнического таланта и с гордостью говорил о себе: «я первый рисовальщик во всей нашей империи». Фабриканты много раз зывали Груздева на места, давали ему триста рублей годового жалования, но тот всякий раз отказывался и предпочитал жить себе на полной свободе «вольным рисовалом», как его обыкновенно все называли. Принадлежа к мещанскому сословию, Петр Карпыч не упускал случая, где нужно, называть себя «гражданином», а в качестве человека ученого любил обширными своими познаниями делиться с ближними, вследствие чего физиономия ученого человека подвергалась всяким неприятностям и грубым оскорблениям со стороны непросвещенных слушателей. Вот почему при самом начале нашего знакомства с первым рисовальщиком русской империи мы видим его с подбитой скулою: он получил этот огроменный синяк за два дня перед рождеством, когда беседовал с приятелями и красноречиво им доказывал, что земля висит на воздухе и что луна, которая ночью освещает всю землю, есть темный шар, а что дошел он до этого по своим высоким наукам. Таков был рисовальщик Петр Карпыч Груздев. Что касается до его закадычного друга Гарьки, то о нем ничего нельзя сказать, как только одно, что он был великий пьяница и, как огня, боялся своей худощавой жены.

Часы на крестовоздвиженской колокольне показывали ровно четыре, когда наши приятели достигли торговой площади. По дороге они успели завернуть в кабачок и выпить немного, благодаря чему наш свободный гражданин Груздев находился в самом приятном расположении духа и доказывал своему другу, что умнее его, Петра Карпыча, ни одного человека нет во всем Данилове.

— Что говорить, у тебя ума палата, — соглашался резчик, убоготворенный на этот раз двумя стаканами водки. — Супротив тебя, по науке, у нас никого не сыщешь.

— А я тебе скажу, что в Данилове живет еще один умный человек, — сказал рисовальщик.

— Неужто и тебя умнее?

— Да, пожалуй, и умнее. Только он не так учен, как я, мало науками занимался, а умен, даже очень умен. Знаешь ты Александра Никитича?

— Какого? Уж это не Сашутку ли слесаря, парнишку Никиты Безбрюхова?

— Да, он самый. Умница человек, Гаря, нужды нет, что молод! Я познакомился с ним у моих племянниц, — знаешь, что у бабушки Феклы живут? Настя была именинница, собрался девичник. Холостежь эта занялась с девушками в игры, фанты, а мы с Александром Никитичем пошли толковать по науке. Я говорю: скажите, молодой человек, отчего так заведено на свете, что дураки ездят в карете, а умные люди пешком ходят? А он мне: — «оттого, говорит, что у умных людей лошадей и карет нет». Каков ответ! Другой бы посомневался, а этот с бацу решил... Я ему еще вторительный экзамент сделал: тут же мы секретным манером, промеж себя, толковали больше насчет наших фабричных обстоятельств... Ну, вот так умок господь послал человеку! Вот так умок!.. Как по писанному, так мне всю матушку-правду и выложил... Где вы учились? — спрашиваю. «В приходской школе». Я просто диву дался: учился в приходском училище, а какое понятие имеет!.. Подружились мы с ним здо-орово — и сейчас же с именин с этих от племянниц в трактир закатились, да всю ночь там и протолковали. Вот этот человек знает науку, даром что молодой! Этот знает!.. Всю он ее, науку-то, на своей шкуре вынес... Да уж и чешет же! Страсть как чешет!.. Как мы потом с ним расстались, — не помню: уж очень мы напились тогда!..

— Вишь какие! — недовольно проговорил Гарька. — Што бы и меня-то с собой прихватить. Все мы одни нарочим налопаться...

— Да это нечаянно случилось, ты не сердись! А впрочем, по душе тебе скажу: и вспомнить мне про тебя ни разу не удалось, как он мне про свою подлую жизнь расписывал, — заслушался я его, друг, словно бы песни хоршей...

— Што же? — сердился Гарька. — И я бы послушал — и выпил бы кстати вместе с вами. Ты думаешь, моя-то жисть слаще, што ли? Пойдем, хоть теперь поднеси на отместку, што в трактире без Гарьки гулял...

В селе звонили к вечерне. Вызванный этим звоном дьячок во всю прыть бежал через базарную площадь, гремя большими церковными ключами; его рвение к отправлению возложенных на него обязанностей было столь велико, что он даже позабыл спрятать косички, которые выби-

лись наружу и развевались по ветру. Вслед за ним, не торопясь и с большим достоинством, шел отец дьякон, важно покачивая высокой шляпою и размахивая широкими рукавами.

Немного спустя вышел из своего большого каменного дома и сам батюшка в праздничной, на лисьем меху и крытой сукном, рясе и с длинным жезлом в правой руке; он медленно и величественно прошел широкой площадью, кипевшей и волновавшейся народными массами, легким наклоном головы отвечал на низкие поклоны прихожан. Когда духовный чин весь прошел и скрылся в церкви, народ всколыхнулся и мало-по-малу начал отливать с площади к трактирам и кабакам. Местная полиция, в лице сотских и десятских, неусыпно блюла за порядком и усердно старалась предотвратить всякое нарушение благочиния со стороны разнообразной публики, значительно подгулявшей.

— Легче! Тише! Скверных слов не говорить! — командуют сотские и десятские. — Вести себя честно, благородно!.. Не от нас ведь все это... Начальством приказано... А ты что же это мотаешься-то, пьяная дура? Ты ходи прямо, — ноне время праздничное! — Так поучают власти, рассыпая попадавшимися под руку пьянчугам, вместе с нравоучениями, здоровые подзатыльники.

— Эй, ребята, стой! — кричит полушубок, останавливаясь в нескольких шагах перед лавкой, где на дверях вывешены были маски.

— Ну, чего там стоять? За постой деньги берут, дурова голова!

— Глянька-те, братцы, какая важная харя висит! Как есть чорт!

— Врешь?!

— С места не сойти! Гляди: вон рога и борода, как у козла!.. Э! да и мишка-медведь тут! Подойдемте-ка, ребята, поближе! Еще чего не увидим ли подиковеннее?

— А в кабак-то?

— После! Не опоздаем еще! Их по нонешнему времени до полночи заперать не станут.

— Дело! Вали!

Вся толпа двинулась к лавке.

— Петр Карпыч, замолчи! Способнее нам с тобой сейчас же в трактир, нежели слоняться по базару и чрез твои ученые слова от всех одне насмешки слышать. Мне даже

не в перенос, как тебя обижают, — не могу я этого! — слышится в толпе знакомый голос резчика Гарьки.

— Раздайся, народ! Жизнь не мила, почету мало! — кричит сильно выпивший мастеровой, заломив на бок картуз и храбро шагая вперед, не сторонясь ни от какой встречи.

— Не буянить! Вести себя честно, бла-а-родно...

— Прочь!

— Как! Начальству-то это? Бери его под арест!

Из-за угла торговых рядов выглядывают дьячок и пономарь.

— Как для праздника народ разгулялся!

— Да, не нам чета!

— Позавидуешь светскому человеку...

Толпа рабочих продолжает глядеть на маски.

— Неужели, ребята, кто наденет на себя этакую харю? — спрашивает молоденький паренек.

— Ничего! Надеть всякую можно, только в крещение нужно три раза в Ердани окунуться. А ежели ты не выкупаешься, круглый год будешь в образе дьявола ходить.

— Это мне известно. Да я не про то. Я говорю, как ты ее этакую-то страшную наденешь? Весь народ перепугаешь!

— Перепугаешь! Ну, выходит, ты еще молодец, — не видал настоящие-то хари, — заговорил рабочий в полубубке: — эвто что за харя, нешто вот рога велики, ато она ни чуточки не страшна. Вы вот послушайте, што я вам расскажу, как наш хозяин в прошлом году чортом нарядился... с крыльями и копыта такие себе под ноги подделал... Вот это штука была ахтительная! С неделю после у всех фабричных животы болели...

— Есть когда тебя слушать! — перебил недовольный голос из толпы: — этак мы до завтрава в кабак-то не попадем. Смерть винца хочется стебануть, а он тут с разговорами.

Мимо группы рабочих идут мастеравые и поют:

Петербург город привольной,

Все трактиры, кабаки...

Навстречу им грудью несутся горничные, разряженные и раздушенные.

— Эх, вы, крали писанные! — в один голос закричали певцы и загородили девицам дорогу.

— Крали да не ваши, — говорит одна из них, самая ловкая и румяная. — Ну, посторонитесь же, дайте пройти!

— А разве мы вам не под кадрель? — подпершись фертом, спрашивает одна удалая голова. — Вы посмотрите на нас хорошенько! Чем не красавцы? А что насчет того и прочего, то мы еще почище господ время в удовольствии можем провезть...

Бойкая горничная насмешливо посмотрела на красавцев и сказала:

— Судя по вашему одеянию, я так полагаю, что вы, господа, очень благородного звания люди; ежели только не сапожники, то уж бесприменно вы портняжки. Советовала бы я вам допрежде умыться хорошенько и в порядок свой вид привести, а там уж и в образованную компанью к дамам проситься. Чучелы гороховые!

Горничные громко смеются, толпа крутом грохочет.

— Погляди, погляди, Васильич, как все час от часу народ расходится! — не перестает делать замечания из-за угла дьячок. — И хотя бы люди были, ато невежи и безвсякого образования, а как гуляют!..

— Да, хорошо бы и нам выпить! — заявил желание пономарь.

— Ах, если бы выискался такой благодетель!..

Нам трактиры надоели,
Много денег промотали,
Много денег промотали,
Остается рублей сто...

продолжают допевать мастеровые, поворачивая от горничных к питейному дому.

— О чем, братие, совет держите? — говорит надтреснутым басом соборный регент из выключенных семинаристов, приближаясь к выжидающим благоприятного случая дьячку и пономарю.

— Откуда, Андреич? — вместо ответа спросил дьячок регента. — Неужели от вечерни?

— А что бы я там стал делать? — отозвался тем же надтреснутым басом Андреич. — Весь хор без задних ног лежит — от мала до велика. Я сам уже на что, кажется, не обижен здоровьем, а ито на силу голову поднял... Пойду, мол, не опохмелит-ли кто добрый человек.

— Вот и мы тоже, — уныло проговорил дьячок. — Да

что-то плохо... Больше часу стоим на морозе, пережыбли — страсть, а благодетеля нет, как нет...

— Ну, это дело не хвали! — согласился регент. — Пойдемте, ежели так, в ряды, чем здесь торчать на морозе. Там теперь около запертых лавок пропасть купцов стоит. Шарахну им многолетие, — небось, угостят!..

Чем ближе к ночи, тем шире и дальше разливаются волны святочного веселья; раздаются трубы, бубен и крики: «ряженные, ряженные!»

И все, большие и малые, без различия пола, кидаются в ту сторону, откуда несется этот крик, и со всех сторон окружают ряженных, которые с музыкой идут по улице и выделывают различные штуки ради потехи разгулявшихся зрителей.

— Горя! Теперь мы в трактир! — говорил Груздев.

— Важно, Карпыч! Это будет в самый раз. Вишь, сколько ряженных повалило! Чай, представленья какие будут представлять?

— А скажи: отчего днем светло, а ночью темно и мы ничего не видим?

— Перестань, не для меня, а ради христова праздника! Ведь ты уж меня замучил, спрашивавши по науке. Тоска с тобой...

*

Стемнело. По селу везде засветились огни. Людской говор, звуки труб, бубна и гармоники сливаются вместе и все это ревет и стоном стоит над фабричным селом. В ужас приходят от святочного гула богобоязливые люди и сокрушенно вздыхают.

Сокрушается и Анисья Васильевна Нагорова, богатая купчиха, беседуя с приятельницей за самоваром, — сокрушается и говорит:

— Так ли в старину-то святые вечера люди проводили? Святые отцы сходились на беседу, говорили о том, как лучше богу угодить, да в царство божие войти. А мы, окаянные, что творим? Совсем забыли бога, погибает род человеческий!

— О-ох! — отвечает громким вздохом собеседница Нагоровой. — Справедливое твое слово, Анисья Васильевна: — совсем, совсем ноне люди совратились!

Эта беседа происходит в большой, довольно чистой комнате, оклеенной темными обоями; угол и половина сте-

ны установлены иконами в серебряных и золотых ризах, украшенных жемчугом и камнями. Дверь, ведущая в соседнюю, маленькую и служащую спальней хозяйки, комнату, полуотворена и оттуда исходит блеск от горящих, как огнем, золотых венцов угодников божиих.

Мебель в комнате состоит из нескольких стульев, дивана и стола, которые, однако, ничего не говорят в пользу удобства.

— А от чего? — говорит Анисья Васильевна. — Все от того, что молодой народ стариков не почитает, забыли всякое уважение... Ну, бог и попустил диаволу властвовать над их сердцами... Это, ведь, в наказание все, от бога!

— В наказание!

— Хоча бы теперь, к примеру, взять мово Павла: отчего он в разврат вдался? Ты думаешь: молод, так оттого? Нет! Все от того, что мать не стал почитать, за неповиновение родительское от него владыка царь небесный и отступился.

— Точно, точно, мать! — соглашалась собеседница. — А, поди, как ни дурен сын, все же он матери близок, утроба материнская по нем болит?.. Ну-ка, блюдечко-то с изюмом придвинь ко мне!

— Нельзя не болеть, Трофимовна: я его на свет произвела, одна, почитай, выпоила, выкормила его, вырастила — и какая же за все от него благодарность матери? Намедни хотела его запереть, чтобы по ночам не шатался, а он как хватит в дверь — аршина на три я отлетела! Только его и видели.

— А-а-ах! Поди, чай, больно зашиблась?

— Что уж про то говорить? Нет, ты скажи: где почтение к родителям, когда сын бежит от матери, ровно от врага лютого? Последние, знать, времена наступили, Трофимовна! Не даром сказано в писании, что перед вторым-то пришествием поднимутся брат на брата, сын на отца... Так оно и выходит.

— Так, так, Анисья Васильевна! По всему видно, что к тому дело идет... Ты покрепче мне наливай, ато уж ровно жиденек чаек-то...

За дверью, которая шла в коридор, послышался голос:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!..

Обе собеседницы поднялись с места.

— Аминь! — отвечала хозяйка.

Тихо отворилась дверь и тихо вошла в комнату женщина, еще нестарая и с бледным лицом, вся в черном; вошла и начала молиться на иконы.

— Мир честной вашей беседе! — сказала она и поклонилась обоим собеседникам.

— Бог спасет, Аграфена Михайловна!

Хозяйка подошла к новой гостье:

— Благословишь ли, мать?

— Нет, не дано еще мне такой власти, — отвечала мать-Аграфена, переступая к столу: — двух степеней не дошла я до ангельского чина... Да к тому, ведь, ты и не причастница нашей веры, хоша сама и украшена добродетелями неземными.

Трофимовна, видя желание матери-Аграфены сесть, подставила ей стул и низко поклонилась.

— Бог спасет, Трофимовна! Насилу-то я до тебя добралась, — начала мать-Аграфена, усаживаясь на стул и поворачиваясь своим бледным лицом к хозяйке. — Иду это я по улицам и никак себе в разум не могу взять: улицу ли я перед собой вижу или это сам ад перед моими очами разверзся? Навстречу бегут мурины, козлища и всякая нечисть; бегут, пляшут, бьют в бубны и на трубах играют — ну вот как есть ад крошечный!.. Ужас меня обуял, иду и молитву про себя творю. Бог донес!.. Ох, велики ноне в мире грехи воцарились! — заключила рассказчица и тяжело вздохнула.

В лад ей завздыхали и собеседницы.

— О том и мы здесь до твоего прихода сетовали, — заговорила Нагорова: — позабыли люди бога, служат только сатане да своему чреву несытому. Чем прикажешь просить тебя: чаю ты, знаю, не станешь пить, не велишь ли разве малинки обварить?

— Нечистой травы я не потребляю — проклята она, а малины с вареньем я у тебя чашечку выпью: этого правила нам не воспрепятствуют...

— Сподобит же господь человеку такую крепость иметь! — удивилась Трофимовна. — А мы-то што, грешные! Только и живем ради мамона... Ах, слабы мы, куда как слабы!.. Налей-ка, Анисья Васильевна, чашечку! Штой-то это я: пью, пью и все мне больше пить хочется! Тпфу! Не сглазить бы себя! — сплонула Трофимовна и перекрестилась.

Мать-Аграфена сидела сложа руки на животе и ни на кого не глядела, точно вся она была погружена в благочестивые свои думы.

Между тем в переулке, на который выходили два окна благочестивого жилища Анисьи Васильевны Нагоровой, стояла огромная толпа ряженных в самых разнообразных масках и костюмах.

— Надо разделиться, — говорил один ряженный: — я останусь здесь с шестерыми, а ты, эсаул, забирай всю шайку и заходи с задней улицы в сад.

— Слушаю, атаман, — отвечал другой ряженный, — окошки прикажешь выбивать, али не нужно?

— Вот выдумал, дурак!

— Ато, если велишь, за-а-рраз все до одного вышибем!

— Не нужно! Да вы тише, как можно, действуйте, чтобы кто не услышал и не сказал им!

— Маху не дадим, будь спокоен, атаман!

— Как подам сигнал, — начинай!

— Останешься доволен, атаман! — Эй, ребята, за мной!

Человек пятнадцать отделились и пошли за «эсаулом». С половины дороги он воротился.

— Атаман! Как ты прикажешь: коли бабы застанут нас в саду, сражение им, чай, нужно будет дать?

— Не нужно!

— Ато вели. Как мы б их вздрючили — просто аллилуйя с маслом! Позволь молодцам потешиться!

Но «атаман» и этого не позволил.

— Что, Анисья Васильевна, — говорила тем временем мать-Аграфена, — приходит сколько-нибудь в чувство твой Павел Андреич?

— Совсем от рук отбился, не знаю, что уж и делать с ним, — отвечала хозяйка. — Зашел вчерась и не поздравил мать с праздником, повертелся с минутку и ушел, да так с той поры и глаз домой не показывал.

Сказав это, Нагорова подала гостю чашку с малиной, а та, приняв, повела речь дальше.

— Плохо. Верно он теперь где-нибудь в сонме нечестивых богопротивным забавам и нечестию всякому предается... Плохо.

— Решилась я, по твоему совету, отдать его на власть божию: пускай, что хочет, то и делает. Ведь уж теперь

все равно, ославился на все село! Да после того, как он дверью показал матери стену, так и видеть-то мне стало противно его: глаза бы мои не глядели на него! Я уж перестала и ходить к нему: исчезни его голова!

Мать-Аграфена молчала. Она, видимо, что-то соображала.

— В священных книгах написано, — начала она погодя, — что до двадцати лет грехи детей падают на главу родителей, а после двадцати лет они сами отвечают за всякий свой грех. — Он теперь в таком возрасте, что тебе за его беззакония не придется богу отвечать. Но благо тебе, жено, будет, ежели ты спасешь от гибели душу человека!

— Знаю, знаю, что велика награда ждет меня от господи! — взволнованным голосом заговорила Анисья Васильевна. — Но как, научи ты меня, ты великим талантом от бога наделена и в книгах божественных сильна! Научи, что я должна делать, чтобы на путь истинный сына направить.

Глаза госты засветились и она многозначительно проговорила:

— Перейди в нашу веру, и бог умудрит тебя! Сколько времени я тебе говорю.

— Да уж я решила после святок к вам перейти. Сама, мать, вижу, что в заблуждении я нахожусь, — неправая наша вера...

— Аминь! — произнесла гостыя и встала, чтобы запечатлеть поцелуй на уста обращающейся в правую веру. — Отныне и до скончания века ты сестра моя! — прибавила она.

— Я вот Трофимовну уговариваю к вам перейти. Говорит: муж заругает, ато бы перешла.

— Кто хочет уготовать себе царствие небесное, тот должен забыть про земное и отрешиться от тленного, — сказала Аграфена Михайловна.

— Ах, матушка, Аграфена Михайловна! — говорила Трофимовна: — крепости во мне душевной мало, рада бы я всей душой, да слаба уж больно я, грешная!.. А ведь он у меня какой? «Ты, скажет, новой веры захотела!» да и начнет сдуру чем ни попало увечить...

— Нужно претерпеть. Святые отцы и не то переносили, да не ослабевали плотию и духом: раскаленным железом телеса их жгли, к диким зверям на растерзание ки-

дали и главы их усекновению предавали — все претерпели и мученические венцы удостоились от бога получить!

— Господи! Экие речи она говорит, — умилялась Трофимовна: — слаще они, кажется, всякого меду и сахару... Анисья Васильевна, я еще чашечку выпью... Я вот подумаю, подумаю, да и в самом деле к вам поступаю. Не трожь муж в миру остается, — черный с ним!..

— Истинно, — заговорила мать-Аграфена, — Злое в зле и погибнет. Ты не ленись только ходить сюда, слушай наши беседы и пред тобой откроется свет правды... Никакого мужа не надобно тебе будет. От роду и племени отречешься... Что же, сестра, — обратилась к хозяйке наставница, — не пора ли нам беседу начать?

— Как тебе будет угодно, — покорно отвечала Нагорова.

— Запри дверь. По примеру святых отцов, надо «начал» положить.

Нагорова позвала кухарку и велела убрать самовар.

— Приступим, — сказала мать-Аграфена, когда самовар унесли и двери заперли.

Зажгли лампадки, свечи и приступили к «началу».

— «Боже милостивый, буде мне грешному!» — начала мать-Аграфена...

Но не дошла она до «без числа согреси», как в окнах с переулка показались ужасные рожи с красными высухнутыми языками и стали кривляться.

Первая увидела это Трофимовна, которая, удовлетворив аппетит, не совсем-то усердно слушала «начал» и озиралась по сторонам.

— Матушки, какие страсти! — вскричала она. — Неужто это ряженые?

Мать-Аграфена и Нагорова обернулись и взглянули на окна.

— Господи Иисусе! — закрестилась Нагорова: — что нам за привидение!

— Не убойтесь, — сказала мать-Аграфена. — Написано: «и будут вас прельщать многая». Вот оно и началось! И сами угодники божии, когда собирались на беседу, не раз и не два видели перед собою дев обнаженных, кои мнили собою прельстить святых старцев...

— Матушки, да что это они кажут?.. — воскликнула Трофимовна, из любопытства снова посмотрев на окна, в которые, кроме разных морд с ужасающими усами, виднелось что-то такое, чему одно название — срам.

— Владычица, экую срамоту увидели! Трофимовна, занавесь скорее окошки!

— Умру, а не пойду! Во их сколько, да что у них в руках!!

— Не пугайтесь! Не страшитесь! — говорила мать-Аграфена, мечась из угла в угол в страшном переполохе. — Все это одно прельщение!.. Не смущайтесь: они, по молитве, исчезнут скоро... «Да воскреснет бог и разыдутся врази его»... зашептала она.

Но они не исчезали, а напротив, все больше и больше уставлялось в окна противных и невиданных рож.

Свист, гам невообразимый, пляс под звон инструментов раздалась в саду, так что снежная пыль столбом поднялась...

— Заполонили! Заполонили! Батюшки, защитите! Родимые, помогите! Муринов эфиопских наяву видим! — закричали благочестивые женщины и кинулись бежать, не помня себя от страха; а мурины, сообразивши, что крики баб могут собрать на выручку к ним народ, тотчас все отлетели от окон и мгновенно пропали.

— Чудесно! — слышалось в переулке: — теперь будут помнить. Скорее, черти! — и один за другим прыгали с забора на улицу эфиопские мурины.

— Это они беседовать собрались, — сказал тот, которого называли атаманом. — Ах, братцы, что у меня только за ведьма — мать!

— Да таки ничего, ведьма здоровая, — проговорил эсаул.

— Жаль, атаман, что ты не велел на них дьяволов напустить с огнем; вот бы задали им звону! Куда прикажешь теперича шайке путь держать?

— В трактир! Слушай, эсаул: в трактире мы сделаем одно представление, выпьем и разойдемся: у меня дело есть.

— Чай, все насчет какой-нибудь мамочки, Павел Андреевич? — лукаво подмигнул эсаул.

— Да, брат, есть у меня такая зазноба, да как ни хлопчу, не дается в руки. Не знаю, будет ли толк сегодня.

— Есть о чем думать: поставил два ведра на всю артель — и через час мы тебе куда угодно ее предоставим!

— Нельзя! Я один буду действовать, потому — не таковская. Ну-ка, эсаул, вели песенку!

Раздалась по улице могучая песня, которой выучил

своих товарищей Павел Андреич, сын Анисьи Васильевны Нагоровой:

Как во городе было, да во Астрахани:

Тут-то прочутился, проявился незнакомый человек,
Незнакомый, незнакомый Стенька Разин удалец!

*

Ночное небо блестело тысячами ярких звезд. В стороне, над высокими зданиями фабрик, расстилалась белая полоса света: это — месяц, усиливающийся подняться над гигантскими зданиями, созданными рукою капиталистов, и выйти на небесную ширь. Толпа ряженных под предводительством Нагорова с песней приближалась к трактиру.

Многочисленные окна большого двухэтажного дома, стоящего на горе и известного в Данилове под именем «Коммерческого трактира», горели светлыми, заманчивыми огнями; внутри, сквозь оконные рамы, виднелись мелькавшие фигуры и колыхались тени, слышались взрывы мужского хохота, густое рычанье контрабаса и грохот барабана.

— Ого, как ревет! — говорил народ, валивший из разных мест к трактиру, харчевням и кабакам, находившимся по соседству с первым. — Должно — ряженных много.

С горы и на гору беспрестанно спускаются и поднимаются люди; наружная дверь трактира от частых выходов и входов стоит отворенною, и из нее вместе с облаками пропитанного кухонным запахом воздуха вырывается на волю громкий и веселый говор.

Несмотря на раннюю пору, — шел седьмой час, — нижний и верхний этажи были битком набиты посетителями, гостями и ряженными. Армячная и полушубная публика копошилась внизу, точно пчелы в улье, а более чистая занимала второй этаж. Ряженные показывались всюду, хотя трактирная прислуга делала и между ними разграничения, допуская в «дворянское» зало только тех, которые отличались лучшим костюмом, а плохих гнала вон; но это нисколько не мешало ряженным снова появляться там, откуда их за минуту перед тем только-что выгнали.

В большом зале, называющимся дворянским, сидело множество гостей; в одном углу, за особым столом, помещались пять человек музыкантов; по залу от одного стола к другому ходили ряженные, а в дверях и у стены толпились мужчины в тулупах, женщины с закрытыми лица-

ми и ребятишки. Сновалише взад и вперед, половые сердито и без всякой церемонии толкали во что попало стоявшую публику, «вежливо» предлагая ей при этом выйти и не стеснять даром проход; но публика, казалось, была лишена всякой чувствительности, и, помня заветную поговорку: за всяким толчком не угоняешься, ни малейшего внимания не обращала на толчки и пинки — и разве уж тот, кто получал очень сильный удар, тот, проворчавши себе под нос неслышную никому брань, действительно немного пятился и потом снова, не жалея боков и локтей, всеми неправдами занимал свое место.

Петр Карпыч Груздев с другом своим Гарькою и еще ткачом, человеком необыкновенно мрачной наружности, сидят тоже за одним столом и пьют водку. К ним подбегают два овчинных тулупа: один с гитарою из доски, а другой с отрепанной метлою.

— Господа! Не будет ли от вас милости, не попогочете ли чем бедных музыкантов? — говорит гитара.

— Каких музыкантов? — спросил резчик, сидя в своем зиме и лето несменяемом легком пальто и с запущенными в карман руками, поднимая голову на ряженных. — Вы на каком струменте играете?

— На каком угодно, мы на всяком мастера...

— Вот уж ты и врешь! Я по своему мастерству, примерно, резчик. Да разве я могу, все вырезывать? Листочки на манере я режу — и супротив меня, так я тебе буду говорить, навряд ли кто листочик сделает; а ягоду я не могу, на это другие мастера... Верно я говорю, Петр Карпыч?

— Так, Гаврило, так! — сказал Груздев: — ты кроме листочков ничего хорошего не умеешь делать... Ну, что же, музыканты, покажите нам свое искусство!

— Нельзя, Карпыч! Надо прежде спросить, на чем они больше способны...

— На всем мы играли, когда при наших господах, помещиках, состояли, — говорил бойко гитарист. — А теперича, получивши эту свободу, мы способнее больше вот на этом, хрустальном струменте играть, — шутил ряженный, слегка постукивая гитарою об графин, стоявший перед приятелями.

— Умственно! Молодец! — воскликнул Петр Карпыч. — Гаря, поднеси им по рюмке!

— Как же, поднесу я им! — сказал Гаря и, выхватив

из карманов обе руки, обхватил ими графин, крепко прижав его к себе точно детище родное, которое у него хотели отнять.

— Гаврило! Как ты смеешь...

— Не могу!..

— Вы спать в дворянскую! — ухватив одного за воротник, крикнул половой на музыкантов в овчинных тулупах. — Ах, вы, сволочь! Вон!

— Приятель, не тронь! — начал просить с метасю. — Что мы тебе сделали?.. Тоже, брат, и тебе, небойсь, повеселиться-то хочется...

— Эй, человек!

Половой бросил воротник музыканта, на скорую руку пнул его ногою и кинулся на зов.

— Что прикажете, сударь? — спрашивал половой, останавливаясь и почтительно сгибаясь перед широколицым господином с изрядным количеством щетины на бороде.

— Послушай, Румянцев, что у вас нынче за порядки пошли? — заговорил широколицый господин: — стучу, зову — никто нейдет, зову вторично, кричу даже, — и хоть бы одна шельма явилась! Давно у вас такое заведение?

Господин говорил не торопясь, выразительно и с большим весом ударяя каждое слово, так что трактирный слуга раз пять сгибался и выпрямлялся, а компаньоны господина с любопытством посматривали на полового, при чем глаза их говорили: ну-ка, юла, какой ты ему теперь ответ скажешь?

— Извините-с, Капитон Платоныч, — отвечал половой, еще раз согнувшись и снова выпрямившись. — Сами извольте видеть, сударь, какое сегодня время: тот кричит, другой орет, а тут на грех эта сволочь, ряженные набились. Просто сообразить невозможно-с!

— Хорошо, на первый раз я тебя извиняю, но чтобы вперед ничего подобного не было, — сказал Капитон Платоныч. — Слышишь? Запомни это получше. Бутылку хересу и порцию селянки!.. Надеюсь, я вас не стесняю? — прибавил он с улыбкою, относясь к своим компаньонам.

— Ничего, Капитон Платоныч! Сделайте милость, требуйте...

— Почтенные господа! Не угодно ли вам послушать «кулаверию» про Езопа.

Перед Капитоном Платонычем и его компаниею стоит

ряженный: на нем сюртук с почерневшими офицерскими эполетами, голову украшает трехугольная шляпа из сахарной бумаги, а на ногах серые валеные сапоги.

— Что-о-о?—величественно спрашивает Капитон Платоныч.

— Я ничего-с... Говорю только, кулаверию про Езопу вашей милости не угодно ли?..

— Дурак! Какую ты кулаверию выдумал: такого и слова нет! — Пошел — сказал Капитон Платоныч. — Волостной писарь, скажу вам по-приятельски, — говорил он, видимо продолжая начатый прежде разговор, — лицо для всех нужное и полезное. Рассказываю это не к тому, чтобы похвастаться — я терпеть не могу хвастовства! — а так к слову пришлось. Все: старшина, судьи ли волостные, никто без меня шагу ступить не смеют. Они думают так сделать, а я говорю: нет! Раскрою им положение 19-го февраля, укажу на статью. — Видели это? — «Нет». — Поглядите! — Глядят, долго глядят. — Что? — «Ничего». — Поняли смысл закона? — «Нет». — А букву закона уразумели? — Говорят: «отстань, нам и так тошно». — Так на каком же вы, господа судьи, основании? — спрашиваю. — «На законе». — А это, говорю, закон или нет? — и опять их буквой, буквой! Вздохнут. — Самовольничать, господа, не позволено, надо все по закону. — «Делать нечего, — говорят, — сказывай, что нужно, тебя не переговорить»... Так и сделают, как я хочу... Да что — не будь волостного писаря, вся волость ни за что прпала бы! — махнув рукою, заключил Капитон Платоныч.

— Что говорить. Где им, они люди темные, — соглашались с рассказчиком его компаньоны.

Мимо проходит госпожа и, повизгивая некоторую разгульную ариетку, с большей или меньшей грацией машет подолом.

— Опять делопроизводство, — продолжает волостной писарь, бросая косые взгляды на соседний стол, где сидел какой-то, весь раскрасневшийся купец, обставленный кругом бутылками. — Какая тут механика!.. Понять ее, прямо скажу, ежели кто необразован, очень трудно...

Но на этом месте суждено было дальнейшему течению рассказа волостного писаря приостановиться, потому что явился служитель с бутылкою, а рядом заговорил купец и заговорил громко и негодующим тоном:

— Как она, такая-сякая, — ну, счастлива она, что ру-

гаться здесь не дозволено! — смеет при трапезе господиней (купец показывает на рюмку) подолом махать? Это она в надсмешку мне... Где буфетчик? Федор Петрович! Федор...

— Не кричи, не стыди себя, — начал унимать негодующего купца другой. — Что она разве мешает тебе? Она ходит и не глядит на тебя...

— Ничего не значит! Она подолом машет, а мы за трапезою... Надсмешка! Федор Петрович! Буфетчик! Тебя што ли я зову али дьявола из-под мельницы?..

Подбегает половой.

— Помилуйте! Нешто в дворянской так возможно безобразничать? Неприлично-с, прекратите! Вы купец...

— Приведи сюда хозяина, а тебя я знать не хочу — дурака! — кричит и бьет кулаком по столу купец. — Да как это она, при трапезе, например...

— Ругаться у нас не велено...

— А я нарочно буду! Знаю, что не велено, а вот возьму да выругаюсь... Сидим за трапезою, все у нас идет по-благородному, тихо, а она — вот тебе раз! — подолом в глаза!.. Да как она, чортова дочь, осмелилась при купце?.. А? Ругаться, говоришь, не смею? Ну, а ежели изругаюсь, што ты со мной поделаешь?

— Да что с вами сделаешь. Полоумным вас мать родила, полоумным вы навсегда и останетесь, — отвечал, вышедший из всякого терпения, половой. — Только не здесь бы, не в дворянской зале вам следовало быть, а в коровьем хлеве сидеть, — прибавил он уж на ходу, — там по вас место!..

— Как-а-ак? Что ты сказал?! Это при трапезе-то!!

Здоровый детина, в красной рубашке и плисовых шароварах, завидя вывороченный тулуп, кричит с другого конца:

— Эй, ты не лекарь ли?

— Лекарь.

— Так я и знал, — обрадовалась красная рубашка. — Подь-ка, погляди, у меня ровно бы вот в эфтом месте нагрызло!..

Взрыв хохота.

— Ай-да красная рубаха! — восхищается Гаврило, весело покачиваясь на стуле. — Люблю! Карпыч, надо выпить!

Карпыч не успел изъявить своего согласия, как в уг-

лу поднялся рев контрабаса и за ним пронзительно взвизгнули скрипки, но тотчас же сконфузились перед другим товарищем, барабаном, начавшим грохотать с такою оглушительною силою, что и сам контрабас неожиданно смутился и обнаружил недостойную своего мужества слабость. Ряженые закружились, подняли пляс и страшный топот, от которого пол под ногами заходил и столы задрожали.

— Вот она, голь-то честная, как расходилась! — говорил Петр Карпыч, поводя вокруг глазами. — Подумаешь, какой народ счастливый! Откуда только у них эта веселость берется?.. Чудеса! Чудеса и тысячу раз чудеса!

Третий собеседник, ткач, молча сидевший за столом и только упрямо пивший водку, неожиданно при этом проговорил:

— Эка, опять его забирать стало!

— Гаря, можешь ли ты на один вопрос мне ответить?

— Могу, Карпыч, — теперича я все могу. Ты только знай спрашивай!

— Скажи... Да нет, ты не ответишь!

— Я-то? Вона што сказал! Да я, може, не меньше твою знаю, даром што ты ученый...

— Гарька! Мало нам с тобой пьянства, ты еще в ученые полез! — с каким-то отчаянием проговорил ткач. — Погляди-ка! Сходят ли когда синяки с Груздева? Смотри, брат, как бы и у тебя наука-то эта по всей роже не высъшала!

— А ты как обо мне думаешь? — задал Гаврило вопрос недовольному его поведением ткачу. — Хочешь, я тебе расскажу историю про Каина и Авеля...

— Пей, дубина вязовая! Не наше дело об этом. Пусть попы говорят, они к энтакому испокон веку приставлены.

Пока шло это дружеское препирательство, барабан и контрабас утомонились. В дверях показался ряженный в длинном фраке и узеньких панталонах желтого цвета, серая, измятая до последней степени шляпенка сидела у него на самом затылке и давала возможность хорошо видеть промадную шишку на безволосом лбу, которою была украшена маска, скрывавшая лицо незнакомца. За плечами у ряженого находился большой ящик. При появлении его в публике раздались голоса:

— Немец пришел, немец!

«Немец», достигнув середины дворянской залы, оста-

новился и сделал вид, как будто он дух переводит, изнемогая под тяжестью своей ноши. Затем он снял шляпу, ударил себе по шишке и начал раскланиваться с публикою.

— Ну, а ты показывай, что у тебя в ящике, а поклоны нам твои не очень нужны! — заговорили в публике.

— Сей минут, каспадин, сей минут! — отвечал немец, не торопясь снимая ящик и опуская его на стул. — Мой вам покажет... Хороший штук покажет...

Многие было обступили ряженого, но половые одних вытолкали, а других упростили сесть на место.

— Немчур! Кажи все, что у тебя есть! — приказывал купец, незадолго перед тем возмущавшийся дамой, неприличное поведение которой помешало его праздничной трапезе.

Немец отпер ящик.

— Каспадин! Мой покажет вам хороший штук. Эта штук — новый воля...

Резчик Гаврило весело подмигнул товарищам и сказал:

— Ишь, каков немец-то? Новую волю хочет показывать! Ай колбаса свиная!

— Любопытно, очень любопытно по началу, — говорил Петр Карпыч, не спуская глаз с немца.

Ряженный медленно стал приподнимать крышку, открыл и, вынув из панталон табакерку, принялся нюхать табак. Понюхав и чихнув несколько раз, он снова нагнулся к ящику и вынул из него другой; точно также не торопясь открыл он и этот ящик, после чего опять вынул табакерку и стал нюхать табак.

— Ого! как заряжает, — проговорил Гаврило. — Приятель, а ты полно нос-от наколачивай! Кажи проворней волю!

— Сей минут, каспадин, скоро будет...

Немец вынул один за другим еще два ящика и при этом каждый раз останавливался и нюхал табак.

— Да его до завтра не дождешься! Ишь, чьортв сын, все только нос заряжает! Панкрат, давай выпьем!

— Выпьем, — согласился мрачный ткач! — Эге! Глядите-ка, братцы!

— Што, ай воля лезет?

— Молчи, Гаврило! — внушительно сказал Петр Карпыч, привстав на месте и выпрямившись во весь рост. — Любопытно, очень любопытно!

Немец с великим трудом что-то вытаскивал из послед-

него ящика и громко кряхтел: очевидно, что то, что он хотел вынуть, было не по его силам.

— Немчурка! — выходит из терпенья купец: — ты смеяться что ли надо мной выдумал? Вынимай, а нето все твои ящики разобью!..

Как ни трудно было немцу, но он успел-таки добиться своего: вытащил из ящика какой-то бумажный сверток.

— Так это что ли воля-то?

— Нейн!.. Но мой скоро вам покажет.

Тут опять повторилось то же самое, что и с ящиком: развязав узел бичевки, которою был перевязан сверток, немец медленно развернул бумагу и вынул другой сверток, потом третий и так далее. Терпение публики истощилось, все начали требовать, чтобы немец не морочил, а показывал без всякой задержки новую волю.

— Братцы! — взывал Гаврило: — немец надуть нас хочет. От него только и жди фокусов; он, ведь, на них собаку съел... Надо его связать, ато он лыжи задаст!

— Нехристь! Долго ли мне мучиться? — ревел купец.

— Одня минут, каспадин! А станете шуметь, мой вам ничего не покажет.

Делать нечего! Публике волей-неволей пришлось покориться и ждать. Сжалился, наконец, немец над публикой: развернув несколько бумаг, вынул он громадную, рыжеватую-красную и неудобную для еды колбасу и, высоко-высоко подняв ее над головою, сказал:

— Вот вам, каспадин, новый воля!

Хохот, крики одобрения и руготня раздались в одно то же время в награду шутнику.

— Ах, чортов сын! Как надул-то знатно!

— Браво! фора!

— Вот так волю немец показал!

— Умственно! Браво! — всех громче раздался голос Пера Карпыча, хлопавшего в ладоши. — Как он тя-я-нул, тял и вдруг — колбаса! Ха-ха-ха! Умственно, даже оче, умственно! Мусью, вашу руку, — говорил рисовальщик, подходя к ряженому. — Я вам очень, о-очень благодарен! По стаканчику! — кивнул он в сторону своих приятелей.

— Мой будет с вами пинакс пить, — сказал немец, собирая бумаги и укладывая все в ящик.

Кец из себя выходил.

— Нет, я не допущу, это — надсмешка! Давича та,

тварь, подолом махала, а теперь этот немчурка колбасу свою... Это при трапезе-то господней?.. Надо позвать буфетчика. Федор Петрович! Федор Петр...

— Купец, — говорил ряженный, — а я вам кулаверию желаю рассказать. Какая занятная история! Угостите, ваше степенство, наливочкой!

— Что же это! Боже! Это... это разбой, меня погубить хотят... Кулаверия! Не перенесу...

— Что здесь за крик? — спрашивает новый ряженный, подбегая к столу. — Я мировой судья. Рассужу!

Купец действительно не перенес: собравши силы и с трудом поднявшись на ноги, он дал мировому судье затрепину, и мировой судья полетел, а ряженный «с кулавериею» счел за благо подобру-поздорову сам удалиться.

Вновь начинавшаяся суетня половых, — выталкивание тулупов и дурно одетых ряженных с прибавлением: «вон сволочь!» — давала публике знать, что для нее готовится нечто более важное и достойное внимания. Действительно, через минуту или две в дворянскую залу ввалила большая толпа новых ряженных, одетых большею частью в одинаковые костюмы. На всех были сюртуки или короткие казакины, по краям обшитые позументом, с красными кушаками, за которыми виднелись пистолеты, ножи и другое оружие. Одни были в масках, другие с открытыми лицами, но зато с подвязанными бородами и ужасающего вида усищами. Вообще говоря, вид этих ряженных в трактирной публике возбудил не одно любопытство, но и некое почтение, близкое к боязни: все поняли, что это не просто какие-нибудь ряженные, а ряженые-разбойники. Когда один из разбойников сбросил с плеч енотовую шубу, то все узнали в нем самого атамана.

Глазам публики предстал высокий и молодой человек, с черной бородою и блестящими глазами, одетый в синий бархатный казакин, с двумя пистолетами и кинжалом за серебряным поясом.

— Кто это такой? — спрашивали за столами.

— Надо полагать, кто-нибудь из купеческих сынов. А кто именно — не узнаешь в бороде.

Половой Румянцев громко провозвестил:

— Почтеннейшая публика! Сейчас здесь нается представление шайки разбойников одного ужасного расейского атамана!

Румянцев умолк, а «ужасный расейский атам раз-

бойников» сделал своей шайке знак и разбойники отошли к одной стороне.

Представление тотчас началось.

— Эсаул! — вскрикнул атаман.

— Чего изволите, господин атаман? — ответил эсаул.

— Возьми проворней подзорную трубу и посмотри, не видать ли чего!

Эсаул подставляет к глазу картонную трубу и смотрит. Атаман молча ходит по зале.

— Видишь ли что?

— Ничего, господин атаман!

— Посмотри в другую сторону: не плывут ли по Волге-матушке купеческие суда, не везут ли дорогие товары и золото?

Эсаул смотрит.

— Видишь ли что?

— Опрочь пеньев, кореньев и мелких листьев ничего не вижу, господин атаман!

Атаман ходит и опять приказывает эсаулу смотреть в трубу.

Ряженые завладели всем вниманием публики, заинтересованной как самым представлением, так равно и внешностью исполнителей представления: в атамане для нее было все полно интереса и таинственности, начиная с черкесской шапки и кончая сапогами с высокими лаковыми голенищами и красными отворотами, а в эсауле — физиономия, расписанная, по крайней мере, семью колерами и живописностью своею превосходящая самое смелое изображение чорта, на какое только когда-либо в состоянии была дерзнуть прихотливая фантазия суздальского богомаза. Все смотрели и слушали напряженно, даже Капитон Платоныч, волостной писарь, снизошел до некоторой степени внимания и частенько поглядывал на атамана, а озорной купец, как опустился на диван, так и сидел, не шевелясь, с вытаращенными глазами на разбойников и до конца представления пребывал в необыкновенном смирении. Из всей публики к представлению оставались равнодушными Петр Карпыч и «немец»: они заняты были собственным своим разговором и никого знать не хотели.

— Нет, вы скажите, кто другой выдумал бы такую штуку, — говорил Петр Карпыч, не сводя сияющего взора с «немца». — Никто в мире! Теперь я еще больше вас люблю и уважаю. Умственно, умственно и тысячу раз все

будет умственно! И где вы такой костюм достали? Херои, очень хорош!.. Скажите, как ваши дела?

— Поступил я к Обиралову,—рассказывал «немец».— опять без места...

— Неужели? Ах, молодой человек... Ну что же, мы, ради свидания, выпьем с вами?

«Немец» кивнул головою.

— Скажите, за какую вину вас прогнали? Вы у Обиралова жили... За ваше здоровье!

Они чокнулись и выпили.

— А мне ты забыл? — напомнил о себе резчик. — Надей!

— Поступил я к Обиралову, — рассказывал «немец». — Две недели прожил, все шло хорошо, за механика справлял, когда того на фабрике не бывало. Директор наш, англичанин, оставался мной как нельзя больше доволен: зайдет в паровую, поглядит везде и подойдет ко мне. Возьмет меня за руку, заглянет мне в лицо; потреплет этак ласково по плечу и скажет: «а ты, руска, не глуп: у тебя голова карош, очень карош! Старайся!» — Покорно благодарю, Адам Адамыч: буду стараться! — Ну, думаю, англичанину я понравился, значит, скоро не прогонят: поживу. Работаю, весело мне так. Вдруг в контору зовут — хозяин требует. Зачем это я понадобился? Иду дорогою и думаю: уж не хочет ли он жалованья мне прибавить... И самому смешно после стало, откуда у меня такая мысль взялась. Прихожу, спрашиваю: что угодно? Хозяин сидит, разговаривает с конторщиком и внимания на меня не обращает. С полчаса или дольше простоял, хотел уйти. — «Ты чего тут ждешь?» — вдруг спрашивает хозяин, а сам и не глядит на меня. Говорю: звали? — «Да, знаю, — говорит. — Ты от кого на мою фабрику поступил?» Я сказал. — «Так это ты, говорит, везде рабочих-то бунтуешь, да против хозяев смущаешь?»

— Так! У них все бунты,—вставил слово Груздев. — Дальше, молодой человек.

— Нет, я этим не занимаюсь. — «Как? А у братьев Грачевых не ты рабочих взбунтовал? Ах ты, паценок!» — Вы, говорю, погодите ругаться, а прежде разберите хорошенько. Никакого бунта я нигде не делаю, а что одному рабочему, которому господа Грачевы не выдавали расчета, я посоветовал сходить к мировому судье, — это правда. — «Так ты у меня станешь давать такие сове-

ты?» — Не знаю. — «Ах ты, паршивый! — закричал на меня Обиралов. — Да как ты смел только помыслить; чтобы меня, потомственного почетного гражданина и первой гильдии купца, да сравнивал мировой судья с каким-нибудь рабочим? Ведь вы что? Нищие! Вас из милости мы одной кормим! Ты погляди на себя, чего ты стоишь-то, животина несчастная?» Такое тут меня зло взяло, Петр Карпыч, что я не помню, как я устоял на месте!.. — Вы, говорю, не смеете ругаться... — А он: «Я не смею? Хо-хо-хо! Конторщик, подочти-ка этого молодца по вчерашнее число да вели сторожам взять метлу, погрязней какую, да метлой-то его с фабрики, чтобы минуты больше ноги его здесь не оставалось!» Взял я деньги и со стыдом ушел с фабрики, да так вот с тех пор все без места и скитаюсь. Куда ни приду, хозяева только спросят: «У кого жил?» — У Обиралова! — «Ну, так у нас тебе места нет».

— Друг ты мой, Александр Никитич! — воскликнул Петр Карпыч: — умным людям плохо на свете жить, особенно в нашем Данилове. Помните вы наш разговор, когда я с вами познакомился? Я тогда же вас понял... По стаканчику!

— Давайте, Петр Карпыч!

Резчик Гаврило, с большим любопытством следивший за ходом представления, при слове — стаканчик, встрепенулся и живо обернулся к приятелю.

— Карпыч, ты не забудь мне налить! Ато, ведь, ты...

Молчаливый ткач, вслушивавшийся в рассказ «немца», ничего не промолвил, но мрачно налил сам себе стакан водки и еще мрачнее выпил его.

— Ребята! Садись все в лодку! — приказывал между тем атаман.

Разбойники, по слову атамана, бросаются на пол и усаживаются в начерченную мелом на полу лодку; атаман становится посреди лодки, а эсаул впереди на носу.

— Отваливай, ребята!

Разбойники, исполнявшие роль гребцов, дружно взмахнули руками и зараз всхлопнули ладонями, как будто ударили веслами по воде, и затянули песню:

Вниз по ма-а-атушке по Волге...

Только запевало дотянул последнюю ноту, как товарищи подхватили и грянули:

По широ-о-о-окому раздо-о-олью-ю-ю.

Гости встали с мест; из дверей уставилось множество любопытных лиц; все стояли и слушали.

— Вот, это хорошо, — заметил Петр Карпыч: — это стоит слушать!

Ни-ичего-о в волнах не ви-и-идно!..—

разносилось по всему трактиру.

— Эсаул! — раздался из-за песни голос атамана.

— Что угодно, господин атаман?

— Возьми подзорную трубу и посмотри во все стороны, не видать ли где чего!

— Слушаю, господин атаман!

Эсаул опять наводит картонную трубу.

— Эсаул!

— Что угодно, господин атаман?

— Видишь ли что?

— Вижу, господин атаман! Недалеко отсюда остров на том острове стоят боярские хоромы; в хоромах тех, под окошечком, сидит красная девица и в печали большой грызет подсолнышники...

— А какова собою, красная девица?

— Да вот какова, господин атаман, что ни в сказке сказать, ни пером описать невозможно красоты ее лица и всех прелестей! Канфета живая!

— Оставь про себя прибаутки, эсаул, а то как раз головой мне за это полатишься, — грозит атаман.

— Братцы-товарищи, удалые молодцы-разбойнички, — обращается он ко всем: — поедемте мы на этот остров, возьмем хоромы боярские и разграбим всю казну его богатую и сокровища несметные! Скажу я вам тогда, товарищи: берите себе все золото, жемчуг и камни самоцветные: а я возьму себе только одно сокровище — красавицу дочку боярскую! Довольны ли, товарищи?

— Ура, атаман!

Разбойники вскидывают кверху шалки и снова кричат: ура! Делают еще несколько сильных взмахов руками и запевают:

Эх, приворачивай, ребята, ко крутому к бережочку!

Через минуту все вскакивают, хватаются за оружие и нападают на стену, предоставляя воображению зрителей видеть в этой стене осаждаемые боярские хоромы. Выстрелы, крики, стоны погибающих, — и представление оканчивается.

— Все? — спрашивают.

— Все.

Разбойники расходятся по другим залам, а Нагоров с эсаулом садятся в дворянской.

Всеобщее одобрение.

— Важно! Вот так представленья! Экие молодцы!

— Купеческие сынки — они на все мастера!

Купец, все время сидевший в оцепенении, с окончанием представления очнулся и принялся кричать:

— А где ж эта красавица, боярская дочь! Покажите! Эй, комедианты, вы забыли свое дело! Представляйте!

Опять в углу заревел контрабас, опять взвизгнули скрипки и опять сконфузились, когда грянул барабан; снова все пришло в движение, поднялся пляс и кружение ряженых, все перемешалось и перепуталось. Шум, гам...

«Немец» скинул с себя маску и, усевшись так, чтобы лицо его как можно меньше было видно публике, продолжал беседу с Груздевым.

— Не знаю, что мне делать с собою, — говорил молодой человек, склоняясь почти к самому лицу собеседника. — Теперь святки, вечера святые прошаяюсь как-нибудь по трактирам и время пройдет, не увижу... А после святков что стану делать? Опять ходить с ящиком — никто не пустит, велят гнать, а другого занятия нет... Эх, хуже каторжной такая жизнь!

— Друг, Саша, не унывай! — ободряет молодого человека Груздев. — Мы лучше еще по стаканчику... Тоска пройдет!

— Как рукой снимет! — подхватил Гаврило. — Ну-ка, мне вот в этот, — побольше какой... Штобы, значит, дух вышибло поскорее, ато што канитель-то по-пустому тянуть?..

— А я замечаю, что от водки у меня больше тоска расходится. Выпить один, два стаканчика — ничего, словно веселее будет, а как перешел за третий, так лучше бы не пить: такая-то ли злоба да грусть подкатит к сердцу, что впору тогда в воду головой или выходить на большую дорогу!

Угрюмый ткач окинул своим мрачным взглядом молодого человека и проговорил:

— Вон оно дело куда пошло!..

— Прежде я не замечал этого за собою, а вот теперь стал чувствовать, — говорил после четвертого стакана

Александр Никитич, низко опуская на стол голову. — Плохо! Сам без места, в доме ни копейки; а тут отец, мать...

— Не допущу! Они надо мной надсмешку сделали, — раздавался голос купца. — Я хочу ее видеть! Подать мне боярскую дочь!

— Отчаянная голова, да уймешься ли ты? Половые!

Но половые махали только руками и проходили мимо.

— Ведь мне жаль стариков, — словно про себя говорил молодой человек: — маялись, маялись они век-от свой, да и под старость голодать приходится. А я ничем им помочь не могу! Что же я за сын, на что я гожусь?..

— Саша! Друг ты мой, не унывай! — утешал Петр Карпыч. — Ты вспомни одно: мы никого не обижали, ничего чужого хлеба не заедали, а нас все обижают, наш хлеб все едят! Саша, мы, брат, честные люди. Хоть бедны, да честны!..

Александр Никитич при этих словах Груздева поднял голову, посмотрел на него уже совершенно трезвым взглядом и сказал:

— Да что же из этого? Да разве мне от того легче, что я честен, а есть мне нечего!..

— Верно! — во все горло заорал, обрадовавшись чему-то, резчик. — Карпыч, требуй скорее графин!

— Только побольше который, — угрюмо добавил мрачный ткач. — Уж ты нас угощай теперь, Карпыч, а временем твою... Посмотрим там... С деньжонками собьюсь, так я тебя тоже... твою... И сам махану...

— Я не стану пить, для меня не нужно, — сказал Александр Никитич.

— Што вы?! Как!

— Невозможно!

— Саша, выпьем! Половой!

Но половой стоял уж тут и говорил:

— Пожалуйте в другую залу, господа!!

— Зачем?

— Там для вас гораздо будет свободнее. Пожалуйте!

— Не беспокойся, нам и здесь свободно. Подай графин очищенной!

— Подать вам подадут, только вы, значит, пожалуйста в другую залу. У нас опущение из-за вас большое, хорошим гостям отказываем, местов нет...

Петр Карпыч приосанился.

— Да ты как смеешь, а? Разве ты имеешь право нас выгонять? Грубить ты смеешь, а? Мужик!

— Помилуйте! Мы очень вежливо... Пожалуйста, сделайте милость! Не доводите до греха...

Груздев еще больше принял сановитый вид.

— Послушай! Ты знаешь, с кем так говоришь? — и, гордо выпрямившись, он прибавил: — я гражданин и первый рисовальщик во всей нашей империи! Понял?

— Отлично! Сию минут обо всем хозяину будет доложено.

По уходе полового Гаврило сказал товарищам:

— Перейдем, братцы! Нам все равно, где ни пить.

— Стой! — тоном негодования произнес первый рисовальщик нашей империи: — я дольше одной секунды здесь не сижу! Нужно рассчитаться... Половой! Шубу!

Волостной писарь перешел от прежних компаниснов к Нагорову и обязательно предлагал:

— По моему мнению, самое лучшее теперь вам заказать по стакану грентвейну. Превосходный напиток!

Купец никак не мог уговориться и орал:

— Комедианты! Десять целковых на водку — только боярскую дочь предоставьте ко мне на лицо!

— Гля, собирайся! — слышался голос Петра Карпыча, накидывавшего на плечи свою ужасную собаку, для красоты слога называемую самим владельцем шубою.

*

Путь наших друзей лежал как раз мимо той улицы, в которой жила старуха Фекла Денисовна с двумя племянницами Петра Карпыча.

Как ни тиха и малолюдна была эта улица, но святки и туда заглянули. Заглянули в нее святки, — и пустынная улица ожила, весело заговорила и засмеялась.

— Какое первое имя услышу — это и будет мой жених! — слышится на улице.

— Ан нет! Мой!

— Сейчас! Так и уступила тебе... Я вас тут всех старше. Мне давно замуж пора...

— Да ну тебя с твоей старостью! Ишь, старуха какая нашлась!.. К ручке не прикажешь ли подойти?..

Спорила, спорила таким образом улица и вдруг рассыпался по ней звонкий, беззаботный смех.

Месяц только-что выбился из-за высокой крыши одной фабрики и разом осветил половину улицы. У плетня небольшого старого домика, облитые месячным светом, стояли девушки и весело смеялись. То были: Настя и Паша — племянницы Петра Карпыча с своими молодыми подругами.

— Слушайте, девоньки, — заговорила громко одна из них. — Подемте-ка под окошки слушать, чем так-то стоять.

— Подемте, подемте! — шумно согласились все — и побежали.

— Куда вы, шальные? Стойте!

Остановились.

— Што ты, Настя?

— Погодите! Разе можно всей гурьбой. Одной надо идти к одному дому, другой — к другому, так все по однойночке и разойдемся.

— Дело! Этак в сам деле лучше.

— О чем говорят? — перешептывались через минуту девушки, подслушивая и поглядывая в окна разных изб.

— Молчи! Собираются ужинать...

— А здесь уж кашу едят. Ребята друг друга по лбам ложками щелкают.

Под одним окном раздался сдержанный смех и затем тихий голос торопливо проговорил:

— Девушки! Подите-ка поскорее ко мне. Вот чудеса-то где!

Все кинулись на этот зов.

— Гляди-ка: видели вы такие фокусы или нет?

Несколько пар самых любопытных и веселых глаз устремились в окно, на которое указывала подруга.

За столом, против окна, сидел в рубашке мужчина, заметно, навеселе; он счастливо улыбался и размахивал руками; на голове у него надет был большой печной горшок. Перед мужчиной, похлопывая в ладоши, кружилась и подплясывала женщина, улыбающаяся так же счастливо. Видно было, что она что-то пела, — при чем руки ее протягивались к горшку и часто до него дотрагивались. Мужчина, тихо отстраняя от себя женские руки, продолжал улыбаться самым невинным образом.

Как только завидели девушки эту картину, так и отпрянули от окна и с громким хохотом пустились бежать от него вдоль улицы.

— Ой, батюшки, со смеху умру! Мужик горшок на голову напялил!..

— Да какой же это дурак ухитрился? Кто это?

— Финогена не знаешь! Как же не знать Финогена с женой? Вот счастливо-то живут! Завсегда у них смехи, пляски да песни, даром, што бедные! Такая голь, такая голь: хоть шаром покати по избе, — все гладко! Говорят: одно только несчастье у нас: детей господь не дает!..

— А я вам теперь, девицы, другую штуку покажу — еще смешней будет — предложила одна подруга, подбегая к новому деревянному дому, из окна которого спускалось на улицу длинное полотенце. Девушка схватила расшитый конец этого полотенца и начала утираться им. Из дома послышался женский голос:

— Как ваше, имя, господин неизвестный?

Шутница, утиравшаяся полотенцем, изменила голос и ответила толстым басом:

— Мавра!

— Как?

— Мавра Федоровна! Вот как твоего жениха зовут!.. Пойдешь за меня замуж или нет?..

— Какие надсмешки! — сказал недовольный голос, и затем полотенце взвилось кверху, и оконная форточка захлопнулась.

Опять смех — и опять девицы бегут дальше куда-то, словно бы гоняясь за скоротечным, святочным весельем.

— Как, надо полагать, она разозлилась на твою шутку, — говорит Настя. — Ведь она десять годов жениха-то ждет; а тут вдруг — вот тебе раз! — Мавра Федоровна, говорят, твой жених.

Навстречу попалась другая девичья группа: тоже гадают.

— Што, девушки, про судьбу загадывали? — полюбопытствовала Мавруша у встречных.

— Нет! Мы так гуляем. А вы гадали?

— Нет! Мы такими пустяками не занимаемся. Так больше ходим: один променат делаем...

Обе гурьбы, уверенные, что они солгали друг другу, со смехом расходятся.

Пришли на перекресток. Ждут, кто мимо пройдет.

Я п-пос-сею ли, мл-лада мл-лад-денька, — запекает голос на улице.

— Што же это никто до сих пор нейдет?

— Подождем! А вось, кто-нибудь на наше счастье и пройдет. По крайности узнаем, какие у мужьев имена будут.

Вдали, где находились базарная площадь и самые людные улицы, крики и гул не смолкают ни на минуту и все больше и больше усиливаются и расходятся.

— Вот где ряженные-то! — переговариваются девушки, любопытно прислушиваясь к неразборчивому шуму.

— Хотелось бы мне посмотреть на ряженных, какие по трактирам ходят, — сказала Паша. — Говорят, они там разные истории представляют, все равно, как в театре...

— Представляют, да нескладно выходит... Я была там однажды, тетка из Питера к нам приехала и меня потихоньку с собой в трактир утащила, — так я такого насмотрелась, со стыда сгорела!.. А тетка не пускает меня, стоит и смеется...

— Питерская!..

— Тише! Идет кто-то...

Из переулка медленно выходили две какие-то фигуры, обхвативши друг друга руками.

Покачиваясь из стороны в сторону, они вели между собою такой разговор:

— Теперь, я скажу тебе: затмение... можешь ли ты своим умом постигнуть его?.. А?..

— Не м-могу! — отвечает кто-то решительным, но тем не менее пропившимся басом.

— Я это знал! Я знал, что ты этого не сообразишь, потому ты грамоте не знаешь; а я, напротив того, сидючи по избам, сколько этих книг перечитал, — конца-краю нет. Я тебе все могу объяснить... Слушай! Затм-мение...

— Как вас зовут? Ответьте, — будьте столь добры! — перебила Маврушка астрономические беседы двух друзей.

— Настя! Ведь это, кажется, голос-то дядин?

— И мне тоже сдается. Сейчас узнаем.

— Как вас зовут? — настаивала Мавра Федоровна, только что перед тем предлагавшая себя в женихи неизвестной особе, вывесившей из окна полотенце.

Приятели, занятые важным разговором, прошли-было мимо и не отвечали на вопрос; но строгий Маврушин окрик раздавшийся снова, заставил их остановиться.

— Горя, стой! Это, брат, девушки о женихах гадают. Скажи им, друг, как тебя зовут, а я уж теперь не жених...

— Это я могу — мое имя сказать, — ответила на это

приглашение одна из приблизившихся к девушкам фигур. — Это я с большим моим удовольствием... Отчего не сказать? Об затмении я не могу... Карпыч — он вот и об затмении скажет... Он, эвти науки-то, может, избави господи, как понимает... Все до одного слова!.. Так он тебе, девушка, это сразу растолкует, а я теперича слаб.

— Да не об этом! Вы скажите, как вас зовут!..

— Зовут-то?.. Давно бы сказали... Это я могу... Карпыч! Влей-ко-ся и мне, я им скажу, как меня зовут... Без этого ни-ни! То-есть ни словечка не вымолю, потому я, брат, вижу: ты без меня хочешь... один... Н-не-ет, шалить!

Дружный хохот вырвался из девичьей стаи и раскатился по всей улице.

— Гаврило! Ты пьян! — начал Карпыч. — Когда же ты успел так нализаться? Пьян, пьян, брат! Ах ты, чудище! Это нехорошо!..

— Я пьян? Я? Да с какой стати. Да я ни в одном, то-есть, оке...

Настя и Паша, забежавши с двух сторон, поцеловали дядю в обе щеки.

Петр Карпыч выпустил приятеля из своих рук и откинул голову назад, с изумлением вглядываясь в своих племянниц.

— Это кто? — радостно воскликнул он: — Настя! Паша! Ах вы, мои милые! Небось, гадаете? Похвально! Умственно, сейчас умереть. Гаря — друг! Гляди: вон они — племянницы-то мои где!.. Вот, брат, девушки, так девушки. Рукодельницы: сами себя кормят, обувают и одевают; вина, друг, ни, то-есть, кап-пеллечки ни одной...

— Это хорошо! — отвечает Гаря, покачиваясь. — Это, слава богу, то-есть што ты насчет вина говоришь, што не пьют они его... Я им скажу сичас за это, как меня зовут; а ты пошли-ка покамест за косушкой, што ли? Пока еще кабаки не заперты... А это, очень слава богу, што они не потребляют... Тут, брат, в Данилове, я тебе прямо скажу: все вино жрут! Малый ребенок — и тот его жрет. Найдет ребенок на дороге копеечку, сичас в кабак. «Дяденька, говорит целовальнику: дай на копеечку!» Ах! Пропasti на вас нету. Очень меня смех разнимает с этого... ха, ха, ха!..

Паша и Настя упрашивали между тем дядю зайти к ним в гости.

— Никак невозможно, золотые! В другое время с

большим удовольствием, а теперь никак не могу. Вы видите: Гарька-то каково угостился!..

— Да вы куда шли-то?

— К нему же и шли, потому я ныне у него на квартире живу. Как же! С самого Рождества переехал. Жены у Гари теперь нет, она на все святки к родным в деревню ушла, вот, я к нему и переехал... Оно, по-настоящему, рано бы домой, да видите, как он расслаб...

— Ты хоть ненадолго зайди, вместе с ним, ничего! Напьетесь чаю и пойдете домой.

— Не просите. В другой раз — так, теперь не могу. Гаря! Собирайся в дорогу! Прощайте, девушки! Бабушке кланяйтесь!

Приятель опять взялся за руки и тронулся в дальнейший путь. Девушки, глядя им вслед, кричали:

— Ну так мы сами к тебе, дяденька, в гости придем!

— Когда?

— Да вам когда посвободнее будет: завтра што ли?..

— Милости просим! Отчего же, — бормотал Гаврило. — Рады будем. Угощение можем всякое для вас оборудовать... У нас тоже многого нет, а для хорошего человека, благодаря бога, на полштоф завсегда раздобудем...

— Не ходите уж лучше, — крикнул Петр Карпыч в ответ племянницам. — Ато вы меня, пожалуй, и дома-то не застанете, потому я завтра на другую квартиру думаю переехать...

Настя улыбнулась. Постояла, посмотрела, как на минуту остановившиеся приятели снова тронулись в путь, и, вздохнув, воротилась к подругам.

— Куда ж нам теперь?

— Да домой пора: бабенька теперь заждалась нас, поди, чай пить.

— Ну, коли так, подемте домой...

Веселые, с раскрасневшимися щеками и блистающими глазами, девушки шумно влетели к бабушке-Фекле, у которой давно уже стоял на столе самовар и шумел как-то особенно весело, по-святочному, а вокруг сидели гости.

— Нагулялись ли, гулены? — спрашивала старуха, встречая доброй, любящей улыбкой счастливые, полные жизни и цветущего здоровья лица девушек.

— Не очень-то, бабушка, нагулялись, — ответила жених-Мавра Федоровна, сбрасывая с проловы платок. — Чаю вот захотели попить, ато бы до полночи домой не пришли.

— Ну, так садитесь скорее — пейте. Вы, поди, пере-
зябли, — говорила старуха, наливая чашки. — Ну, рас-
сказывайте же мне, девчонки, какую вы себе судьбу на-
гадали?

— Да што, бабушка, нагадали? Хорошего малость.
Спрашиваем у Гаврилы-резчика: как вас зовут? А он го-
ворит: «Карпыч! Ты, брат, и мне наливай!..» Ха, ха, ха!
Вон, верно, как наших женихов-то зовут... «Ты и мне на-
ливай!» Ха, ха, ха!

— Уж и дядю успели повидать? — спрашивает Фекла
Денисовна.

— Видели, бабушка! Велел тебе кланяться. Говорит:
приду в гости.

— Придет он! Таковский парень. Чай пьянехонек?

— Нет, бабушка! Разит от него вином, а не пьян.

— Удивление! Верно, это к смерти ему; ато бы он
разе устоял в такой праздник? Еще кого видели, —
сказывайте!

— Видели Финогена, — сказала Паша. — Он сидит за
столом, — на голове у него горшок надет...

— Горшок. Этакой прокурат! Вот тоже мужик хоро-
ший, а как и наш Петр Карпыч, любит хмельком заши-
баться. Што же он делает?

— Ничего не делает. Сидит и смеется; а жена вокруг
его пляшет и в ладоши щелкает.

— Ну, значит, оба хватили для праздника... экие
прокураты! Все говорят: мы слава богу; а завтра есть
нечего будет... Беззаботные!

Девушки рассказывали все, что они видели и слыша-
ли на улице, — рассказывали и весело смеялись. Счастье
их было полное. Совершенное отсутствие всяких тревог
и беспокойства написано было на молодых лицах самы-
ми яркими красками. Так незаметно пролетел весь свя-
точный вечер.

Наконец гости спохватились, что уж давно пора по
домам расходиться, — завтра нужно рано вставать и за
тканье приниматься.

— Мы вас провожать пойдем, — говорила Настя,
помогая подругам надевать платки и шубки.

А тем временем, когда в старом домике веселилась
молодая, девичья жизнь, мимо ворот этого домика хо-
дил мужчина в шубе и черкесской шапке. Он доходил до
угла первого переулка, в котором стояли сани, запряжен-

ные парой лошадей, — оглядывался и потом возвращался назад. Но, видно, такая прогулка надоела неизвестному: он, проговоривши что-то сердитое и неразборчивое, сел в сани и уехал.

Было около полуночи. Полный месяц высоко стоял на синем небе, усеянном звездами, и любопытно глядел на покрытую снегом землю, разливая по ней мягкий и ласкающий свет.

В Данилове все улеглось, становилось тише и молчаливее; изредка только по улицам с визгом проносились сани, да проходил обыватель, возвращавшийся из увеселительных заведений. Только середина Данилова, где помещались трактиры, еще шумела и волновалась.

— Экая ночь-то чудесная! — сказала Паша, вышедши за ворота проводить подруг.

— Хорошо-то, хорошо, — ответила Паше одна из приятельниц, — а дома все лучше!.. У меня еще штука миткала не доткана.

— Прощай, Настя!

— Прощай, Мавруша! Даша, прощай!

— Прощайте!

Простятся — и опять стоят.

— Давайте-ка, девушки, под новый год гадать соберемся, — предложит кто-нибудь.

— У меня сбираться! — У меня! — У меня! — закипал спор после одобренного предложения.

— Ну, Настя! Ты ступай в избу, а я Маврушу до дому провожу, — сказала Паша.

— Ты недолго смотри! Одедась-то тепло ли?

— Небойсь, я не озябну. Видишь, на мне шубка!

Произошло окончательное прощанье до гаданья под новый год, — и две подруги пошли в одну сторону, а Паша с Маврой в другую.

Невдалеке, посреди улицы, показался запоздалый народ; послышались голоса:

— Ах! И черти же эти хозяева! — гудел какой-то бас. — Им только и дело, што из нашего брата, рабочего человека, кровь сосать! Сколько ты у них ни живи, как честно ни служи, а все от хорошего слова не уйдешь: либо вор, либо мошенник, ато и все вместе; а подконец и последние штаны оставишь на фабрике...

— Это как есть! Много народу с фабрик-то с этих без штанов по дворам разошлось. Там, говорят, дома уж

лучше жены новые пошьют... Право, ей богу, — при крестах при одних ребята остались...

— При крестах? Это слава богу, Васюк, што хоша при крестах остались; ато и крест-от, так и тот снимут — и спасибо не скажут...

Толпа проходит; но до слуха подруг еще доносится:

— При креста-ах-х! Да ты за это каждый день должен по тыще поклонов в землю класть...

— Слышишь, как хозяев-то честят! — сказала Мавруша.

— Того стают! — отвечала Паша. — Много они бедного народу обижают. Вот хоть бы и наше дело: шьем на богатых купчих, просиживаешь ночи напролет, а понесешь к давальцам работу, так мало, что месяца по три к ним за деньгами ходишь, при расчете непременно к чему-нибудь придерутся и хоть сколько-нибудь, да вычтут с тебя...

И нето от досады на хозяйскую неправку, нето от другого чего, девушки замолкли — и шли не торопясь, поскрипывая ботинками по снегу.

— Мавруша!

— Што?

— Скажи мне, милая, ты никого не любишь?

— Што это тебе вздумалось? Ведь, ты знаешь, што некого здесь любить. Мне, вот, пришелся, было, по нраву один паренек, да видно — не судьба!

— А што?

— Никакого внимания на меня не обращает: пройдет мимо и на скошко никогда не взглянет. Нечувствительный какой-то!..

— Да кто же это такой!

— Ну, ты, чай, сама знаешь. Есть тут один механик такой — Саша... Никиты Безбрюхова сын.

— Знаю! Александр Никитич?.. Он, я слышала, очень умный молодец.

— Да што мне в том, ежели он меня знать не хочет? Нечего понапрасну и думать об нем: одна забота пустая, да работе помеха...

— Ну, Мавруша, — заговорила Паша.... — Это нехорошо, што ты так про любовь рассуждаешь... А со мной от этой любви бывает смертная скука, — тоска какая-то накатывается... Плакать мне хочется по таким временам, а я все сижу себе за иголкой — и улыбаюсь. Сама чувст-

вую, что лицо-то у меня, словно от жару или от какой-то болезни, горит... Но все же в целом свете — и об этом я тоже думаю — нет для меня ничего лучше моей думы тогдашней. Ищу, ищу умом: што лучше ее на свете? Ничего не нахожу, и ничего не найдши, засмеюсь... Бабушка и сестра спрашивать меня начнут: чему ты смеешься? Разве можно без веселого разговору смеяться? Перекрестись! А я еще пуще примусь, словно бы меня в эту минуту щекочет кто...

— Говорят, так-то бывает с порченными, — сказала Мавруша.

— Я не порченная! — с улыбкой отвечала подруга.

— Ато, старики говорят, от книжек это случается... Ты читаешь эти, как их называют, романы што ли?

— Читаю...

— Ну от них это и есть. Им не нужно очень-то предаваться!.. Прощай, Паша!.. Приходи ко мне под новый год! Да не забудь сегодня под подушку гребень положить, — он тогда беспременно придет к тебе, о ком ты тоскуешь.

Светлая ночь, тишина погруженной в сон улицы, голоса и шум, раздававшийся в далеке, как-то обаятельно действовали на молодую девушку. Шла она не торопясь, медленно, глядя на месяц и сверкающие белым снегом домовые крыши.

«Всю ночь проходила бы, — думала Паша. — Или нет, села бы у ворот и все сидела бы, да глядела бы я на небо и думала!.. Хорошо теперь думать! Все спят, никто не помешает — думай, сколько хочешь! А тишина-то какая! Должно быть уж поздно... Но там еще шумят... И когда же они спят? Всю ночь гуляют!..» Морщина, словно темное облако, набежала на лицо девушки.

«Вот и он теперь там. Да где же ему быть, как не там, где люди веселятся. Ведь не дома же сидеть?..»

Девушка пошла скорее.

Вот блеснул через плетень и огонек в знакомом окне, на занавеске образовалась тень чьей-то головы: должно быть сестра дожидается. Паша подошла к воротам, рука ее поднялась, чтобы отворить их, но она осталась неподвижною...

На одном конце улицы раздалась громкие, но нестройные звуки какого-то оркестра, который, очевидно, не стоял на одном месте, а быстро летел — и все ближе, и

ближе к девушке. С музыкой смешались веселые людские голоса и звон бубенчиков и колокольчиков, которые обыкновенно звенят на ямщичьих тройках, когда они едут куда-нибудь с веселыми господами.

Паша стояла у ворот и слушала эту, как-то странно будившую ночную тишину, музыку. Она вся отдалась ей: мужские и женские голоса пели веселые, счастливые песни; звонкие скрипки с какою-то особенною яркою, так сказать, страстностью взлетывали и над этими голосами, и над гулким бегом троек, и над бубенцами и колокольчиками, сопровождавшими бег. Не заметила в своем очаровании Паша, как в улице показались сани; не заметила она также, как лихая пара остановилась и из саней выскочил закутанный мужчина.

— Паша, это ты? — окликнул подбежавший к девушке человек, откидывая воротник шубы, которым было закрыто его лицо.

— Павел Андреич! — проговорила девушка.

— Уж я и не думал, что увижу тебя сегодня: сколько раз я здесь проходил и все не видал. Поедем со мной!

— Нельзя, милый, — отвечала девушка, с нежностью глядя на молодого человека... — Поздно, бабенька с сестрой хватятся, — досказала девушка.

— Паша, неужели тебе не жаль меня! — сказал Нагоров. — Все ты от меня, ровно от чумы от какой, бегаешь. Ведь у меня только и утехи, что ты одна! Ежели ты меня не любишь, я, при матери своей, пропаду... Мне, кроме тебя, ничего на свете не мило.

— Господи! — простонала девушка. — Зачем ты мне такие слова говоришь? Ведь ты знаешь: я люблю тебя... Уходи, только поскорее, уходи отсюда! Видишь, у нас огонь; сестра, пожалуй, выдет.

А музыка, между тем, все близилась, — и вот она, на минуту было смолкнувшая, снова разлилась по улице и песней, людскими голосами и колокольчиками, и бубенцами, и наконец этими аханьями и присвистами запеваля, который пел:

Э-э-эх! Все бы я по светлице ходила!

И-ах! Все бы я с милым говорила!

— Поедем! — упрашивал Нагоров. — Вот хоть только разочек прокатимся по улице, — и кончено! Видишь, как люди веселятся...

Ох-х! Ты мой милый,
Мил-ый, не-наг-глядный!

продолжалась песня среди тихой ночи, вынимая, как говорится, душу из тех, кто еще не спал и слушал ее.

— Ну, поедем! — покорно согласилась девушка и в каком-то болезненном забытьи, дрожа и плача, села в сани.

— Трогай! — бойко вскрикнул Нагоров.

— Паша! Паша! — раздалось позади саней, но этот голос был заглушен новым криком Нагорова, обращенным к ямщику:

— Дел-лай! Жги! В кои-то веки погулять, как следует, довелось!..

Долго стояла Настя, следя за исчезнувшими вдали санями, и не знала, что делать. Она подумала и решила дожидаться сестры. Настя присела на скамейку, рассуждая:

«Что теперь думает бабенька? Скажет: послала посла, да за послом и сам поди. Да она, поди, уж не заснула ли»...

Несколько экипажей, крытых и открытых, выехали из переулка и повернули по улице, мимо старого домика. Сидевшие в экипажах шумели, кричали:

— Хочешь, я по приезде дюжину Клико ставлю!

— Эка невидаль! А я две дюжины редеру прикажу подать...

— Ты все врешь! Где ты возьмешь на редер-то? Отец тебе не даст!

— А я будто помимо отца не найду?

— Господа, стойте!

Экипажи остановились.

— Дамы желают музыку и песни! Эй, музыканты, певчие, начинай: «Время, мчися быстрее!»

Музыканты и певчие, сидевшие назади в двух широких пошевнях, человек по двенадцати в каждом, поспешили исполнить приказание.

«Вот жизнь-то богачам!» — невольно подумала Настя.

Экипажи снова тронулись, музыка заиграла и певчие запели.

— К Грачевым! Там мы вечерок чудесно прикончим, — командовал кто-то.

Время идет. А Настя все ждет и дремлет... И вдруг почудилось ей, что стрелой несутся по улице сани, снеж-

ные вихри вздымаются из-под копыт лошадей, — и слышится чей-то знакомый и нежный, страстно молящий голос:
— Милый, домой... Боюсь я... не загуби!..

*

Наступило утро; за тучами дыма, поднимающегося из фабричных труб, блеснули первые лучи солнца. Грохот станков, оханье и продолжительный свист паровиков на все село говорили, что святки нисколько не мешают деятельности местной индустрии, что работа на фабриках началась, и что одни только лентяи и пьяницы могут теперь валяться и спать. С колоколен раздавался благовест, по улицам тащились обозы с дровами, сеном; за ними и рядом с ними шли мужики, громко похлопывая обмерзлыми рукавицами; толпами спешили на свой промысел нищие, под окнами детские голоса звонко и нараспев выводили:

Ми-ло-сти-нку, ра-ди хри-ста-а!

Утро застало Петра Карпыча бодрствующим: первый рисовальщик нашей империи часа три как сидел уже за работой и быстро, один за другим, приводил к концу свои рисунки. Сальная свеча, при которой работал Груздев, нагорела до самого нельзя и не давала почти никакого света; косушка с водкой, бог весть где добытая в такую рань, осталась неприкосновенною и, казалось, тосковала от одиночества и людского равнодушия; огурцы и черный хлеб, местами закушенные, с упреком глядели на работавшего рисовальщика и только-что не говорили: что ж ты, закусил нас, да и бросил? Али ты брезгуешь нами?..

Петр Карпыч, весь отдавшийся цветочкам, корешкам и различным листочкам, моментально возникавшим из-под его кисти, был чужд не только огурцов и водки, но даже и всего в мире.

Не видал он, как подкралось утро и разлило по черным стенам избы свой бледно мерцающий свет; не слышал глухих стонов, доносившихся из той стороны, где лежал и ворочался хозяин — резчик Гаврило Иванов. Только тогда уже ласковый, полный любви и признательности взгляд рисовальщика упал на водку, когда он кончил последний рисунок, высосал до одной все кисти и вытер рукавом сюртука потный лоб.

— Ах, милая, не ушла,— все меня дожидалась! Сей-

час, теперь я свободен, — дружески говорил рисовальщик, подвигая к себе тосковавшую косушку. — Вот когда выпить хорошо, так уж хорошо!..

— Карпыч! Што ж ты? Меня ты позабыл?

— А-а! Проснулся... Чуток же ты, Гаврило!

Гаврило заспанный, с головой, похожей на овин, свесил ноги с голой, досчатой постели и упорно глядел на рюмку.

— Ну, пей што ли!

Сильно дрожащей рукою Гаврило взял рюмку, с трудом поднес ее к губам и страшно рассердился:

— Што же это такое? Разве у добрых людей бывают такие рюмки? Наливай другую!

Карпыч налил.

— Мала больно! Ничего до нутра не доходит, — уж мягче заговорил резчик, подставляя рюмку. — Ну-ка, может, с третьей-то не подействует ли...

Подействовала ли третья, или это само собой так сделалось, только Гаврило теперь другим человеком посмотрел вокруг себя; взглянул он на своего друга и улыбнулся; поглядел на рисунки, разбросанные по всему столу, тоже улыбнулся и потом весело, как бы поощряя кого-к дальнейшим хорошим подвигам, проговорил:

— Неужели всю ночь рисовал?

— Нет, — отвечал рисовальщик: — я это с пяти часов утра встал и нарисовал.

— Молодец! За это люблю... Ну, а я, брат, всю, ночь глаз не сомкнул.

— Ты? Глаз не сомкнул?

— Верно! Жену видел: все от нее бегал... Как она нас с тобою ругала, друг, — не приведи бог в другой раз слушать такое!.. «Вы обрадовались, говорит, пьяницы, што меня дома нет, так готовы весь дом пропить. Где, говорит, имущество?» Матушка, говорю, да ничего мы не тронули — все в сохранности. Погляди хорошенько, — все найдешь. «И слушать, говорит, не хочу». Заругалась! Ну, я не вытерпел, — ударил! Раз пяток зашиб здорово. Што же ты думаешь? Остервенилась баба, кинулась на меня: «рожу, кричит, всю исцарапаю». Думаю: плохо, ежели исцарапает, — завтра на завод нельзя будет показаться... Принялся от нее бежать, она за мной — и то, значит, я на нее налечу и задолею, то она на меня налетит и задолеет... Так мы, выходит, цельную ночь друг за другом и бегали...

— Это во сне-то?

— Какое во сне? Не спал, — на яву дело было! Отчего же я говорю: всю ночь глаз не смыкал?..

— Ну, ты и сейчас во сне, — сказал Петр Карпыч. — Поди к рукомойнику — умойся холодной водой. Освежает...

Посылая друга умыться, сам Петр Карпыч собирал свои рисунки и укладывал их в ситцевый платок.

— Ах, как голова трещит, — жаловался резчик: — хоть бы ты, Карпыч, посудину другую бы прикупил, поаккуратнее косушки, — полштоф, што ли! На завод я уж теперь не хожу... Пушай там «прогул» записывают... Да ты куда это собираешься?

— Нужно по делу сходить. Ты подожди, я скоро назад вернусь — и водки с собой прихвачу.

Гаврило поднял глаза, поглядел на друга и, заметив у него под мышкой рисунки, сразу сообразил, что Карпыч идет продавать их, — и потому он вдруг вскочил и бросился к своим худым сапогам.

— Гаврило! Ты оставайся дома. Я один схожу...

— Как же! Так я тебя одного и пустил!

Как ни уговаривал Петр Карпыч остаться друга дома, но тот не послушался.

— Ну, я совсем! — говорил резчик, напяливая на плеча рваное пальто. — Готов ли ты, Карпыч? Не задерживай!

— Да не ходи же, Гаврило!

— Нельзя мне не ходить! Ну, а ежели ты возьмешь какие деньги за рисунки и вдруг их потеряешь? Што тогда? А у меня, по крайности, все в полной сохранности будет... Так-то! Пойдем-ка!

Хотя в доме резчика, кроме черных гнилых стен и рыжих, но необыкновенно живых тараканов, ничего не было, тем не менее хозяин запер дверь на замок, а ключ осторожно положил в карман, то-и-дело нащупывая, действительно ли ключ попал в карман и не обронил ли он его как-нибудь на землю.

— Петр Карпыч, — заговорил дорогою резчик. — Не зайти ли нам опохмелиться? Благо кабак на пути — крюку не надо делать... А выпить теперича хоро по тебе, ах как хорошо! И в голове у тебя посветлеет, и с хозяевами смелей разговаривать станешь... Право, — зайдем!

Но Петр Карпыч не только не изъявил своего согласия на это предложение, но даже и слова не промолвил, шествуя к известной цели молча и сосредоточенно.

— Да вот и еще кабак! — не за одного себя, но и за Карпыча точно радовался Гаврило Иванов. — На наше счастье, как близко!.. Э-э-э! Да сколько вина-то, должно, свежего подвезли! Карпыч, взглянь на окошко!

Но Карпыч, чтобы не поддаться соблазну, отвернулся от искушителя и принялся считать окна одной фабрики. Он твердо решил не пить, пока не сбудет все рисунки.

— Петр Карпыч! Ведь мы уж прошли! — не унимался Гаврило. — Воротимся поскорее, покамест заведемнице недалеко от нас. Выпили бы по косушке, а там бы мы с тобой по науке, ч-чудесно!..

Слово «наука» заставило рисовальщика ответить спутнику.

— После, Гаврило, выпьем: а теперь у меня денег нет: двугривенный один только в жилетке и есть.

— А ну-ка, друг, скажи мне: отчего днем ни одной звездочки не видать? — полюбопытствовал узнать резчик. — Ты, ведь, надо думать, по своим наукам все это знаешь...

— Известно — знаю! — сказал Груздев. — Хочешь, ежели слушать, я тебе расскажу. Ну, слушай! В-видишь ли ты, братец ты мой...

— Говори, говори! — встрепенулся любознательный спутник. — Мне очень это занятно послушать... Глянь, друг Карпыч! Вон еще кабак... Забежим, выпьем по малой толике...

— Что ж? — покорно согласился ученый человек. — Зайдем, пожалуй!

Гаврило Иванов торжествовал: «наука» помогла ему склонить непреклонную волю ученого человека.

*

В то время, когда приятели скрылись за дверью штофной лавочки, в избе набойщика Никиты Безбрюхова происходила следующая сцена: сам Безбрюхов, человек еще не совсем старый, но худой и болезненно-желтый, сидел в тупе на лавке.

Жена подбирала с полу щепки и подбрасывала их в топившуюся печь. Сын Александр Никитич, опустивши

голову, стоял у печки и слушал рассыльного, который пришел к Безбрюхову от сельского старосты за оброком.

— Как хошь, Никита Антипыч, а староста мне не велел от тебя с пустыми руками ходить. Подавай оброк!

— Да ведь я тебе говорю, что у меня ни копейки нет, — отвечал Безбрюхов. — Сам я больше не работник: все хвораю; сын без места...

— Да это што? — отзывается рассыльный. — Староста-то, вон он прямо говорит: на праздник не заплатил, — пуцай же, говорит, после праздника платит. Какой же хрестьянин, коли он оброку не платит? Ты уж, Никита Антипыч, не введи меня понапрасну в слово: заплати, сколько, значит, хватит силы-мочи... Незадаром я, покрайности, прошастал к тебе...

— Да нету ничего! Вот перед господом-богом!.. Святые иконы видишь? Не солгу перед ними: ей же богу, ничуть ничего нет...

Рассыльный постоял немного, поглядел как-то безнадежно по сторонам и сказал:

— Ну, уж, ежели так — бог с тобой! Собирайся, коли на то пошло, в правление, Никита Антипыч! Староста мне велел, ежели ты, будем говорить к примеру, в оброк ничего не дашь, взять тебя и к нему представить. Возьми, говорит, его под руку и представь ко мне налицо. Видно, делать-то нечего: подем!

В глазах старика блеснула в это время не то искра, не то слеза, и он, упершись об лавку обеими руками, стал медленно и осторожно поднимается на ноги.

— Христос с тобой, Никита Антипыч! Куда ты этакой пойдешь? — с плачем говорила жена, бросая печку и подходя к больному мужу. — Ты погляди на себя: какой ты ходок?

— Надо, Семеновна! Начальство требует...

— Сиди, батюшка! Я за тебя схожу, — сказал Александр Никитич.

— Нет, Саша! Уж лучше же я как-нибудь сам добреду... Куда тебе с этих пор по начальству ходить? Придет еще время — находишься... О-о-х, господи! Помогите мне на ноги встать...

Но Александр не дал отцу итти в правление и отправился сам к старосте.

— Ах, отец, чего бы там не случилось с малым? — тревожилась по уходе сына мать, с беспокойством погля-

дывая на мужа, который попрежнему сидел на лавке и печально поглядывал на замерзшие стекла.

— Чего случится? Ноге не те времена, — сказал старик, видимо стараясь успокоить жену. — Без причины обижать не станут. Ничего, — ты за него не опасайся!

Старик замолчал. Погодя, он поднял голову и спросил:

— Семеновна! Будет нам ноне поесть чего?

— Ох, Никита Антипыч, — отвечала жена: — только и есть одно варево: купоросные щи да хлеб, а опричь никакого кушанья нетути.

— Ну, што же ты жалуешься? Слава богу — пищи на день есть. Чего ж тебе еще надобно?

Но баба не вытерпела и завывала.

— Ах, батюшка ты мой, Никита Антипыч! Да ведь, чай, у тебя, у роднова, вся внутренность от этих щей прогнила. Глянь-ко: на кого ты стал похож! Краше в гроб кладут...

— Дома хозяева? — раздался веселый голос — и в избу влетел никто другой, как сам Петр Карпыч, первый рисовальщик во всей русской империи.

— Никита Антипыч! Как ваше здоровье? — осведомлялся Груздев, молодцевато подходя к старику.

— Да все нет лучше, Петр Карпыч! — отвечал больной. — Все в одном положении...

— Жаль! Даже очень жаль! А где сынок?

— Пошел за меня в правление: за obroком присылали...

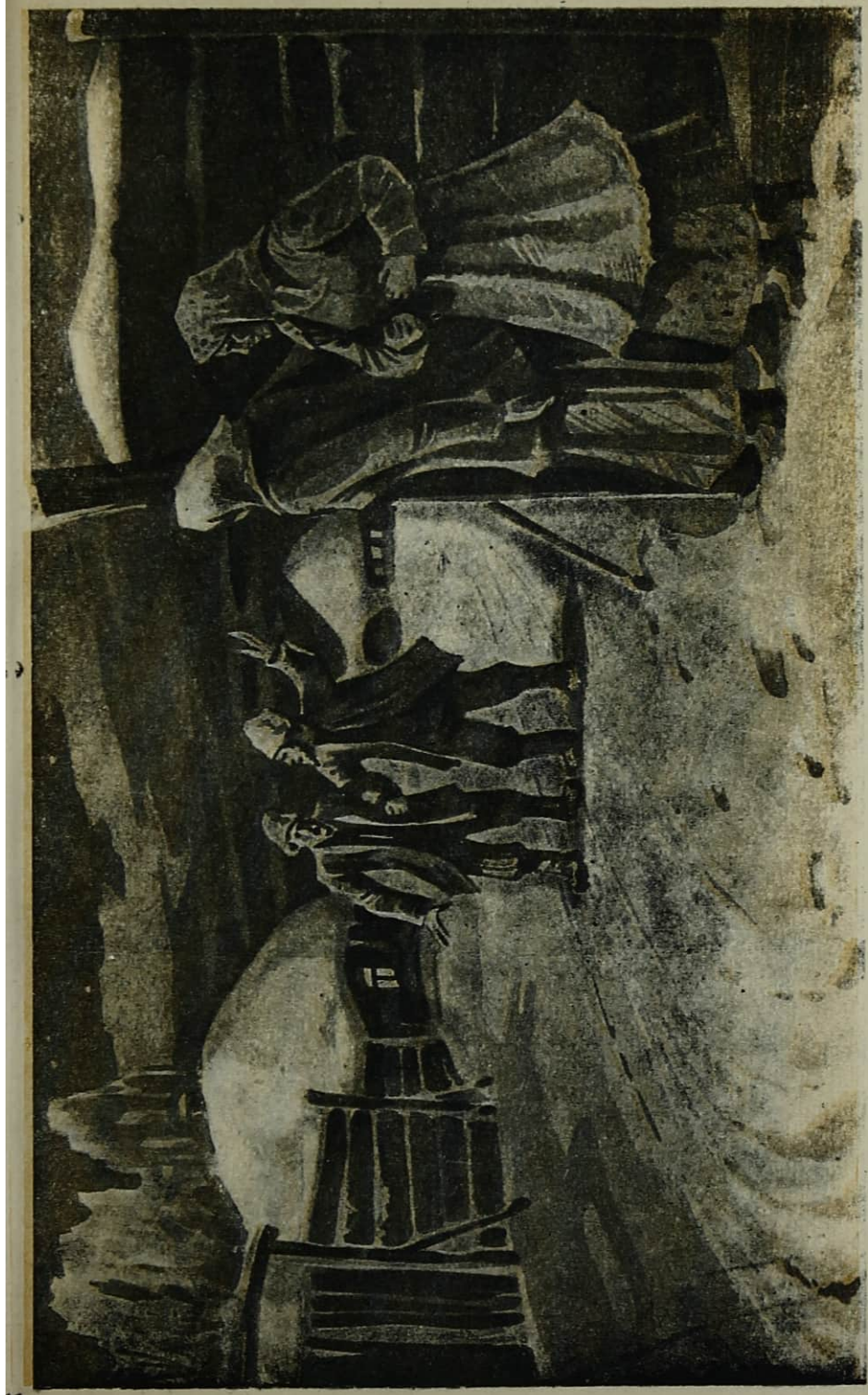
— А-а! Понимаю...

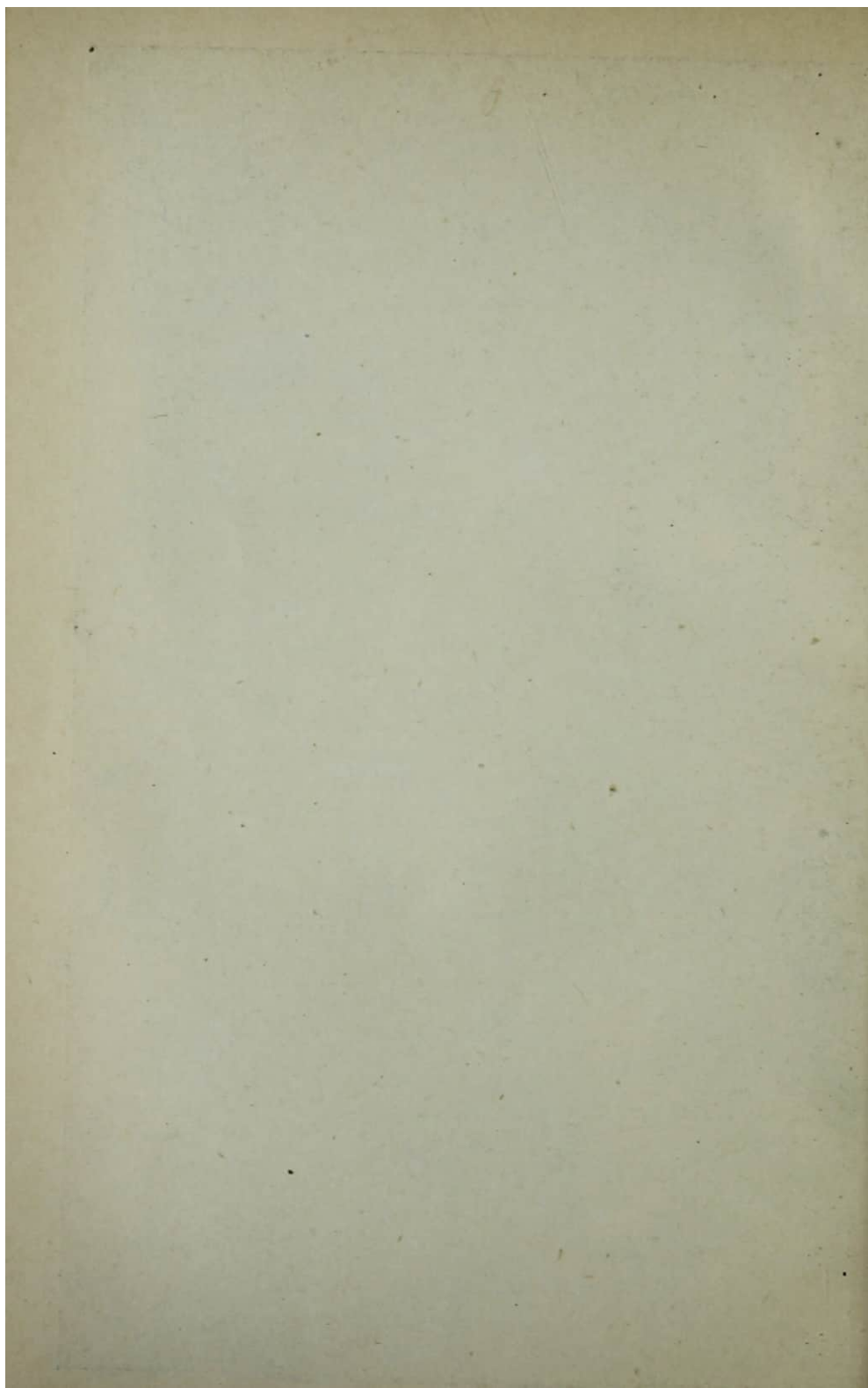
Затем Груздев посидел минуты с две и простился.

— Выздоровливайте, Никита Антипыч, — говорил он на прощанье. — Побываю опять как-нибудь... Понаведаюсь, в случае чего ежели — боже избави!.. Авдотья Семеновна! Проводите меня двором, — сделайте милость: я ужасно собак боюсь!

Собак на дворе Никиты ни теперь, ни прежде не было, и Авдотья Семеновна очень хорошо знала про это обстоятельство, но тем не менее она все-таки вышла проводить рисовальщика. Едва она вышла за дверь и очутилась с ним одна, как Петр Карпыч сунул ей в руку бумажку и наскоро проговорил:

— Сделайте милость, Авдотья Семеновна, извините... Не говорите только сыну и старику. Известно: малость; но там опять как-нибудь... С течением времени... Ежели, то-есть не «накатит» на меня... то-есть ежели не запью...





Старуха крестилась, глядя вслед удалявшемуся «риовале», и вытирала слезы грязным рукавом своей рубахи.

Гарька ожидал друга на улице.

— Ну што, отдал? — встретил он Груздева. — Моты, брат Карпыч, мот! — упрекал Гарька рисовальщика. — Отдал деньги и сам не при чем остался, — удивенье! Курам — смех! Да што они тебе, сродственники лизкие, што ли?

— Гаря, молчи! Ничего ты в этом деле не смыслишь.

— Где смыслить? Ты один во всем много понимаешь! Адно, што я еще тут прилучился, ато бы ты так с пустым карманом и домой пошел. Я думаю: способнее намги деньги пропить, чем так, зря бросать.

— Гаврило! Я с тобой раздружусь! — постращал ривальщик.

— Толкуй там: раздружусь! Я тебе дело говорю. Даром денег бросать не следует, — на земле монетки одной е поднимешь. Ты вот хотел сегодня за свои манеры расную бумажку взять, а тебе дали всего шесть...

— Ну!

— Ты не нукай! Я говорю: не след деньги на ветер росать. Легко што ли они нам с тобою достаются?

Петр Карпыч чему-то засмеялся.

— Нечего, брат, зубы-то скалить, — не унимался гарька. — Трех-то целковых нет в кармане.

Неизвестно, долго ли бы еще резчик продолжал свой опот на мотовство друга, если бы рисовальщик не сделал ему такого предложения:

— Гаря! Зайдем в трактир закусить.

— Ой-ли! Н-ну, ежели так, я тебя, Карпыч, продаю! — сказал Гарька, махнув рукою. — Куда ни шло! Любежим скорее, — я уж порядком продрог.

После такого решения, приятели так стремительно двинулись, что чуть не сбили с ног двух женщин, стоявших на улице и о чем-то между собою судачивших.

— Выворотневы дети! Што вы на живых людей лезете? Не видите разе? — закричала одна из женщин.

— Да ты взглянь: это ведь Карпыч с резчиком гарькою. В кабак, должно, норовят. Их теперича от кабака-то дремучими лесами не загородишь, не токма двумя бабами. Уж тут нечего браниться, потому — разе они теперь чувствуют себя?

— Да, они теперь, как истуканы какие — и глухи, и

слепы. Ничего, кроме своего винаща, не видят и не слышат...

Этим вечером дошли до Петра Карпыча слухи, что Александр Никитич находится в «черной», куда засадил его староста за неплатеж оброка.

На Петра Карпыча по этому случаю «накатило».

*

Вечер под новый год...

По селу везде идут гаданья; мимо окон то-и-дело снуют женские фигуры и улицы время от времени оглашаются молодым, девичьим смехом. Трактиры полны ряжеными и посетителями, особенно «Коммерческий», где Павел Андреич Нагоров давал с своими товарищами новое представление: «Могила Марии, или притон под Москвою». Все шумит, поет и пляшет. Контрабас с барабаном положительно из себя выходят. Внимательно прислушиваясь к этому разливу святочной жизни, слышишь, как из-за взрывов бешеного веселья вдруг раздадутся вопли и глухие рыдания, чудятся какие-то болезненные, глубоко страдающие стоны и в самые уши назойливо набираются странные звуки, гремящие каким-то злобным недовольством на что-то, словно бы эта, всегда мертвая, даниловская жизнь злилась и проклинала свои непривычные и потому буйные радости...

— Друг, Петр Карпыч, уйдем! — тащил из кабака своего друга резчик Гаврило. — Довольно с тебя, будет! Способнее нам теперича ко двору. Пойдем! Отдохнем первый сорт. Жены нет еще, — ругать нас некому будет...

— Экой ты, братец, какой человек несуразный, — перебивал речь Гаврилы кто-то из фабричных, заседавших в увеселительном заведении. — Ну што привязался к рисовале? Не трожь его! Видишь, он хочет нам рацею рассказывать. Ну-ка, милая душа, распотешь нас: отколи нам што-нибудь по-ученому!

— Дело! Валяй, рисовало, валяй! — подхватила вся компания.

Груздев, совершенно уже пропившийся и едва прикрытый каким-то грязным рваньем, отчаянно порывался высвободиться из рук Гарьки и порывался к стойке.

— Не пойду, прочь! — кричал рисовальщик. — Все вы мерзавцы, и никого из вас я знать не хочу; потому

у меня в голове настоящий ум, а у вас старые подошвы. Иван Максимыч, слышь? Дай водки, — заплачу!

— Ей богу, не надо! — уговаривал резчик. — Будет... ну, право будет! Вот и он то же тебе скажет, — ссылался Гаврило на угрюмого ткача, который, подобно темной, осенней ночи, безучастно стоял подле приятелей и сердито озирался кругом.

— Панкрат! — быстро повернулся рисовальщик к ткачу. — Ты здесь? Давай пить, брат! На мне еще, слава богу, рубаха цела... Прошьем!.. Максимыч, подай полштоф!.. Ситцевая, друг, рубаха, новая, перед праздником племянницы сшили...

— Завтра пожалуйста! С моим большим удовольствием цельный штоф подам, — отвечал целовальник с добрейшею улыбкою. — Сегодня для вас больше не требуется. Вполне улагодворены!

— Разбойник! Требуется, ежели я у тебя прошу! Да пусти же меня, — рванулся вдруг из рук приятеля Груздев. — Убью тебя, мошенника! — закричал он, бросаясь на целовальника.

— Так ты этак-то нонче? — тихо сказал кабатчик. — А вот это ты видел? — и за последним словом раздалась громкая оплеуха.

— Вон!

— Ах, уйдем! Ах, уйдем поскорее! — торопил резчик. — Видишь: народ-то какой! Никакой у него сноровки нет: прямо в висок!.. Грех, Иван Максимыч, слабого человека так обижать! Грех!..

— Уходите до греха! — грозил кабатчик. — Вот сотских позову — напляшетесь вдоволь...

— Н-не-ет! Я не пойду. — начал было Груздев. Но тут уже на помощь резчику подоспел ткач, и общими силами они потащили домой буянливого рисовалу.

— Куда вы меня, дьяволы, тащите? — громким, но пьяным голосом кричал Петр Карпыч. — Жена!.. Саша, друг! Александр Никитич, защити! Ты знаешь, как я тебя полюбил!.. Дай и мне помощь! На Гаврилу не надеюсь: шалопут человек и пьяница; но на тебя!.. Беги к Панкрату ткачу!.. Втроем как-нибудь отбитаемся! Все у меня нутро огнем, дайте винца, Христа ради!

— Вот так рисовало! На разные голоса заиграл, — смеялись в кабаке фабричные, провожая глазами Груздева.

— Оказия, братцы, как сегодня Груздев развоевался!

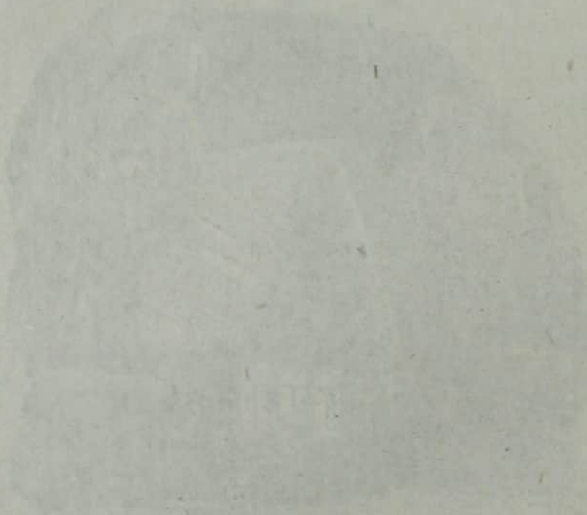
- Все это от высоких наук!..
- А! Пропади они пропадом, эти науки!.. От них-то вот и машины-то эти на фабриках завелись...
- Известно от них! Вот Груздев-то, без наук-то ежели, какой бы человек был!.. Цены б ему не было!.. А теперь пропащий совсем!..
- Дело ведомое, пропащий!.. Куда ж он теперича годен?.. На што?..



ДЕВИЧНИК



ALBERT H. BROWN





НАСТОЯЩИМ городом глядит село Бубново. Еще где, верст за семь, в летнее время, увидишь его высокие колокольни с уходящими в самое небо крестами и золотые главы церквей, которые сияют и блещут тысячами огней. — «Ну, какое же это село?» — спрашиваешь себя невольно, с изумлением глядя на сверкающую впереди даль. — «А это самое и есть Бубново, — отвечает ямщик, услышавший вопрос седока. — Важное село, — продолжает ямщик: — как есть город! Одни главы на церквях чего стоят — вишь, ровно жар юни горят! Вот что значит купечество-то: это все они усердствуют! Благодетели!» Едешь дальше. Вот, одна за другой, стали показываться высокие трубы, забелелись церкви и колокольни, выглянули фабрики, заводы и, наконец, перед глазами открылось все село.

На четырех-пяти верстах залегло село Бубново, состоящее из почерневших деревянных строений с тесовыми и соломенными крышами; из-за них кой-где выставляются каменные здания; отдельно, в виде маленьких городков, стоят красивые фабрики, такие высокие и приветливые, а над всем этим гордо высятся храмы божии, все в золоте, серебре и сиянии... Глаз перебегает с одного предмета на другой; чувства, одно другому противоположные, беспрепятственно сменяются, и не заметишь, как тройка, под сильным влиянием ямщика, мечтающего о получении «на чаек», вихрем внесет в село и ты очутишься среди широкой улицы, по которой движутся человеческие фигуры и со всех сторон бегут голодные собаки, с громким лаем накидываясь на лошадей. Тут уж вполне убедишься, что приехал в село Бубново, знаменитое своими мануфактурными изделиями и обширной торговлей. Видишь большой каменный дом, принадлежащий фабриканту; рядом с ним прилепилась крестьянская избушка, вся черная, точно в саже, и покачнувшись набок; там какая-нибудь фабрика; тут высовывается кабак, над гостеприимными дверями которо-

го смиренная надпись гласит: «с печали и с огорченьев», а там целый ряд ветхих крестьянских изб; потом опять каменные палаты и т. д.

Таково знаменитое село Бубново.

Всею блеском, всею славою Бубново обязано местным купцам и фабрикантам. Благодаря капиталам, бубновское население, простирающееся до семнадцати тысяч мужского и женского пола, не включая сюда детей, получает ежедневно пропитание и возможность жить... Купцы сознают это и говорят: «Мы благодетельствуем. Что бы стал делать рабочий народ, если бы не мы? Умер бы с голода! Опять нищих сколько: их тоже надо оделить... Ну, да наша добродетель не пропадет даром: господь нас не оставит ни в настоящей, ни в будущей жизни». И бог не оставляет купцов. Богатство их с каждым годом растет; сами они не по дням, а по часам раздаются во все стороны и приобретают великую красоту лица, а о супругах их и говорить уж нечего: они положительно могут быть уподоблены тучным коровам фараона...

Нельзя, однако, ничего подобного сказать о народе, рабочих людях. Это все бедняки, перебивающиеся изо дня в день, худые и тощие, как замороженные лошади; вид их так же убог и жалок, как и тех домишек, в которых они живут и переносят зимою стужу и голод. Но при всей гнетущей бедности рабочее население Бубнова увеличивается: каждый год то и знай плодятся ребятишки.

Неудивительно после этого, что в селе много молодого народу. А где есть молодой народ, там, хотя изредка, сквозь суровую пелену действительности, пробьется наружу и светлый луч радости. Нужда могущественна, но и юность также могущественна. Что устоит прогив юности? Бодрая, здоровая, смело идет она навстречу нужде, завязывает с нею борьбу, выносит все удары и бьется до тех пор, пока не добьется у жизни того, чего хочет, или, истратив все силы в неравной борьбе, падает уничтоженной в прах... Юность везде одинакова, везде похожа на себя; она та же и в Бубнове.

Вот почему бубновская молодежь, несмотря на бедность и всякие неудобства жизненные, глядит прямо в лицо неприветливой судьбе своей и смеется, хохочет, когда другие плачут и скрежещут зубами.

Как только пройдет неделя трудовой жизни и наступает праздник, молодой народ спешит уж отдаться своим

любимым удовольствиям и забавам. Больше всего молодежь любит девичники. Девичник поднимает на ноги все село. С вечера и вплоть до заутрени по селу ходят гуляки; раздается говор; смех и песня не смолкают во всю ночь, пока не окончится девичник и не разойдутся все по домам или прямо на фабрики.

Воскресенье. Зимний день пролетел незаметно; наступили сумерки. Купчихи, закрывши свои лица дорогими муфтами, начали разъезжаться с катанья по домам; купеческие сынки едут кто на стучолку, кто выпить и провести в свое удовольствие время, а кто и сам не знает куда — лишь бы только не домой да подальше от надзора родительского. Со всех улиц, которые за несколько минут до этого были оживлены праздничным людом, сидевшим и стоявшим за воротами домов, все поушли и забились в тепло; во всем селе настает какое-то затишье. Разве где еще только малые ребятенки, позабывши за своими веселыми играми родную печь, вдруг подадут голос.

Но вот мало-по-малу зажигаются огни, начиная с высоких, каменных домов богачей и кончая низенькой избушкой мужика. За воротами, на дворе, поднимаются говор и смех. Опять вырывается на улицу жизнь. Вот уж кто-то и песню заводит:

На горе-то, мой миленький, калина!

А что ж кому дело, калина!

Ну, какое кому дело, калина!

— Обменок! — раздается из-за песни сердитый девичий голос.

— Душечка! — отвечает ласковый, но уж не девичий голос...

— Ладно, душечка. Проваливай дальше!..

Новая песня покрывает оба голоса:

Сидел Ваня на диване,
Стакан рому наливал;
Не наливши полстакана,
Сам за Катенькой послал...

Песня еще стоит над улицей, а там слышны новые голоса.

— Да где девичник-от?

— У Аяны Максимовой. Говорят, больно уж она много к себе девок созывала...

— Именинница, што ли, она, али так делает вечер?

— Надо полагать, так. Нонче ведь выгодно делать эти девичники: холостые помногу дарят.

— Ишь, она какая! Поглядим, што у ней за девичник!

Парни, девки, молодые и пожилые бабы гурьбами несутся на девичник.

Перед одной избой, окна которой освещены ярче соседних, толпится народ; свет из окон так и бьет, так и разливается через всю улицу. Под ногами у взрослых шмыгают ребятишки, гоняясь друг за другом и мимоходом задевая больших. На подоконниках висят парни и девки. Слышны голоса и смех. Из калитки выходит закутанная женщина.

— Што, собрались, што ли девки-то? — спрашивает у ней другая и тоже закутанная.

— Нет еще. Не ходи. Погодя лучше сходим, а теперетка и глядеть-то не на што, — отвечает первая.

— Врет она, тетушка! — кричит подбегающий к ним мальчуган и хватает одну за конец платья. — Поди!..

— Ах ты, оторва! — Обижается та. — Велик ли, от брюха с перст, а туда же за подол хватает!

Вслед за этим оторва чувствует здоровый подзатыльник.

— Ишь ты, какая! — протягивает он плаксиво и бежит прочь, чтобы задать «киселя» одной девке, засмотревшейся в окно избы.

— Отябель! — вскрикивает девка.

Отябель, довольный успехом, ускользает в толпу; но при этом получает множество пинков и внушительных затрещин.

— Глянь-ка, Арина, и Домна косяя тут сидит! — говорит одна зрительница у подоконника.

— Где, где? — спрашивает Арина, торопливо протирая рукавом пальто запотевшее стекло. — Ах, иго, девонька, сидит! Ну-тка, ну-тка узорочье глиняное! Уселась, да и сидит! Ведь и не стыдно с такой-то рожей на девичник ходит!

— Што ж вы, Арина Савельевна, надсмехаетесь над Домной Сидоровной, — находит не лишним присоединиться к разговору молодой фабричный, долго поглядывавший на подруг. — Домна Сидоровна как есть барышня настоящая сидит. Только, значит, у ней один глазок в Москву

глядит, а другой в Арзамас; да эфто красы еще ей больше придает.

— Ах ты скесов сын!¹ — вскрикивает одобрительно девица и промко смеется.

У ворот избы, куда почти не достигает оконный свет, жмутся закутанные фигуры. Между ними идет сдержанный разговор.

— Увидим, кто станет приходить.

— Она беспрременно придет: ее звали. Ну, ежели я увижу, што она с парнями будет лобызаться, — острамлю, сейчас умереть, острамлю...

— Так ее, сволочь, и надобно хорошенько!

А с дороги, вместе с приближающеюся толпою новых гуляк, неслась и песня:

Наливай вина осьмуху;
Набирайся его духу...
Мы ударим Сашу в ухо,
Целовальника прибьем,
Домой пьяные пойдем...
— Эх, гуляй наши во всю ночь!

К воротам подошла девушка, покрытая платочком и в легкой тальме на плечах. Ее сопровождала женщина в тулупе.

— Погоди! — сказал тулуп, дернув девушку за платье. — Ототкни-ка платье, я одерну!

Девушка остановилась и опустила подобранные концы платья.

— Теперича хорошо, — сказал через минуту тулуп: — юбок не видать и сидит ровно. Подымай щеколду-то!

Девушка взялась было за кольцо в калитке, но тулуп снова ее дернул.

— Слушай, Агафья! Ты у меня сиди тихо! По верхам глаз не пяль и с парнями целоваться не моги!.. Слышишь ли, што я тебе говорю?

— Ладно, мамонька, — тихо отвечала девушка.

— Гм! гм! — начали откашливаться у ворот.

Мать и дочь вступили за калитку, но раздавшийся у ворот кашель заставил первую вернуться. Она выглянула и энергично потрясла кулаком, после чего калитка быстро захлопнулась и скрыла от любопытных взоров обеих женщин.

¹ Скес — дьявол, но низшего чина. — *Прим. автора.*

Не без хлопот и не без горя было с девичником Анне Максимовне. Еще дня за два, как только задумала, начала она готовиться к этому празднику. Вынесла из переднего угла самолет¹ с недотканной штукой миткаля, чисто-чисто вымыла в избе пол, тертым кирпичом вычистила медные ризы на образах, повесила на окнах белые занавесочки с бахромкою и раз пять сбегала в лавку купца Самохвалова, где закупила на два рубля с половиной чаю, сахару, конфет и разных принадлежностей для десерта. Досталось и Гаврилихе, ее матери, с утра и до вечера бегавшей по селу созывать молодцов и девиц.

— Ну, матушка, измучилась уж я! — насилу перевела дух Гаврилиха, входя в избу и тяжело опускаясь на лавку.

— А я сейчас, мамонька, самоварчик поставлю, — торопливо проговорила дочь, кидаясь за перегородку, где стоял на полу только-что вычищенный и ярко светившийся самовар.

— Поставь, Аннушка, поставь! И усталось-то — мочи нет, и озяблось-то больно... Ах, годы-годы!.. Кланяются тебе все, обещают быть!

— Обещали?

— Обещали...

— Все.

— Все... Только прикащика дочь да писарева сперва полюбопытствовали: кто будет из холостых? Говорю: много созывали, все придут. «А кто же, например?» — спрашивает прикащикова дочь. Говорю: такой-то, мол, и такой-то... Ух, да погоди... никак еще не отдохну!.. После все расскажу. — Скоро на столе зашумел самовар, полилась вода в желтый чайник и застучали две разнокалиберные чашки, из коих одна была в трех местах склеена.

— Хорошо теперича, Анюша, чайку испить, — заговорила Гаврилиха, усаживаясь около самовара и подвигая к себе налитую чашку. — Господи, благослови!.. Экой чай превкусный! Где ты это покупала?

— Вестимо, у Самохвалова. Говорил: чай первый сорт, только што из Москвы десять ящиков получил. Поверила его слову, на два двугривенных купила.

— Много больно; ты бы поменьше... Поди, и так, ведь, денег нивесть што изошло на всякую всячину!

¹ Ручной ткацкий станок. — Прим. автора.

— Што делать, мамонька, надо: без чего нельзя, так нельзя... Однако у меня из трех целковых, што Мухин под заклад мово салопа дал, полтинник еще остался... А какая у этого Мухина душа ненасытная: за три дня целковый одного проценту взял.

— Захотела ты у ростовщика души искать: давно, по-ди, нечистый взял ее, голубушку, а вместо ее, душеньки-то, сам там засел да и сидит теперича! Оттого эти ростовщики и грабят так православных.

— Должно так, правда. Да завтра, бог милостив, все воротим, еще и за хлопоты перепадет, што нито!.. Холостые придут хорошие... Так што же ты даве, мамонька, про дочь прикащика засказала? О ком она спрашивала?

— А вот и стану рассказывать. Обе они любопытничали: кто из кавалеров будет на девичнике — они ведь девицы нынешнего света, образованные, говорят по-модному: кавалеры, а не просто: холостые. Говорю им: тот-то и тот-то. «Ну, а кто же, например?» — дочь-то прикащика у меня спрашивает. Говорю: слесарь рылинский Мокей Иванович, резчик Зубцова Андрей Тихоныч... «Это, — перебивает меня, — кавалеры для нас не антиресные, а опричь их кто будет? Прикащик братьев Рылиных будет?» — Как же, говорю, и его звали, и друга-то, што по письменной части, товарища его, и того звали, и половича звали. Все обещали. — «В таком случае, — говорит, — я могу быть у вас на вечере. Кланяйтесь Анне Максимовне!»

— Так, она без Алексея Николаича дышать не может! — заметила дочь.

— Это и видно, — согласилась мать. — А писарева дочь поповича желает...

— Так, так: это ее предмет!

— Уж и девка она: сперва повыспрошала о других парнях, а подконец, как словно невзначай, и про него спросила: не приглашали ли вы, говорит, и поповича? — только она назвала его не так, не поповичем, а по-другому как-то...

— Студентом?

— Похоже нешто, не помню хорошо. — Поповича? — спрашиваю. — Как же, говорю, звали и его, и рылинского прикащика, и того, што по письменной... И договорить не дала. «Надеюсь, — говорит, — што мамаша освободит меня. Кланяйтесь Анне Максимовне, беспременно постараюсь

быть на вашем вечере». Эх, подумаешь, какие обе они полированные.

— Еще бы! — сказала дочь. — Кому же и полированным-то быть, как не им да купеческим дочерям? В одном питье да сладкой еде весь божий день проходит, а работы, опричь што в пальцах пошьют никакой не знают. Сиди да книжки читай!

— Што и говорить: райская их жизнь! — позавидовала Гаврилиха.

— Не зажечь ли, Анюша, свечку? Темно уж стало.

— Зажги, мамонька! А прикашики ничего не спрашивали?

— Как же! А те про девок расспрашивали. Говорю: всех красавиц позвала. — «Ну, — говорят, — это ты хорошо сделала, што красавиц позвала, ато мы дурных-то не очень жалует...» Особливо этот рыльинский-то, Алексей Николанч, больно врать здоров, в такие разговоры пустился, што инды меня стыд взял. «Ах ты, — говорит, — старушка божий дар! Надо бы, — говорит, — тебе женишка хорошего сыскать, ато Власыч-то твой, по кабакам сидючи, никуда негоден стал...» — да и пошел врать, и пошел. Говорю: прощайте. А он: «погоди, Гаврилиха, погоди, еще не то будет!» Другой, его товарищ, што по письменной части, сидит да только усики покручивает — видно тоже и ему совестно; а тот знай врет... «Ведь ты — говорит — Гаврилиха поди хлеб ешь, так...» Ну, говорю тебе, заврал просто, со стыда чуть не сгорела.

Дочь засмеялась.

— Веселого характера человек, — похвалила она прикащика. — Любит пошутить! Зато и сохнут как по нем все!

Дверь скрипнула и быстро отворилась, при чем в избу волной хлынула струя холодного воздуха, и на пороге показалась высокая мужская фигура в коротеньком тулупчике и валенках. Это был сам хозяин дома, набойщик Максим Власыч.

— Затвори, затвори скорее! — крикнула ему жена: — ишь какую стужу на всю избу напустил!

— На дворе холодно, — сказал муж, плотно притворяя за собою дверь. Он сбросил тулупишко, стащил с ног валенки и вместе с портянками забросил все на печь, где сохли пустые горшки.

— А ты бы на полати тулуп-от, ато на печи ему жарко

будет, — предостерегала Гаврилиха: — пожалуй, как раз и сволочет.

Не бойсь, не такие у нас тулупы, штобы от печи им вред какой приключался, — успокоил жену Максим Власыч, босиком переступая к столу: — хошь всю жисть он там пролежи, ни за што не сволочет.

Максим Власыч сел на лавку и принялся разглядывать убранство избы.

Мать и дочь продолжали распивать чай.

— Как прибрались к девичнику, ровно к светлому дню, — заговорил погодя Максим Власыч. — Чай, ради такого праздника, поднесут мне водочки?

— Известно, холостые тебя завтра угостят, — отвечала дочь. — Не хочешь ли ты, тятенька, с нами чашку чаю выпить?

— Признаться сказать, до чаю я небольшой охотник — пользы от него себе не вижу; а вот если бы ты, дочка, отцу малость какую водочки теперича купила — спасибо бы тебе большое сказал! Купишь, Аннушка?

— Нельзя ли до завтра, тятенька, водку-то эту оставить?

— Ни-ни! Сегодня не в пример лучше! — воскликнул родитель; но, тотчас же опомнившись, продолжал слабым и болезненным голосом: — я, сказать по правде, маленчко не постерегся давича; как теплый вышел с завода, так, почитай, до самой нашей улицы и шел не запахнувшись; ну и продрог, теперича в озноб кидает...

— Так напейся поскорее теплого, и пройдет, — советовала жена. — Я тоже не мало сегодня зябла, ходючи весь день, да как напилась чаю, все разом и прошло.

Муж нето с укором, нето с презрением посмотрел на жену и сказал:

— Прировняла ты себя! Нешто мужик одно с бабой? Эх ты!.. Известно, баба... Да што с тобой говорить: слова только понапрасну терять!.. Аннушка! — обратился он с нежностью к дочери: — ты, може, думаешь, што Федюшка еще не бывал, а я в знобу-то эвтом, так сходить будет не кому? Ты не сомневайся, я накину тулупишко и живой рукой сам оберну... Дай, милая!.. Я и просить не стал бы, да чувствую, зноб-от все больше в меня вступает, так по всему телу и расходится.

Анна Максимовна хорошо знала о болезни отца. Всякий раз, как Максим Власыч чувствовал неотразимую по-

требность выпить, — а это случалось с ним довольно часто, он выдумывал какую-нибудь болезнь и просил у дочери гривенничек или пятак, говоря, что водка ему помогает лучше всякого лекарства. Сперва дочь верила родительским недугам и отдавала последние, заработанные ею гроши; потом скоро увидела, что никакой особенной болезни у отца нет, что болезнь у него одна — беспрестанное хождение в кабак, и пробовала не давать денег. Тогда родитель, после долгих просьб и молений, от кротости и смирения переходил к лютости дикого зверя и производил великий шум, кончавшийся всегда избиением младших членов семейства и похищением какой-нибудь вещи из домашнего хозяйства.

Дочь и теперь понимала, какая болезнь у отца, и знала, к чему бы повел отказ с ее стороны; к этому присоединилась мысль о завтрашнем девичнике, которому родитель, в случае нерасположения, мог сильно напакостить. Вынула она из кармана платок и развязала узелок, в котором хранилась оставшаяся от покупок мелочь.

— Только, пожалуйста, не напейся, тятенька, — сказала Анна Максимовна, подавая отцу гривенник. — Ты одно помни: ведь завтра у меня девичник!

— Не беспокойся, в лучшем виде будем! — обнадежил Максим Власыч. — Это ты што дала: гривенничек? Ну, што бы тебе, милая, двугривенничек хворому дать. Заслужу завтра!

— А ты имей хоть сколько-нибудь в сердце жалости, Власыч! — сказала жена: — ведь она тебе дочь! Какие у ней недостатки, штобы тебе давать на пропой двугривенные? Бесчувственный!

— Ну, бог с вами! — сказал Максим Власыч и направился к печи. Он не настаивал много на прибавке, потому что еще раньше, когда раздевался, заприметил на голбце дочернины башмаки, которыми и положил непременно воспользоваться, как только представится удобный случай уйти со двора. Надев валенки, он стащил тулупишко и по дороге ловко захватил башмаки; затем напялил на голову шапку и проворно вышел.

— Господи, когда он пить перестанет! — со вздохом проговорила дочь.

Мать сомнительно покачала головой.

— Перестанет! Где уж ему перестать, коли вот двадцать пять годов, как я за ним живу, недели одной не про-

ходило, чтобы он не напивался! Видно, с тем и в гроб сойдет.

Через час пришел Федюшка, мальчик лет одиннадцати, и сказал, что был в кабаке, куда бегал за водкой для своего набойщика, и видел там отца, который велел сказать, чтобы его к ужину не ждали.

На другой день, в воскресенье, мать и дочь хлопотали насчет сладкого пирога. Пирог был круглый и величины непомерной, так что одной начинки требовалось, по крайней мере, фунтов пять.

— А ведь не станет изюму-то, — говорила Анна Максимовна, размазывая деревянной ложкой по всему пирогу сладкую начинку: — надо бы поболее купить.

— Ну, добро, и не больно густо съедят! — сказала мать.

Между тем, как за перегородкой возились с пирогом, Максим Власьич сидел у окна и не знал, на какие ему хитрости подняться, чтобы выманить у Аннушки на похмелье.

Долго он думал, по временам даже вздыхал и охал, но голова его, после вчерашней питвы, до того была тяжела и неизобретательна, что в продолжение целого часа он ничего не мог выдумать.

— Что ж вы там ворочаетесь, — заговорил он сердито, обращая речь к перегородке: — пора бы, чай, вспомнить про отца! Поди, мне давно выпить хочется!

Но за перегородкой притворились, что не слышат, и говорили о другом.

— Ты, мамонька, сажай пирог без меня, а сама я схожу к Александре Васильевне попросить на ужо столика да подсвечника....

— Поди, поди. Я и одна управлюсь.

— Вам я говорю, али нет? — возгласил снова родителю.

Дочь покрывалась платком и отыскивала башмаки.

— Мамонька, не видала ли ты где моих башмаков?

— Не видала, Анюша.

— Что за чудеса: вчера поставила на голбец, а сегодня их и нет, — говорила Анна Максимовна, с беспокойством осматривая все места, куда могла бы засунуть башмаки. — Федюшка, а Федюшка! — начала она расталкивать спящего на полатах братишку: — нет ли где около тебя башмаков?

Федюшка всклопнул только глазами и отвортился к стене.

— Дьявол, што ты дрыхнешь!

— Не тронь... смерть спать хочется, — сквозь сон проговорил мальчуган и снова заснул, как убитый.

Гаврилица вышла из-за перегородки и поглядела на мужа.

— По роже вижу, это твое дело! — не сдерживая злобы, закричала она на мужа. — Сказывай, варвар, куда дел башмаки?

— Пропил, — коротко ответил муж, вскидывая на жену уничтожающий взгляд.

Дочь всплеснула руками и вскрикнула:

— Господи! Што же это будет?

— Пропил и пропью все, — продолжал Максим Власьич и поднялся с места. — Кто мне указ?.. Анютка, живо штобы двугривенный был! Нето... знаешь?

— Варвар! Да што же это ты с нами делаешь? — возопила жена.

— Так еще разговаривать!..

— Не бей ее, не бей, — закричала дочь, кидаясь между отцом и матерью. — На, возьми, возьми мой двугривенный! Бог милостив, обопьешься когда-нибудь: встанут тебе поперек горла мои трудовые денежки!

— Облопаешься, скоро облопаешься! — сулила жена, поправляя на голове платок, сбитый рукою мужа. — Кровопийца!

— Вот теперича я и выпью, — без всякого сердца и с добродушной улыбкой сказал Максим Власьич и пошел в кабак.

*

Светло на улице перед избою Максима Власьича, но еще светлее в самой избе. На середине стола, покрытого красной скатертью и уставленного десертом, возвышается, наподобие пожарной каланчи, массивный высеребранный подсвечник с пятью большими свечами. Подсвечник глядит так гордо и с таким достоинством, что только не говорит: я ведь тут — ради девичника, и на самое короткое время, ато опять уйду в гостиную именитой купчихи Александры Васильевны: нешто мне прилично у таких гольшей служить? И все, как гости, так и зрители, отлично понимают, что не на своем здесь месте такой

богатый подсвечник. Особенно все достоинства и превосходства купеческого светильника тонко чувствовали скромные хозяйские тарелки, которые, от соседства с ним, до того казались смущенными, что стыдливо прятались от любопытных взоров, и требовалось много времени и внимания, чтобы глаз заметил на столе их присутствие. Но зато светильник хорошо показывал девиц и их недорогие, но пестревшие разными цветами наряды; а бронзовые браслеты на белых руках, перстни и брошки с стеклышками так блестели и отливали, что можно было принять за настоящее золото и неподдельные бриллианты, если бы только зрители не были заранее глубоко убеждены в том, что на девичнике у Анны Максимовны не место, хотя бы и на весьма короткое время, таким драгоценностям.

У отворенной настежь двери, под полатями и около печи теснятся с закрытыми лицами зрители. Они так напирают вперед, что скамейка, поставленная поперек избы и отделяющая гостей от зрителей, то-и-дело подвигается к столу и грозит повалить его. Максим Власыч, совершенно уже трезвый, стоит у грядки и убедительно просит гуляк не напирать, иначе-де все поломается и убытков ему придется понести ужасно много. Сама Анна Максимовна, одетая в широкий кринолин и шерстяное с полосками платье, с веселым лицом подходит то к той, то к другой девице и что-то говорит вполголоса. Гаврилиха сидит за перегородкою, где на ее руках хранится верхнее платье девиц.

— Пропустите, пропустите! — слышится в стороне зрителей.

Сквозь толпу пробирается новая гостья и ее матушка в тулупе.

Анна Максимовна встала навстречу подруге. Девушки поднялись на месте. Новая гостья скинула тальму и передала матери; потом начала молиться на иконы и здороваться с хозяйкою.

— Здравствуйте, Анна Максимовна, — сказала она тихим голосом, целуясь с хозяйкою. — Покорно вас благодарим на почтении.

— А вас покорно благодарю, што пожаловали. — говорила Анна Максимовна, кланяясь гостье. — Марфа Ивановна, — обратилась она к тулупу: — покорно вас благодарю, што освободили свою дочку, не погнушались нами.

— Што ты говоришь, девка, как можно гнушаться честью — нехорошо! Тебе спасибо!.. Агафьюшка! Пальтичку-то мне с собою взять, али оставить, ужо тебя проводит кто?

— Не беспокойтесь, Марфа Ивановна, — вмешалась хозяйка: — мы сами проводим Агафью Васильевну. Пожалуйста мне тальмочку-то!.. Мамонька!..

Гаврилиха вышла из-за перегородки.

— А! Нутка как закуталась, и не узнаешь тебя, — сказала она, заглянув в лицо Агашиной матери и принимая от дочери тальму. — Все ли ты здорова?

— Тихонько, ато спознают все! — ответил тулуп и из-за воротника сверкнул смеющийся глаз.

— Ну, мы с тобой не девицы красные: пускай узнают!..

Пока мать говорила с Гаврилихой, Агаша успела перецеловаться со всеми девицами и села в уголок, между простенком и перегородкою. Она была очень молода, и ее простенький наряд, состоящий из белого кисейного платья, без всяких почти украшений, придавал лицу, дышавшему свежестью ранней юности, необыкновенную прелесть. Подруги исподтишка посматривали на Агашу, а Домна Сидоровна, девица совсем некрасивая и вдобавок кривая, выстрелила в нее одиноким своим глазом и, поворотив лицо к сидящей с нею рядом соседке, шепнула:

— Нисколько она не хороша, только што одно разве — молода!

— Ну, и не дурна, — ответила также вполголоса соседка, значительно взглянув на Домну Сидоровну.

Домна Сидоровна надулась.

Показалась еще гостя, за ней другая и, наконец, явились обе полированные девицы: дочь приказчика и дочь писаря. Анна Максимовна принимала всех радушно, всех благодарила, а полированных девиц приняла с особенным почетом и сама усадила на переднюю лавку.

— Вы напрасно беспокоитесь, — говорила дочь приказчика Настасья Андреевна: — для меня все равно, где бы я ни села.

— Точно также и для меня! — вторила дочь писаря Софья Петровна.

— Нет, как можно, где-нибудь! — в свою очередь говорила любезная хозяйка, усаживая подруг рядом и на самые почетные места.

И тотчас Анна Максимовна взяла со стола две та-

релки с конфетами и грецкими орехами и стала обносить все собрание, начав с двух образованных девиц.

— Да возьмите хоть конфетку! — потчивала хозяйка прикащикскую дочь.

— Благодарю вас, я не кушаю конфет. Позвольте только билетик!

Дочь писаря тоже взяла один конфетный билетик и нагнулась прочитать.

— Что у тебя, Соня?

— Ах, какие глупости! — воскликнула дочь писаря. — Вообрази, что мне вышло! — и она, обернувшись в сторону подруги, прочитала вслух.

Сердца любовников смыкает
Не цепь, а тонкий волосок!

— Скажите! Ну, мне лучше вышло. Посмотри сюда!

Софья Петровна нагнулась к билету соседки и вместе с нею прочитала.

— Ах, это очень великолепно тебе вышло! — сказала она, с восторженной улыбкой глядя в лицо подруги.

— Полагаю, что недурно.

Под полатями слышен сдержанный говор:

— Чьи это такие?

— Да одна прикащикова дочь, а другая писаря.

— То-то они смелы уж больно!

Прочие девицы сидели молча или говорили на ушко, а потому разговор вслух, происходивший между двумя образованными девицами, обратил на них внимание зрителей.

— Поотдайтесь, поотдайтесь! — говорил Власыч, видя, что зрители опять стали напирать. — Видите, чай, што на столе-то стоит? Это, вы думаете, ничего не стоит уронить?

— Как ты думаешь, которая девка здесь всех лучше? — спрашивал около дверей густой бас.

— По мне, всех красивее Домна Сидоровна, — ответил другой бас, точно из трубы.

Раздался громкий смех; а Домна Сидоровна, о которой так лестно отозвалась труба, вся вспыхнула и с выражением великой злобы устремила единственный глаз в толпу, стараясь насквозь прострелить наглеца.

— Экой глазок золотой! — похвалил снова трубный голос.

— Где только такая красавица уродилась! — подхватила другой.

Анна Максимовна почла долгом вступить за свою гостью.

— Што вы это, охальники, бесчинничаете? — начала она. — Чем вас девушка трогает, што вы так конфузите ее? Прямые — фабричные черти, никакой великатности в вас нет!

— Ну, и в тебе тоже немного великатности-то загуляло, даром што ты в колоколе, — отстаивали себя у двери. — Видали мы тоже и почище тебя!..

— А видали ли вы, как вашего брата за бесчинство эти по рожам бьют? — спросил Максим Власьич.

— Ты сперва за башмаками-то сходи, што вчера в кабаке пропил, а там уж и показывай, — отвечала труба.

— Не видали, значит! — продолжал храбро Власьич, задетый башмаками. — Так я вам, пожалуй, други милые, сичас все эвто, как следует, в лицах покажу... У меня за эвтим дело не станет!

Образованные девицы пришли в некоторое беспокойство.

— Неужели драка будет? — спрашивала одна.

— Здесь этого только и можно ожидать! — отвечала другая.

Однако никакой драки не случилось, потому что пришли холостые.

— Тятенька, холостые пришли! — известил из сеней о приходе гостей Федюшка.

Максим Власьич оставил своих врагов и поспешил к гостям.

В сенях, освещенных сальной свечкою, раздевались молодые люди, пришедшие на девичник.

Федюшка принимал от них тулупы, пальто и клал в чулан.

— Здорово, холостые! — приветствовал гостей хозяин.

— Здравствуй, Максим Власьич, здравствуй!..

— Што, собрались барышни, Максим Власьич? — спрашивал один из пришедших, слесарь, с жестоко напوماженной головой и сильным запахом дешевого амбре.

— Хватился ты! — ответил хозяин. — Входите, — прибавил он: — чай уж заждались девки-то!

— Погоди, дай немножечко припаратиться, — отвечают холостые.

— Ну, не больно форсисто, — замечает Власыч: — не взыщут!

— Нельзя же, надо немного...

— Власыч, — говорит набойщик: — скомандуй-ка ты нам насчет монаха в зеленом сарафане!..

— Што тут монаха, — перебивает другой набойщик с необыкновенно лохматой головой: — разве надолго нам монаха? Сложимтесь уж на чугунок!

— И чудесное дело будет: это в самую препорцию, — одобрил Максим Власыч.

Через минуту он наказывал своему сынишке:

— Ты, Федюшка, беги што ни есть мочи! Слышишь?

— Вона! Чай, мне не в первый раз! Одна нога здесь, другая там!

— Молодец, Федюшка! — хвалят мальчугана холостые.

— Теперь войдем! — говорит слесарь.

Молодежь направилась к отворенной двери, из которой густыми облаками валил пар.

— Да не пройдешь!

— Ваньша! ты маленько бы попричесался, — советует один парень набойщику с лохматой головой.

— Вот еще, — отвечает тот: — и так сойдет!

— Погляди, Андрей Климыч, хорошо ли у меня галстук завязан! — просит один юноша резчика.

— Ничего, бант у тебя важный!

— Пойдемте, братцы, пойдемте! — торопит холостых слесарь.

— Эка, народищу-то сколько набилось! — говорит хозяин: — вы, холостые, не разом все, а по одному пролезайте, — предлагает он молодежи.

Не малого труда стоит молодым людям пробраться до середины избы, но кое-как, при помощи локтей и коленок, они благополучно достигают цели.

При появлении холостых, девицы поднялись; не встали только образованные девицы.

— Мир честной компании, красные девушки! — говорит слесарь, а за ним другие молодцы.

Девицы молча поклонились.

— Просим милости, холостые! — встречает ласково сама Анна Максимовна.

Холостые здороваются с нею и начинают усаживаться на скамейке.

Воцаряется длинное молчание.

— Кто в этот час родится, тот будет теленком! — раздается голос со стороны печи.

— Ладно, как девка, а как парень, так беда! — подхватывает другой с печи: — жена за виски станет таскать!

Зрители смеются, девицы улыбаются в платки, а холостые оборачивают головы по направлению, откуда слышны голоса.

Зрители не унимаются.

— Да коли холостые все молчком будут сидеть, так и девок на сон наведут!

— Уж и напали, и напали! — вступается Максим Власыч, опять занявший свое место у грядки. — Чай, ведь сначала-то несмело, а вот как пооглядятся, да выдут прохолодиться, ну и станут как следует... Да вы не напирайте, братцы, поотдайтесь немножко назад! Ишь, ведь, холостых-то приперло почитай к самому столу... Поотдайтесь, пожалуйста! Видите, чай, на столе-то у меня што?

Холостым, на самом деле, приходилось плохо: их спины подвергались страшному напору и немало требовалось силы и мужества с их стороны, чтоб не полететь на пол.

— Честью прошу, отодвиньтесь немножечко! — взывает снова Власыч. — Вы только то возьмите в голову: ежели стол опрокинется, каких мне тогда убытков все будет стоить. Будьте же истинными христианами!

— Тятенька! — слышится звонкий голос Федюшки.

Лицо Максима Власыча озаряется самой лучезарной улыбкой и он говорит:

— Што же, холостые, прохолодиться, я думаю, теперича самое будет время?

Холостые перемигнулись и встали. Скамейка летит к столу.

— Да хоть побойтесь, бога! — чуть не вопит хозяин, обращаясь к зрителям. — Ну, хорошее ли дело, поломаете все?...

— Пораздвиньтесь: дайте пройти холостым!

Но зрители стеной стоят и не дают прохода.

— Видно, честью-то с вами ничего не поделаешь, — выходит из себя Максим Власыч и пускает в ход кулаки.

В толпе раздались протесты.

— Ты што же дерешься-то!

— Да што же с вами делать-то, коли вас честь не берет!

— Ну, ты не больно, Власыч! Нонче, знаешь, за эвто и к мировому угодишь!

— Ладно: ступай, жалуйся мировому!

Благодаря кулакам Власыча, молодые люди выбирают в сени.

— Принесли, што ли? — почти в один голос спросили все.

— Принес, — отвечает Федюшка, показывая на бутыль.

К водке пристают и гуляки, знакомые гостям. Начинается разговор.

— Теперича посмелее, ребята, вам будет заняться с девушками, — говорит один гуляка и выпивает стакан.

— Конечно, с первого раза как-то неловко, особливо не хватимши ничего, — говорит резчик. — Ну, а как ты думаешь, хороши у нас подобраны девушки?

— Што говорить — девки на подбор!.. Только вот Домна одна немножечко подгадила канпанью.

— Эвто верно... И чудеса, братцы, за коим только она чортом по девичникам таскается! Где бы ни случился девичник, — непременно и Домна там с своим глазом сидит!

— Верно прельстить кого мечтает!

— Ну-ка, Максим Власыч, мне еще стаканчик! — просит набойщик с лохматой головой.

— Изволь, милый, изволь! — с большой охотой удозлетворяет просьбе Власыч, наливая из бутылки в стакан. — Мы вместе с тобой, Иван Елистратыч, вместе... Будь здоров!

Иван Елистратыч и глазом не успел моргнуть, как Власыч хлопнул весь стакан.

— Што за водка, — похвалил он: — так сама и идет по всему горлышку!

— Да ты, што же эвто, Власыч, не мне сперва?.. Так нельзя... Наливай!..

— Будет, будет Ваньша! — останавливает лохматого набойщика другой: — тебе дай волю, ты и рад, а после бесчинничать станешь!

— Ты за меня не опасайся, дружище! — говорит Иван Елистратыч: — мы себя лицом в грязь не ударим! Ты дай только нам срок, увидишь, как Иван Елистратов отличится!

Зрители дают советы:

— Смотрите же, холостые, в игре назначайте больше целоваться!

— Без вас знаем, не учите!

В избе говорят:

— Неужели, Соня, так весь вечер и пройдет?

— Право, Настя, не знаю, что тебе на этот вопрос и сказать, — отвечает другая. — Очень может быть, что при таких кавалерах так без всякого удовольствия время и пройдет.

— Как это грустно!

Анна Максимовна с подобострастием обратилась к недовольным девицам:

— Што вы это, милые, говорите! Как можно, чтоб вечер без удовольствия прошел? Вы сами знаете, што еще рано, холостые не смеют... Опять и то, — не все пришли...

С улицы в окна глядят какие-то закрытые лица. Слышны говор, звуки гармоники и топот трепака под бубен. Издали доносится припев одной песни:

Ах житье, ах житье!

Горе горькое мое!

*

— Начинай! — говорит резчик, толкая локтем слесаря. Слесарь вынул из кармана две колоды карт. Одну положил на стол, а с другой пошел к девицам.

— В какую же вы игру хотите играть? — спрашивает одна из образованных девиц.

— В «кто что любит», — отвечает слесарь, молодецки встряхивая волосами.

«Необразованные» девицы говорят:

— Мы не умеем.

— Ничего не значит, — отвечает слесарь: — будем играть и научитесь. Эта игра не мудреная!

Слесарь переходит поочередно от одной девицы к другой и каждой дает по карте или по две. Когда он подошел к Домне Сидоровне и предложил ей карту, она не приняла и сказала:

— Мокей Иваныч, мы не можем играть, нам не сдавайте!

— Нельзя-с, Домна Сидоровна! Как же это канпанью портить? Нельзя-с!

— Как вам угодно, а мы не можем в эту игру заниматься.

Слесарь охотно бы оставил в покое несговорчивую

девицу, но этим он подал бы повод и остальным девицам отказываться от игры; а потому он твердо настаивал.

— Примите одну карточку, Домна Сидоровна!

— Здесь много барышень, кроме нас: просите их!

— Все барышни принимают, одна вы отказываетесь. Сделайте милость, примите-с!

— Просите других, а нас оставьте! — упорствовала девица.

К слесарю присоединили голоса и другие холостые.

— Не портите игры, Домна Сидоровна!

— Возьмите карточку — и все прочие барышни берут! — начала просить и сама Анна Максимовна.

Домна Сидоровна еще больше уперлась.

— Сказала што не могу, и не могу!

Вступились, наконец, зрители.

— Какие нонче фокусы Домна-то строит! Вот ты и знай ее!

— Только, кажись бы, эвто ей совсем не к лицу! С одним-то зраком не след канпанью гадить!

— А, может, эвто она и не перед добром: скоро у ней и другое око померкнет?.. Нешто она вольна в себе!

Такие замечания и громкий смех, которым они сопровождались в толпе зрителей, скорее всяких упрашиваний уломали Домну Сидоровну: она взяла карту.

Окончив раздачу карт, слесарь подошел к столу и взял верхнюю карту из лежавшей тут колоды.

— Кто любит красных девушек? — сказал он и открыл карту.

Вынутая карта оказалась у набойщика Ивана Елистратича.

— Ничего, я девками не брезгую, — сказал он. — А ну-ка вот теперича я задачу-то задам, — прибавил он, протягивая руку к колоде: — у котр такая карточка окажется, тот должен всю нашу канпанью обойти по одному разу, а меня еще особо поцеловать две дюжины!

— Вот так молодец! Ай-да Ваньша! Дайствуи! — раздались похвалы и одобрения со стороны зрителей.

Ваньша открыл карту, самодовольно улыбнулся и сел на свое место.

— Каково мы действуем! — шепнул он своему товарищу, уговаривавшему его не пить водку. — А надо бы еще прохолодиться.

Между тем скрытой карты ни у кого не оказывается.

Холостые догадались, что карта у девиц. Слесарь первый заговорил.

— Што ж вы, девушки, карточку-то скрываете? Али уж она очень вам пондравилась? Нельзя-с, назначенное надобно исполнить.

— Вигре не следует отказываться, — урезонивал резчик.

— Да не задерживайте игры, девицы красные! — опять говорит слесарь. — Эдак только время станем тянуть понапрасну, а приятности себе никакой не получим.

Набойщик Ваньша также нашел нужным присовокупить свой голос.

— Што ж вы эвто ломаетесь? — сказал он. — Коли вы уж в каприз пошли, так мы и игру бросим! Наплевать!..

Хозяйка, видя что молодежь в задор пошла, встала и подошла к слесарю.

— Мокей Иваныч! — сказала она вполголоса: — ну, што вы пристали к девушкам? Видите, чай, сколько гуляков! Дело девичье, поди совестятся при всех целоваться-то!

Довод был убедителен.

— Первая вина прощается, — обратился слесарь к девицам: — назначенное переменить...

— Мокей! — прервал набойщик Ваньша: — эвто, брат, ты не в резонте!

— Кто любит по грибы ходить? — предложил слесарь, не обращая внимания на замечание набойщика.

Карта нашлась у той девушки, с которой мы встретились в начале рассказа. Агаша положила карту на стол и взяла другую.

— Кто любит по саду гулять?

— А кто любит кашу масляную? — вырывается голос из-под полатей.

— Да любит сам дурак, што назначает, — отвечает слесарь.

— Дурак?!. Сам ты во сто раз дурачнее меня, даром што ты слесарь!

— Он ли, не он ли, што в белой манишке, да при жилетке с часами, так уж и важничает! — кричит другой с печи.

— Ну, пошли, пошли, загорланили! — вступился Максим Власыч. — Помолчите, пожалуйста, братцы! Ведь эдак вы всю каншанью сомните!.. Ну, хорошее ли это дело?

Набойщик Ваньша дернул за скюртук слесаря.

— Што ж, чай, пора нам прохолодиться-то?

— И то, — соглашается тот: — выдемте от сраму!

Из толпы зрителей выступила вперед закутанная женщина и пищит:

— Марья Ивановна как хороша!

— А Фекла Климовна еще лучше!! — пищит другая.

— Што ж, Марья Ивановна, гостинчика-то позволите!.. просит первая и выставляет рукав шубы.

Та, к которой относилась эта просьба, скромно отвечает:

— Нам не позволено.

— Как не позволено? Гостям всегда позволяется.

— Позволяется, да временем.

— Всегда позволяется. Так дай же, красавица, ребенку в соску!

Марья Ивановна нерешительно встала, нерешительно подошла к столу, взяла несколько пряничков, орешков и пустила в протянутый рукав зрительницы.

— Дай бог тебе за это жениха хорошего! — благодарит попрошайка и пятится назад.

Зрители не дают ей прохода.

— Скеси! Пропустите!

— Прижми ее, прижми хорошенько! Ишь, она какая: забрала гостинцев, да и домой.

— Ай, обменки, брюхо выдавили!

— Ничего, другое вырастет!

Образованные девицы начинают зевать.

— Ах, какая скука! — говорит Настасья Андреевна.

— Неужели же наши знакомые кавалеры не придут? — спрашивает Софья Петровна. — Это просто ужасно будет, если они не придут!

— Конечно!

Мало-по-малу и другие девицы осмеливаются говорить.

— Ты на кого в нынешнюю зиму, Алена, ткешь? — спрашивается с вопросом к соседке девица могучего телосложения в розовом кисейном платье.

— Да сперва на братьев Горевых ткала, а теперича на Посадова, — отвечала худенькая девушка, с плохой грудью и бледным цветом лица.

— Што же на одних не ткала?

— Бумагу больно плоху стали давать, да провесы все: ну, выгоды-то и нет никакой, проработала бы всю зиму

на хозяйев... Ну и переменяла. Уж очень строгости у них большие пошли.

Рядом идет другой разговор:

— Где ты, Паша, на платье-то себе покупала?

— На ярмарке, нонче об здвигенье.

— У кого?

— Не знаю, Груша, мамонька ведь покупала.

— И я себе, как выработаю што за зиму, непременно точно такой же материи куплю.

— Купи. Очень прочна.

Возвращаются холостые.

— Слушайте, холостые! — говорит слесарь: — я полагаю, што теперича не мешает и в фанты начать.

— Сперва надо окончить первую игру, а там и за другую, примемся, — подает свое мнение резчик.

Иван Елистратыч не соглашается с мнением резчика.

— Што карты — наплевать! Валяй, Мокей, в фанты!

— Не рано ли, братцы, в фанты? — замечает другой набойщик. — Може, лучше повременить, гуляков еще очень много!

Иван Елистратыч хочет уничтожить основательность и этого замечания.

— Што нам гуляки — наплевать! Мокей, погляди на часы. Который час?

Слесарь взялся за жилетный карман.

— Не заведены, — сказал он в ответ Ивану Елистратычу.

Зрители стали подсмеиваться.

— Позабыл, должно, Мокей Иваныч, часы-то у себя дома? Смотри, не украли бы их у тебя там лихие люди!

— Ну, ты много не сумлевайся! Видно, у него одна цепочка, што на жилетке, а часов-то и не загуляло.

Смех.

— Мокей! зачинай игру, — повелительно говорит Иван Елистратыч.

Слесарь и сам рад был начать игру, чтобы положить конец насмешкам; он вступил в переговоры с резчиком, как вдруг девицы, одна за другой, поднялись с мест и вереницей потянулись в сени, чтобы «поосвежиться».

— Теперича и на нашей улице праздник, — с торжеством проговорил слесарь, когда девицы вышли. — Засаживайте места, холостые!

— Мокей Иваныч, — обратился к слесарю юноша,

очевидно, в первый или второй раз попавший на девичник: — по сколько же мне запрашивать?

— Дюжину, Вася, а станут противиться, довольствуйся и полдюжиной — делать нечего!

— Слушай, Васютка, што говорит Мокей, — поддерживал авторитет слесаря Иван Елистратыч: — он парень ловкий, знает, как умаслить девок... Слушайся!.. Не пропадаешь, Васютка.

Юноша сделал несколько шагов, сел на место Агаши и весь покраснел.

— Не робей, главное — не робей! — ободрял юнца Иван Елистратыч, усаживаясь на чье-то место, для него решительно было все-равно, на чье бы место ни сесть. — Не мешало бы тебе выпить, духу-то вольного у тебя поприбавилось бы маленько, да млад ты, Васютка, а потому и не будет тебе от меня благословения на худые дела. Помилуй бог, ежели я да увижу, што ты за это вино примешься! Бойся меня, Васютка!..

Другой набойщик хотел было остановить своего приятеля, что, дескать, при народе не след учить Васютку, хотя он и молод; но Иван Елистратыч так мало обращал внимания на публику и притом так глубоко был убежден в необходимости руководителя для юного Васи, что не только не остановился в своих наставлениях, но даже и приятелю своему счел нужным сделать приличное внушение.

— Молчи, Трофим! Ты еще разумом не дошел до меня... Значит, ты сиди и только молчи, а Иван Елистратов будет говорить: Иван Елистратов завсегда может говорить. А твое дело молчать и слушать, што говорит Иван Елистратов!.. Как же ты можешь мне говорить, штобы я оставил Васютку, коли он без отца на свете живет, граверному делу обучается...

— Перестань, ради Христа, перестань! — умолял Трофим: — здесь, ведь, не у себя дома, народ...

— Не перестану, не могу! — кричит Иван Елистратыч. — Нешто возможно мне сироту без призора оставить? Кому он дорог? Для всех он, сиротка божий, чужой!.. Понял ты это, али нет?.. Ты, ведь, друг мне, я тебя заместо родного брата почитаю, а я тебе прямо в глаза скажу: дурак ты, Трофим! Поцелуй!..

— Сделай милость, сократи ты себя! — просит друг, уклоняясь от поцелуя: — ты на всех нас бесчестье вели-

кое кладешь! Говорил давеча тебе: не пей, Ваньша! Не послушался, вот и учал бесчинничать...

— Наплевать! Кого мы боимся? Ведь, мы на свое пьем! Разе мы за свое добро не вольны веселиться?.. Троша, друг ты мой сердечный, не огорчай ты меня!.. Ах, да где же эвто у нас Власьич? Власьич, Максим Власьич! — закричал Иван Елистратыч на всю избу.

А Максим Власьич, пользуясь тем, что холостые засели места, возымел потребность еще немного пропустить и неприметно ускользнул в сени.

— Власьич! Да где же ты? — взывал Иван Елистратыч.

Максим Власьич не замедлил явиться на голос Ивана Елистратыча.

— Удивление, што эвто за бесстыжий народ, — сильно негодовал, возвращаясь из сеней, Максим Власьич, проталкиваясь вперед. — Ну, можно бы, чай, и не лезть к столу? Кто станет отвечать, ежели стол как пошатнется... Свиныи, право свиныи!

— Власьич!

— Я здесь, Иван Елистратыч, никак вот совладать с ними не могу... Экой, господи боже мой, народ у нас подлый и пребессовестный....

— Подойди ко мне, Власьич, — продолжал Иван Елистратыч. — Теперича наклонись, мне надо по секрету на ушко тебе сказать: нельзя ли вино туда вон, за перегородку, поставить? Мы бы сейчас же с тобой по стаканчику!

— Ах, милый! — с печалью ответил Власьич: — ведь оно уж при окончании, почитай все до капли вышло!

— Што ты говоришь! — ужаснулся вслух Иван Елистратыч. — Гони, коли так, ты свою Федюшку опять в кабак, потому без вина мы, што нас здесь ни есть в канпаньи, пропали все до единого! Мокей!

— Иван Елистратыч, мне надо переговорить с тобой, — сказал слесарь и пошел за перегородку. — Ну, как тебе не стыдно! — начал он урезонивать набойщика: — што о нас подумают гуляки? Скажут, што мы и пьяницы и озорники! Ты если не себя, так хоть нас пожалей немножко... Знаешь, выпили мы сегодня, а завтра уж до тонкости все и хозяевам будет известно! Как же ты об эвтом не подумашь?

— Резонт! люблю умные слова слушать, — уступил.

Иван Елистратыч. — Я умных слов всегда послушаюсь... Так ты говоришь, Мокей, полведра надо взять? Я согласен...

— А денег у тебя много? — спросил Трофим.

— Што деньги! У меня пальто на вате...

— Ах, што за милый человек этот Иван Елистратыч! — восхищался Максим Власыч: — он на все готов, ему ничего не жаль... Экая душа! Глядеть, на редкость нонче можно таких людей встретить!..

Только что за перегородкою успели поладить насчет вина, как в избу стали возвращаться девицы. Заметив, что места их заняты, они немного постояли, перемолвились между собою и потом, не торопясь, начали рассаживаться на скамейку и куда ни попало.

— Барышни, — говорит слесарь: — што же это вы на чужие места садитесь? Кажется, вам это не совсем прилично!

— А вы нашто наши места заняли, — отвечают девицы.

— Занять хоша мы и заняли, но вы завсегда вольны их выкупить.

Девицы перемигиваются, кидают исподлобья взгляды на холостых и в сторону хихикают.

— Выкупайте же, барышни, свои местечки, — настаивает слесарь.

Но девицы продолжают хихикать и сидеть на чужих местах.

Иван Елистратыч не может вытерпеть.

— Вы што же опять ломаться? — говорит он. — Коли так, так мы и уйдем, наплевать на вас!..

— Ваньша, ради Христа, уймись! Разе можно так в канпаньи отвечать! — останавливают набойщика товарищи.

— Я ничего... Эка важность! Наплевать!

— Эх, барышни, — урезонивает слесарь, — как вам не стыдно к печке-то жаться. Канфуз!

— Делать нечего, девушки, надо выкупать свои местечки! — помогает холостым сама Анна Максимовна.

Наконец, после долгих колебаний и увещеваний со стороны холостых, девицы решаются выкупать места.

— Пустите на мое местечко, — просит одна девушка, подойдя к резчику.

— С большим удовольствием. Только пожалуйста выкуп!

— Какой же вам выкуп? — спрашивает девица, притворяясь непонимающею в чем дело: — пряничек или орешек?

— Дюжину поцелуев, поясняет резчик.

— Ой, штгой-то больно много! — вскрикнула девица.

— Меньше взять никак нельзя-с!

— Один раз, — предлагает девица.

Начинают торговаться. Дело слаживается на полдюжине.

Дочь писаря стояла перед слесарем.

— Если вы образованный кавалер, — внушала она ему, — то должны понять, что с вашей стороны довольно невежливо заставлять перед собою стоять барышню.

— Невежества с нашей стороны, кажется, тут никакого нет, Софья Петровна, — отвечал слесарь: — вы сами причиной всему! Цену я с вас прошу самую аккуратную.

— Однако, какое упрямство с вашей стороны! Неужели вам и не стыдно?

— Ежели бы я себя чувствовал виноватым, то очень бы мне стыдно было.

— Это, наконец, ужасно! — с отчаянием произнесла барышня. — Ну? — прибавила она и подставила щеку.

— Несносный мужчина! — слышалось в то же время с другой стороны.

— Ай-да холостые, молодцы! — хвалят зрители.

Оставалось два невыкупленных места: Ваньши и Васютки.

— Ты, Иван Елистратыч, — обратился к набойщику резчик, — смотри, брат, не останься тут зимовать!

Иван Елистратыч хладнокровно отвечал:

— Ничего... Коли захотят, так выкупят, а то мне и наплевать!.. Вот отрок, — прибавил он, вскидывая глаза на юношу: — отрок погибает... Жаль Васютку!

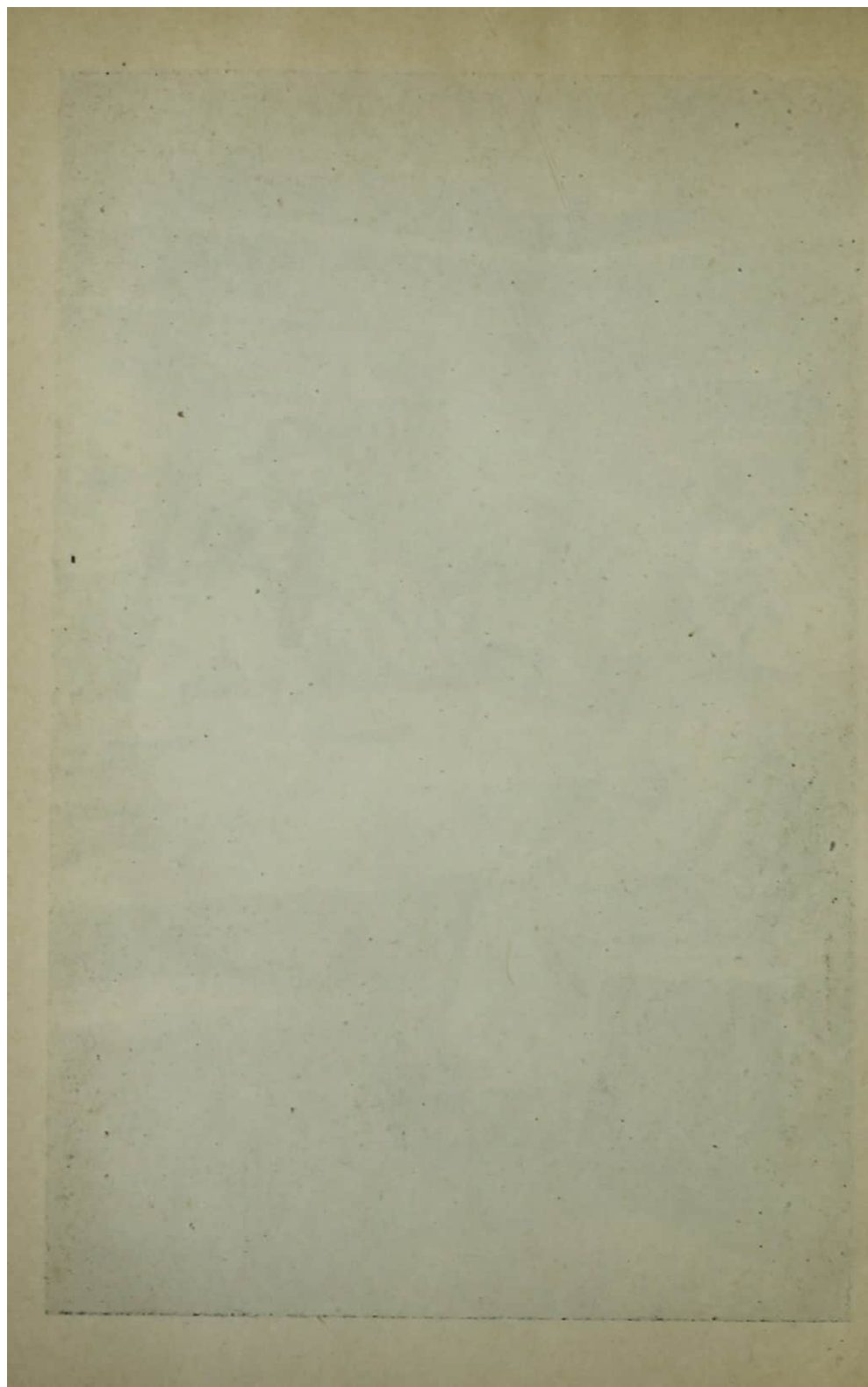
Но к отроку подошла Агаша и, после двух слов, поцеловала его шесть раз, да еще сверх условия прибавила три самых крепких поцелуя.

Отрок, весь в огне и пошатываясь, возвратился на свое место.

С улицы в стекла попрежнему глядели закутанные фигуры.

Как только Агаша, поцеловав юношу, села на место, вдруг снаружи раздался удар и одно стекло из рамы с





дрезгом полетело на пол. Девушки вздрогнули. Агаша побелела.

— Ай! што это за бесчинники! — воскликнула Анна Максимовна: — стекла уж стали бить! Тятенька!

— Караул, разбой! — закричал Максим Власьич и кинулся из избы.

— Какой скандал! — с негодованием говорила дочь прикащика.

— Мы просто можем здесь жизни навсегда лишиться! — отчаивалась дочь писаря.

— Ничего-с, не беспокойтесь, Софья Петровна, — старался успокоить девушку слесарь: — у нас здесь такое обыкновение, редкий девичник проходит, чтобы где стекло не побили, али чего еще хуже не сделали. Все это пустяки-с!

Девушки перешептывались, косились на Агашу, качали головами и загадочно улыбались. Агаша, все такая же белая, сидела с опущенной головою и не смела ни на кого глаз поднять.

— Девки! — заговорил Иван Елистратыч, сидевший у прошибленного окна, — заткните чем-нибудь дыру, а то мне в спину несет. Простужусь!

— Да ты што же тут сидишь? — бойко его спросила девушка с могучим телосложением, которой принадлежало занятое Иваном Елистратычем место.

— Сижу, место насживаю... Выкупай, коли хошь, пока горячо, а то остынет.

— Ах ты, выворотнев сын! — окрестила девушка: — сидел бы дома, а то еще на девичник прилез. Ну, вставай, што ли.

Из сеней слышалось речь Максима Власьича.

— Убежали... Экие разбойники! Сюда, Федюшка, поставь! Надо холостых позвать.

— Али принесли? — грянул вдруг Иван Елистратыч и поднялся. — Прохолодиться хочу, — прибавил он, увидя, что товарищи опять с укором на него смотрят.

— Прохолодимтесь и мы, — сказал резчик.

Через несколько минут молодежь хлопотала уже насчет бантов.

— Прежде надо кувню разыграть, — говорил слесарь. — Я пойду с одной стороны, Андрей Климаньч, а ты другой.

— Ладно.

Стали разыгрывать кухню.

— Как вас зовут, Акулина Ивановна? — спросил резчик, подойдя к девице с могучим телосложением.

— Сковорода?

— Так вы сковорода, Акулина Ивановна?

— Сковорода.

— А што у вас на пальце?

— Перестень... сковорода, — спохватилась девица, но было уже поздно.

— Проговорились! — засмеялся резчик. — Пожалуйте фантик!

Девица скинула кольцо и подала резчику.

— Какие вам больше фрунты нравятся, Аграфена Кондратьевна? — спрашивал слесарь другую девицу.

— Голлик, — отвечала Аграфена Кондратьевна.

— Што, вы нонешней зимой ходили в лес за ягодами?

Девица рассмеялась.

— Пожалуйте фантик!

Зрителей становилось меньше, но зато те, которые были в избе, казалось, хотели остаться надолго. Одни из них стояли, прислонясь к стене, другие сидели на печке, а некоторые лежали на полотах и только одни их головы были видны. Ближе к зрителям, впереди, стояли мужчины в шубах и пальто с бобровыми воротниками. Анна Максимовна несколько раз всматривалась в стоящих, стараясь узнать, кто такие; но зрители упорно скрывали лица и не хотели открыть себя. Наконец, хозяйка не вытерпела, подошла к одному и быстрым движением руки открыла воротник.

— Ах, вот они! — вскричала она, узнав в зрителе рыбинского прикащика. — Што же вы так долго?

— Извините, Анна Максимовна, — отвечал прикащик, высокий молодой человек, снимая шапку и раскланиваясь, — некогда было....

— А нас узнали? — спросил семинарист Розанов.

— Куда нам шубы положить? — говорит конторщик Голубев.

— Ах, сейчас, сейчас... Тятенька!.. Тятенька!..

Издали, словно из самой глубины двора, послышался голос.

— Ну, што тебе?

— Подите, гости пришли!

— Ну, а мне какое дело!

— Да говорят вам: выдьте! Алексей Николаич пришли, Никандра Васильич да Павел Николаич...

Моментально предстал сам хозяин.

— Ах, милые! — говорил он, кланяясь и улыбаясь. — Все ли вы здоровы? Пожалуйста, пожалуйста-с! Просим милости! Одежку-то сюда пожалуйста, сюда... Я приберу-с.

— Смотрите, Власыч, чтобы шубы наши не ушли гулять, — заметил прикащик.

— Ах, што вы, душенька! Нешто кто у меня посмеет это сделать? Помилуйте-с!

— Как ваше здоровье, Анна Максимовна? — обратился прикащик к хозяйке, подавая ей руку.

— Покорно вас благодарю, Алексей Николаич.

— Настасья Андреевна, Софья Петровна! — говорит прикащик, раскланиваясь с образованными девицами и пожимая им ручки.

— Мое почтение!

— Как вы долго! Ну, разве это не бесчеловечно с вашей стороны! — упрекала Настасья Андреевна.

Но к холостым новые гости отнеслись чрезвычайно пренебрежительно, слегка только кивнув головою на почтительные поклоны, которыми те их встретили. Разыгрывание «кухни» приостановилось. Но зато сияли лица девиц.

— Что ж, господа, продолжайте! — сказал конторщик, закуривая папироску и покручивая черные усики.

— Сейчас, — отвечал слесарь и опять пошел обирать фанты.

Настасья Андреевна жаловалась своему кавалеру:

— Ах, что только за канпания собралась! Мы, Алексей Николаич, с Соней уж хотели домой уйти.

— Что вы говорите, Настасья Андреевна! — возразил собеседник: — канпания здесь отличная, кавалеры самые интересные...

— Ах, какой вы насмешник, Алексей Николаич!

Семинарист Розанов говорит с другой образованной девицей.

— Так вы скучаете, Софья Петровна?

— Да разве можно здесь было не скучать, Павел Николаич? Кроме грубостей и мужицких слов — других удовольствий здесь нет.

— Конечно, для вас мало в таком обществе развлечения. Это так-с...

Слесарь подходит к первой паре.

— Пожалуйте ваши фантики! — говорит он, обращаясь к ним с почтительной улыбкой.

— С чем вы хотите назначить? — спросил конторщик Голубев.

— Известно с чем: теперь чай и сухари нужно разносить.

— Как же вы сами назначаете? Я думаю, это надо предоставить барышням: первый фант с чем вы назначите, барышни? — отнесся конторщик к девицам.

— С розаном! — отвечало несколько голосов.

— С кораблем! — говорили другие.

— Нет, лучше с розаном!

Слесарь потряс платок, а хозяйка опустила руку и вынула перстень.

— Чей супир?

— Мой! — сказала одна девица и встала.

Слесарь подал ей перстень.

— Если бы я была розаном, где бы вы меня пришилили? — обратилась она к конторщику.

— К сердцу! — ответил тот и приложил руку к груди.

— Покорно вас благодарю.

Девица шла дальше. Кто говорил: «к пламенной груди», кто — «на манишку», кто «в голову» и т. д. Дошла очередь и до Ивана Елистратыча, который уж находился в состоянии легкого забытья.

— Пришилить?.. Кого пришилить? — спросил он вдруг, придя в сознание.

— Если бы я была розан, где бы вы меня пришилили? — повторила вопрос девица.

— Поцелуй, так скажу.

— С чего ты это взял? Чай, в этой игре не целуются!

— Ну, так проваливай мимо!

Одна из образованных девиц презрительно заметила:

— Какое вежливое обращение!

— Необразование! — сказал семинарист Розанов. — Софья Петровна, чем вы занимаетесь в часы свободы и отдохновения? — спросил он у соседки.

— Читаю книжки, Павел Николаич!

— Прекрасное занятие! Какие же вы книжки читаете: исторические или романические?

— Всеякие... Я больше люблю романы, ну и хорошие стихи... Вот я недавно читала роман: «Черный

гроб или кровавая звезда». Сочинитель в этом романе говорит об атамане разбойников, который влюблен в одну барышню... Да вы, может быть, и сами читали эту книжку?

— Нет-с, не читал.

— Ах, прочитайте! Я вам скажу, так хороша, что просто чудо! Особенно там подземелье какое-то представлено, и в это подземелье атаман Железная рука влечет оборожительную Аксинью... Даже я без слез читать не могла!

— Какое у вас нежное сердце! — сказал Розанов. — Если бы вы также сочувствовали и другим, которые по вас страдают! — прибавил семинарист с легким вздохом, сопровождаемым пламенным взглядом.

— Вы, кажется, говорите мне канплементы... Ах, я могу сконфузиться! Не говорите, мне очень стыдно!..

Прикащик Алексей Николаич, беседуя с Настасьей Андреевной, также разговор перенес на тему о сердце, с тою только разницею, что тема Розанова имела характер более идеальный, тогда как тема прикащика имела чисто реальное содержание. Он, затягиваясь дымом папироски, говорил:

— Вы уверили меня, что она к нему равнодушна, а я вам скажу, что этому верить нельзя. На словах барышни обещают много, а на деле ничего!

— Но вы войдите только в ее положение, — тихо, но в то же время чрезвычайно выразительно говорила Настасья Андреевна: — она к нему равнодушна, сердце ее не знает себе никакого покоя, но что же она может сделать, когда есть люди, которые за ней смотрят? Поймите же вы, наконец, это!

Пара говорила лично о себе, но чтобы вести разговор с большей свободою, тот и другой о себе упоминали в третьем лице.

— Нет-с, Настасья Андреевна, я не могу вам верить — извините меня! — До тех пор, пока она ему не назначит свидания наедине...

— Вы ищете ее погибели!

— Одного только доказательства!

— Однако, как это жестоко с вашей стороны!

В разговорах и игре в фанты незаметно летело время. Было уже два часа за полночь. Зрители почти все разошлись, в избе осталось несколько человек, и то больше

спящих где-нибудь на полотах или печи. Из-за перегородки Гаврилица вынесла поднос, уставленный чайными чашками, которые так же на этот случай, как и поднос, были выпрошены у купчихи Александры Васильевны. Девушки принялись за чай, а холостые, исключая прикащика с конторщиком и семинариста, выжидали, когда освободятся чашки.

— А скажите мне, Павел Николаич, что значит слово «ода»? — спрашивала любознательная Софья Петровна у семинариста.

— Ода? — семинарист задумался немного. — Ода есть лирическое изображение известного чувствования, — продолжал он вдохновившись, — в котором восторженный питит, забывая все земное, переносится в мир бесконечный..

— Как это умственно! — заметила соседка.

Иван Елистратыч, услышавший восторженное определение оды, вкинул голову и уставил глаза на питомца семинарии.

— Закомуристо! — пробормотал он и снова погрузился в сладкую дремоту.

Фанты шли своим чередом. Назначили «монаха». Конторщик Голубев подошел к столу и стучит.

— Кто стучит? — спрашивают девушки.

— Монах.

— За чем пришел?

— За монашенкою.

— За которой?

Конторщик окинул пристальным взглядом девиц и остановился на Агаше.

— Пожалуйста вы!

Агаша поднялась, подошла к конторщику и поцеловала его.

— Благодарю вас, — сказал конторщик и сел на место.

Агаша почему-то выбрала себе в монахи Ивана Елистратыча.

— Иван Елистратыч!

— А?

— Вставай, тебя в монахи желают!

Иван Елистратыч встал, поглядел на всех и неровным шагом направился к двери, остановился, постоял немного и опять вернулся на место. В публике смех.

— Что же ты, монах, нейдешь к монашенке? — спрашивают его.

— Наплевать... все выпили...

Конторщик подлетел к Агаше и сказал:

— Возьмите меня в монахи! — и, не дав ей ответить, быстро поцеловал.

Юноша Вася побледнел, а Настасья Андреевна сделала гримаску.

— Какая эта девчонка гадкая! — проговорила она вполголоса, обращаясь к прикащику. — Напрасно Никандра Васильич с ней занимается.

— Что такое? — спросил прикащик.

— Здесь стекла выбили из-за нее!

— Вот как! А какая скромная... Так я вас провожаю сегодня?

— Уж вы!..

Гаврилиха обносила чаем холостых. Иван Елистратыч отказался было, но потом принял и стал пить. Выпив чашку, он пожелал другую, а затем и третью.

— Вот, поди ты, какая оказия, — рассуждал вслух Иван Елистратыч: — думал, што я усну, а выпил чаю, и прошло! Надо эвто мне запомнить. И голова свежа... Ах, да я теперича опять могу выпить сколько угодно, ей-богу!

Во время игры, девицы оказывали большую любезность модным кавалерам, как они называли прикащика, конторщика и семинариста, и больше целовались и говорили с ними, чем с другими холостыми, что последним крайне не нравилось. Особенно разобиделся слесарь, когда Софья Петровна «тонула в колодце», и он изъявил желание вытащить ее, а она сказала, что напрасно он беспокоится, что найдутся и кроме его, другие, которые спасут ее.

— Выдемте, братцы, прохолодиться! — сказал оскорбленный слесарь.

В сенях почти стемнело.

Нагоревшая свечка слабо освещала только один угол, в котором она стояла.

— Где же Власыч? — спрашивали холостые.

— Никого нет, и Федюшка пропал...

— Загляни-ка кто-нибудь в чулан!

— Снимите, братцы, со свечки, а то не видать ничего! Власыча отыскали спящим в шубах.

— Вставай, надо выпить!

Максим Власыч вскочил, как встрепанный.

— Неужто вы еще здесь?.. Ах, милые! Сичас, с удо-

вольствием, водка тут... Эх, как переязбось! Вот когда в аппетит это выпить!

— Наливай, наливай проворнее!

— Слушайте, братцы, — говорил слесарь, урезывая один за другим два стакана, — теперича, я полагаю, нам ничего кроме не остается делать, как только пить...

— Што верно, так верно! — согласился Иван Елистратыч.

— Все хорошо шло, а как пришли эти стракулисты, и дрянь, дело стало, — продолжал слесарь: — девки теперича и внимания на нас не обращают... Неужели мы хуже их, а?

Максим Власыч со стаканом в руке стоял перед Иваном Елистратычем и кланялся, улыбаясь.

— Будь здоров!

— Пей!..

— Нет, мы им покажем себя, кто мы есть! — говорил резчик. — Што ж мы будем после этого... Передай стакан!

— Нет, ты скажи мне, — не унимался слесарь: — што я хуже попovichа? Я первый мастер на заводе считаюсь, а она какую штуку со мной сыграла! Ведь это обидно!..

Набойщик Трофим предложил успокоиться.

— Будет, будет вам, братцы!.. Ей-богу, нехорошо...

— Трофим! Ты опять? — окрикнул Иван Елистратыч. — Молчи!

Юный гравер отозвал в сторону Власыча.

— Максим Власыч, дай ты мне стаканчик! Хочу я попробовать, што это за вино такое, што все пьют и веселы от него бывают.

Максим Власыч даже возрадовался такой просьбе.

— Ай, паренек, за разум взялся! Давно бы ты мне сказал, а то во весь цельный вечер ни одного стаканчика не пропустил. Ах, милый, милый!.. На-ка... Погоди, допрежь я сам... Будь здоров!

Когда Власыч поднес Васе, тот с такой молодцеватостью хлопнул весь стакан, что можно было подумать, что он давным давно подвизается на этом пути.

— Еще хочу! — крикнул Вася, подставляя стакан.

Иван Елистратыч медленно повернул голову.

— Кто это кричит?.. Батюшки, отрок Васька!.. Стой, а нето — ра-асшибу! — заревел Иван Елистратыч, кидаясь к юноше.

— Давай, Власыч, я пить хочу! — кричал Вася, отпихивая от себя набойщика.

— Васька! Што эвто?.. Понимаешь ли ты, подлец, што на погибель свою идешь?.. Не пей!.. Вася, сирота ты божий, не пей!.. Вспомни, у тебя родительница есть!

— Теперича мне ни до кого нет дела!.. Она... бесчестная! А я жениться на ней хотел...

А в избе все были так веселы и довольны, что даже никто и не вспомнил об отсутствии холостых. Прикащик рассказывал такие смешные анекдоты, от которых девицы хохотали до слез. Домна Сидоровна, девица далеко невестелого нрава, и та повременам фыркала и говорила соседке:

— Какой этот парень смешник! Вот я люблю таких-то... Гаврилиха тоже выгодно отзывалась о прикащике.

— Вот врать-то умеет — не приведи владыка милостивый! Ну, такой-то любую девку обойдет!

Одна Агаша не глядела веселою и ни разу не усмехнулась.

Сидела она убитою, с опущенными глазами и с горькою мыслью о своем недавнем бесчестье. Она готова была уйти с девчаника, бежать куда-нибудь, лишь бы только не встречать и не видеть насмешливых людских глаз, которые на части терзали ее молодое сердце; но она не смела уйти, ей некуда было итти... «Что я им сделала, за что они осрамили меня?» — не выходило у ней из головы и ни на минуту не давало ей покоя. — «И Вася тут был, что он обо мне подумает?.. Что завтра скажет его мать, когда узнает... Ах, я несчастная!»

— Скажите мне, о ком вы мечтаете? — спрашивал у Агаши конторщик, желая вызвать ее на разговор. — Поведайте мне тайну вашего сердца!

Кругом смеялись.

— Не спеть ли нам песенку, господа? — предлагал товарищам Розанов.

— Ах, это будет очень великолепно! — находила Софья Петровна.

— Только с одним уговором, — сказал прикащик: — вы, барышни, не бегите, когда мы запоем!

— Какой смешник!

Молодые люди запели «романс», только что начинавший входить в большую моду в селе Бубнове:

В одной знакомой улице

Я помню старый дом...

Девицы слушали с великим удовольствием пение, а Настасья Андреевна и Софья Петровна не спускали глаз с певцов.

Какая чудо-девица

В заветный час ночной

Меня встречает бледная

С распушенной косой.

— Как поют!

— Очаровательно!

Холостые давно вернулись и сидели на скамейке. Им, видимо, хотелось помешать певцам, но они не знали, как это сделать, и потому все разом начали кашлять.

— Простудились, господа? — сказал прикащик, обращившая к ним голову.

— Нет, мы не простудились, — заговорил слесарь. — Вы здоровы ли? А мы ничего... Девушки, што же вы фантики-то оставили?

— Разыграли все, — ответил прикащик: — вы долго уж очень прохолождались...

— Не ваше дело, вам учить нас не приходится.

Гаврилица шепнула дочери...

— Што глядишь, подавай скорей пирог, а то, вишь, холостые-то как нализались!

Анна Максимовна взяла блюдо, на котором лежал нарезанный по числу гостей на равные доли пирог, и стала обносить гостей. Образованные девицы отказались от пирога, но положили на блюдо по полтиннику; кавалеры бросили по рублевой бумажке.

Слесарь, не желая уступить «стрекулистам», тоже кинул рублевый билет, а Иван Елистратыч вывалил всю медь, которая оставалась у него в кармане, и захватил с блюда две доли пирога.

— Отрок, на, съешь пирожка!

Анна Максимовна собрала на пирог около восьми рублей.

— Што же, девушки, займитесь еще в фантики! — приставал слесарь.

— Домой пора! — сказал прикащик.

— Вас не держат... Можете... с богом!

— Напрасно вы думаете, што мы вас держим, — вме-

шался и резчик: — мы желаем заняться с девушками, а не с вами.

Но девицы переговорили, что-де холостые перепились и того гляди, что дебош какой учинят, а потому лучше по домам расходиться. Приятно образованные девицы стали уж прощаться с хозяйкой.

— Прощайте, Анна Максимовна!

— Прощайте, милые! Просим милости не взыскать на нас! Чего нехватает, собой просим скрасить! — говорила Анна Максимовна, целуясь с девицами.

Холостые сидели и злобно на всех поглядывали.

— Можно, чай, сделать для нас удовольствие, — говорил слесарь: — останьтесь ненадолго!

Но их никто не слушал. Звезды еще ярко блестили над селом Бубновым, но в холодном воздухе уже чувствовалось, что утро приближается и недалеко. Скоро раздались свистки, сигналы к трудовой жизни, и подняли на ноги все спящее царство труда.

В улицах началось движение, замелькали люди и слышались голоса.

— Экой холодище-то сегодня — страсть!

— Да, мороз ничего! Хорошо, у кого теперича теплая шуба есть!

— Побежим скорее, так до завода лучше всякой шубы согреемся!

— И то дело...

Этим временем расходились с девичника Анны Максимовны.

Прикащик и семинарист пошли провожать образованных девиц, а конторщик навязался в провожатые к Агаше.

— Что вы молчите все? — говорил конторщик. — Разве вам неприятно со мной идти?

— Нет, ничего...

— Отчего же вы со мной не говорите?.. Послушай. Агаша, — сказал конторщик, обняв вдруг девушку: — полюби меня!..

Агаша вырвалась.

— Што вы это? Как вам не стыдно! — проговорила она дрожащим голосом, в котором слышались слезы.

— Полно, не разыгрывай из себя невинности, ведь я все знаю.

Девушка кинулась от конторщика в переулочек, в котором находилась ее изба.

Молодой человек хотел последовать за нею, но подумал и не пошел.

— Ну, не уйдет еще, будет наша! — сказал он и направился дальше по улице...

Агаша добежала до своей избы и остановилась у ворот.

Она оглянулась и увидела, что кто-то идет, но только не конторщик; она стала всматриваться.

— Вася, это ты? — слабо окликнула девушка, подошедшего не совсем твердым шагом к ней, юного гравера.

Вася как подошел к ней, остановился, так и стоял неподвижно и без слов, только уставил на нее глаза.

— Васенька, што с тобою? — заговорила девушка, прижимаясь к стене избы.

Вася вздохнул и сказал:

— Ничего... я пьян только... Обманула ты меня, Агаша!

— Господи, и он на меня! Да разве моя вина, што Андриушка пристаёт ко мне, а я не поддаюсь ему?..

— Нет, если бы у тебя ничего с ним не было, он не стал бы стекла бить... Нет, ты с ним...

— Васенька, не мучь хоть ты меня, — молила девушка, кидаясь на шею к юноше: — и так я много от напраслины людской терплю! Господи!..

Вдали слышна песня:

Стук, бряк во колечко,
Выйди, панва, на крылечко,
Дай коню воды.

Это пели семинарист и прикащик, возвращаясь с проводов домой.

— Погляди, кто-то лежит! — сказал прикащик, завидя на снегу человеческую фигуру.

Фигура силилась приподняться и что-то бормотала.

— Ба, да это с девичника молодец-то!

— Ничего... я встану... Я так... отдохнуть прилет, — бормотал молодец. — Пособите, братцы!..

— Делать нечего, Николаич, надо его поднять! — сказал семинарист.

Стали поднимать. То был Иван Елистратыч.

— Да эвто кто?.. А, Мокей... спасибо!.. Эх, Иван Елистратов! Ослаб, брат, ты, ослаб... — говорил набойщик,

становясь на ноги. — Ну, теперича я и один... Дойду...
Спасибо...

*

Часов около двенадцати дня, Максим Власыч во весь дух неся к кабаку, держа подмышкою шерстяное дочеринно платье.

— Держите, держите! — кричала бегущая вслед за ним Гаврилиха. — Разбойник! Душегуб!..

— Обижают, обижают! — кричал в свою очередь и Власыч. — Один гривенник за весь девичник дали... Обижают, православные!



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

ADMISSIONS OFFICE
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

PHYSICS DEPARTMENT
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

PHYSICS DEPARTMENT
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

PHYSICS DEPARTMENT
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

СЕМЬ КЛЮЧЕЙ



СЕМЬ КНИЖЕК





ВСЯКО, сударь, на свете бывает. Идет, к примеру сказать, по улице тортуаром человек, здоровый, веселый, идет и мечтает о жизни; и вдруг обваливается с высокого дома карниз, и прямо ему в голову; человека уж того и нет! Или так: из ничтожества сразу другой превознесется и станет над многими повелевать. А иной цельную жизнь мается, бьется, как рыба об лед, и, неожиданно, перед кончиною, бог пошлет ему богатство. Редко, а бывает это. И выходит, никто заранее судьбы своей определить не властен. Случается, однако, что счастье человек и сам берет, не дожидаясь череда; но в таком разе, по размышлению людей благочестивых, вряд ли без греха дело обходится...

Расскажу я вам одну историю. Жила в нашем городе девица. Нельзя сказать, чтобы она знатного рода или какого высокого образования была, а из самого простого звания: прямо надо говорить, папаша ее был прежде дворовым человеком, а мамаша — из деревенских и читать не умела. Не природные они, городские, а *натек*, т. е. пришлые, чужестранные. Фамилья ихняя объявилась в нашем городе тому назад лет двадцать. Так как Евлампей Иваныч — папаша этой девицы, — сызмалетства служивши при своих господах, в совершенстве произошел лакейскую должность, то с первого же разу на хорошую линию попал: занялся в городе по официантской части... Ежели такое занятие да в настоящие руки попадет, то, по нашему месту, лучшего маленькому человеку ничего и пожелать невозможно: потому, во-первых, — прибыльно, а во-вторых, — официант ничем не обязан, никакой грозы над собой не чувствует, живет на полной слободе и сам себе господин. Шибко тогда пошел в гору Евлампей Иваныч: богачи рвут его на все стороны, едва с артелью заказы поспевают принимать. Старшенькую дочку, — десять годков ей исполнилось, — в школу отдал; потом, когда она подучилась, в гимназию определил; остальные ребятишки еще

малы, на печке сидели; но и тех в свое время хотел в училище отдать. Только, по прошествии лет трех, неожиданно скоропостижную кончину принял. Зимой это случилось: служил он на богатой свадьбе и, бегая во фраке да белом галстукe через двор на кухню, жестоко простудился, схватил скоротечную чахотку и через два месяца лежал под образами. Пока нажитое покойным из рук не выплыло, семейство — ничего, существовало; а как все-то попрожили, нужду пришлось терпеть. Однако, вдова оказалась женщиной предприимчивой: девочку из гимназии взяла, а сама коммерцию открыла, — жареною печенкой, пирогами и разным овощем стала торговать. Старшая дочка по хозяйству в доме, за сестренкой с братишками присматривает да грамоте их обучает, а маменька с утра до ночи на базаре, коммерциею своею занята. Так и жили, переколачивались.

Подросли дети. Матери новая забота: нужно их к делу определить, чтобы хлеб себе добывали. Пристроила вдова старшую дочь к нам на фабрику, в ткацкое отделение по шпульной части; младшую к портнихе в ученье отдала, а мальчишек к нам же, на прядильню, в присучальщики за машины поставила.

Порассовала таким манером детишек, а сама коммерцию продолжала вести.

Наша мануфактура одна из первых в городе: у нас и прядильная, и ткацкая, и ситцевая. Народа разного больше трех тысяч пропитание от нее получают. Ежели издали посмотреть на фабрику — настоящая картина! Пятиэтажные да шестиэтажные каменные корпуса, трубы выше иной колокольни, везде флигеля да разные здания улицами идут, а по луку разноцветные ситцы расстилаются: что другой уездный город — никуда в сравнении с ней не годится! И местоположение прекрасное: по отлогому берегу здания расположены, река, словно бы, широкою синей лентой фабрику огибает; а на другом, возвышенном берегу, поблизости, лес большой стоит. Уж очень хорошо и для глаз, и для воздуха!.. Известно, на фабриках какими ароматами несет: тут и пыль от трепальных да чесальных машин, от красок да паров ядовитых не продохнешь, а по коридорам и двору, местами, как мы ни привычны, бесприменно за нос схватишься, зажмешь его и бежишь прочь, как от заразы. Ну, вот, летней порою откроешь окошко или форточку, — из лесу и потянет сосновым запахом да

приятным воздухом. Я по летам домой иначе и не ходил, как через этот лес, а обедать мне приносили на фабрику. Обыкновенно два часа на обед давалось: перекусишь наскоро — и в рощу! Слава богу, зиму-то зимскую всего наглотался в мотальной, и дорога одна и та же опротивеет до невозможности! Ну, летом и проблаженствуешь! В будни часок погуляешь, а в праздники с утра заберешься в лес и до ночи там время в удовольствие свое проводишь. Наровишь только всегда всегда поглуше куда забиться, чтобы на глаза хозяев не попасть, потому как в праздники все богачи в рощу с семействами приезжают: напитков всяких с закусками привезут, чай кушают, а молодые в беседке танцуют под музыку. Жуки эти сиволапые, — так у нас зовут чернорабочих фабричных, — залягут в траве и поглядывают из-за деревьев на увеселения хозяйские; а нашему брату, приказчику, как-то оно и неловко: увидит кто из хозяев свой или чужой — все равно, — подзовет к себе, и стоишь перед ним, пока он с тобою говорит, без фуражки, словно перед иконою или в храме господнем; а попробуй, накрой голову, так бесприменно на худом счету после очутишься, скажут: «гордеян, страху перед хозяевами не чувствует и должного почтения к ним не оказывает!» Разумеется, главный приказчик не будет без шапки стоять, особливо который из ярмоночных; тоже немец колерист или англичанин директор; вместе с господами чай и напитки кушают и мало перед ними стесняются; ну, а я в то время должность не очень важную занимал — раздавал пряжу мотальщицам и в полном подчинении у главного конторщика находился.

Хозяева наши были люди холостые. Старший братец еще при жизни своего папаши на богачихе женился и ушел к тестю в дом, так как у того, oprича одной дочки, не было больше деточек: весь свой капитал и фабрику он зятю препоручил. Остались хозяева после своего папаши совсем молоденькими, а дело повели не хуже, пожалуй что и получше, чем люди зрелых лет. Не только заминки в делах или умаления в производстве не произошло, а наоборот, круг деятельности расширили, порядки на фабрике строгие учредили. По прошествии десяти лет, когда начал сводить баланец, оказалось, что наследственный от родителя капитал вдвое приумножился. Правда, на первых порах они пользовались советами старшего брата: такого ума и характера неограниченного был господин, что с ним

многие фабриканты в делах советовались, а именем его мещанки своих озорников, ребятишек, в повиновение приводили; только крикнут: «Конон Яковлич!» и детишки сразу присмиреют. Но какого чрезвычайного ума ни был бы человек, а в пустопорожнюю голову другого он ничего не вложит; значит, в младших братьях уж свой, прирожденный, талант был! И, действительно, сами такие молоденькие, а лица, кроме одного у них, стариковские, сурьезные; говорят про одно дело и даже не усмехнутся, — разве ину пору, по какому особому случаю, выпьют, ну, так несколько в кураж войдут, но это позволяли себе очень редко. Первые миллионщики, а жили нераскочно, от всяких обчественных делов отстранялись, ни во что в постороннее не входили, занимались своей фабрикой и жили только для одних себя. Основательные молодые люди, фундаментальные! Карактером, кроме среднего, все по старшем братце: гордые, неприступные! Старик покойный, папаша ихний, другого склада и понятий человек был. Тот, бывало, со всяким, с последним рабочим поговорит, расспросит его, кто он такой, велика ли семья, и во все вникнет; ежели узнает, что человек нужду терпит, беспременно ему помощь окажет. Доступный, с открытой душою был покойник!.. Притом же, помнил, что его родитель сам вместе с набойщиками работал и капитал наживал. Ну, а нонечные хозяева уж этого не помнят, потому и великаны стали!

Каждый брат заведывал своей частью. Хотя у нас были директора, механики и колеристы, но хозяева до всего сами доходили. На ткацкой фабрике всеми делами распоряжался средний брат, Геннадий Яковлевич, — ему тогда двадцать один год минул. В других братьев он не вышел, а больше по своему папаше пошел, хотя наружностью мало сходственного с покойным имел: тот высокий, дюжий и представительный был мужчина, а Геннадий Яковлевич роста среднего, канплекции нежной и тонколиченький; но характером и улыбкою своего приятного лица совершенный папаша: обходительный, простой и ко всем доброжелательный. Увидит, кто из служащих что не так делает, только учтиво скажет: «Ты, Иван Петров, вот так бы!..» и больше ничего. А если кто провинится в чем, то никогда не прогонит человека и штраф на него не прикажет писать; пожурит тихонько, скажет: «вперед этого не делай, дурак!» и велит опять к своему делу итти.

«Только, пожалуйста, до братьев об этом не доводите», просит нас. Действительно, наткнись виноватый на Павла Яковлевича, — другой брат, что под Геннадьем Яковлевичем, — беда: никаких слов в оправдание не примет, даже слушать не станет, а затопает ногами, сам заплачется и во весь голос закричал: «Гоните его с фабрики в шею!»

Три месяца прошло, как Евлампеева дочь к нам в ткацкую определилась. Звали ее Ниною, — дворовые часто своим детям благородные имена давали, господам своим подражали. Молоденькая, лет шестнадцати, много семнадцати, а в работе пожилым не уступала. Собою была не дурна: высокенькая, личико беленькое, словно у природной барышни, а глаза, как васильки, и волосы светлые да густые; одевалась хотя бедненько и просто, но всегда к лицу. Одно только девушку портило: щедушна очень! Известно, живя в сиротстве да в заботах, не раздужеешь. Вела себя очень даже скромно. Другие мотальщицы, особливо из себя которые посмазливее, завсегда стараются перед глазами приказчиков вертеться, а Нина держалась в сторонке, вида своего ничем не доказывала; тише монашеники жила, воды не замутит.

Однажды, вскоре после пасхи, отобедавши в конторе, пошел я по роще разгуляться. Весна в том году, помню очень хорошо, была ранняя: еще в апреле земля просохла, крутом все зазеленелось, и по лугам цветочки запестрели, а в начале мая такая уж благодать наступила, что и сказать невозможно! Вошел я в лес, — боже мой! — воздух какой, благоухание! От пения птишек по всей роще веселье да радость... Так бы никогда, кажется, оттуда и не вышел, жил бы там и умер! Погулял с часок, поблаженствовал, — и на фабрику. Выхожу на проезжую дорожку, — Геннадий Яковлевич изволит прогуливаться. Снял я картуз, поклонился и хотел дать ему пройти, а он ко мне с вопросом:

— На фабрику, Дорофей Ильич?

— Точно так, сударь! — отвечаю. — Вздумалось разгуляться.

— Так пойдем вместе!

— Слушаю-с.

Пошли.

Идем прокладно, не торопимся.

— Да ты что же, — спрашивает, — без фуражки? Жарко, что ли, тебе?

— Никак нет-с, — говорю. — А как вы хозяин, так из уважения...

— Накройся, — говорит. — Ты знаешь, не люблю я этого...

— Слушаю-с.

Надел картуз. Идем. Думаю, о чем бы с ним разговор начать. Вижу — книжка у хозяина в руке.

— Книжечку изволили читать? — предлагаю ему вопрос.

— Да, хотел читать, но в лесу так хорошо, что и странички не прочел. Чудесный день!

— Это так точно, — поддерживаю разговор: — редкостную весну нам бог послал. Посмотрите, сударь, всякое божие творение радуется, птички звонко распевают, каждая веточка, былиночка к солнышку тянутся, словно поцеловаться хотят...

Взглянул он на меня сбоку, посмотрел так в лицо.

— Ты любитель природы, — говорит. — Вот я читаю, — показал на книжку, — сочинения Левитова: «Степные очерки»... Как он верно и хорошо природу описывает! Ты не читал?

— Где же, сударь, нам читать! Сами изволите знать, много ли у нас свободного времени. В праздник иногда и почитал бы, да книжек-то у нашего брата не водятся.

— Ежели желаешь, — говорит, — я тебе могу дать. Нонечные сочинители описывают настоящую жизнь. Кроме удовольствия, можешь из книжки пользу себе извлечь.

Поблагодарил я хозяина. Дорогою он рассказывал про что в книжках нонечные сочинители пишут, и так меня заинтересовал, что я тут же хотел попросить книжечки, но помешали... Неподальчку из лесу девушка показалась, повернула на проезжую дорогу и сама к фабрике направляется. Вижу, с длинной косой, в белоземельном с голубенькими цветочками платье, фигурка такая высокенькая да стройная, словно тростиночка гибкая. Хозяин заметил.

— Не знаешь, что за барышня? — спросил.

— Да, кажется, из наших... Глядеть, не мотальщица ли. Евлампеева дочь, — отвечаю. — Может, изволили когда ее видеть?

— Может быть, и видел, но хорошо не помню.

Догнали мы девушку, изравнялись: она пообернулась и поклонилась нам. Хозяин приостановился.

— Ты у нас работаешь? — спросил.

— Так точно, — отвечает — я у вас в мотальщицах, Геннадий Яковлевич.

— Что я тебя не помню, точно никогда и не видал? — говорит.

— Где же вам меня помнить? Нас много на фабрике, каждую трудно признать, — отвечает, и в лице у ней нежный румянец выступил. — Вот я так каждый день вижу вас!

Сказала эти слова и на хозяина своими васильками посмотрела, а щеки так и алеют, словно в саду розан цветет. Даже мне она о ту пору не в пример красивее показалась, чем какою я прежде, всякий день ее видал.

— Славная девушка, — сказал хозяин, когда мы от Нины несколько вперед поотошли. — Давно она у нас служит?

— Четвертый месяц, сударь.

— Удивительно, как я раньше ее не заметил! Знал, что живет Евлампей Ивановича дочь, а видеть ее не случилось.

Начал расспрашивать, как она работает и тому подобное, а под конец такой вопрос задал:

— Ведет себя... хорошо?

— Поведения хорошего, — отвечаю: — держит себя даже очень скромно. Аккуратная девушка, очестливая.

Хозяин посматривает на травку и кустики, а по лицу у него что-то светлое перебегает.

Хорошее личико у девушки, — погода сказал, — и манеры славные, а голосок какой!

— Не дурна собою, — говорю, — только в одном есть недостаток.

— В чем? В чем?

— Надо бы подюжее хоть немножко, а то очень уж тоща.

Усмехнулся.

— У тебя вкус особенный, — сказал. — Вон коровы — дюжие, а красы в них мало.

Вышли мы из лесу, прошли луг, и к плотине.

— Славная девушка! — сказал хозяин и оглянулся. — Ну, ты к себе, а мне на ситцевую фабрику надо пойти.

— Слышу: первый свисток — к сбору фабричных. Вздохнул я на крылечко, поглядел вслед хозяину. Направляется к ситцевым корпусам, а сам нет-нет да в сторону

реки и оглянется. Смотрю: Евлампеева дочь по лугам идет, спешит, заслушав свисток, и так-то легко да хорошо идет.

На другой день Геннадий Яковлевич пожаловал в контору, прямо к столу старшего конторщика; посидел недолго, поговорил с ним, и к нам, — только решетка отделяла контору от мотальной. Спросил меня, какова пряжа, не часто ли рвется и прочее, что дела касается. Потом отправился по корпусу, где женщины со шпуль пряжу эту разматывают. У одной посмотрит на работу, взглянет у другой и таким манером идет через весь корпус. Я не выпускаю его из виду и слежу за ним потихоньку... Обыкновенно он так дельвал: пробежит шпульной, видит, что все на своих местах, за работой, и живо назад катит. А в этот раз какое-то особенное внимание оказывает. Любопытно! Вижу, далеко уж прошел и, как будто, в нерешительности: поглядывает по сторонам и кого-то глазами отыскивает. Повернулся в глаголик... Тут я догадался. В нашем отделении было эдакое в стороне местечко, как бы закоулочек: мы прозвали его глаголиком. Редко туда кто даже из нашего брата, приказчика, заглядывал: работали там девки пожилые, да лицом все некрасивые. Нине-то вот промежду их место и досталось. Недолго, однако, в глаголике хозяин пробыл: вижу, обратно идет.

— Пряжа, — говорит, — хороша, — и остановился у моего стола: — моталки не жалуются.

— Точно так-с, — отвечаю: — последняя партия вышла очень даже доброкачественная.

Заглянул ко мне в книгу, в которой расписана выдача работ, увидел графу Нины Евлампеевой и слегка улыбнулся... Ушел в машинное отделение, где миткаль ткут. Перед вечером шпульницы принесли сдавать работу; с ними и Нина. Принимаю я от них выработку, записываю им в книжки, и у себя в книге отмечаю, а сам украдкой на Евлампееву дочь заглядываю. «Недурна девченка» — думаю... Желательно было мне Нину порасспросить, на счет чего с нею хозяин разговаривал, но при других постеснялся: пожалуй, сдуру еще на что подумают, а я человек женатый и держал себя в обращении с женским полом сурьезно. Опять и то принял в соображение: какое мне дело до ихнего разговора? Одно пустое любопытство!

Только с этого самого дня и начало развиваться: как хозяин в шпульную, так уж беспременно к Евлампеевой

дочери. Слово-другое скажет, посмотрит на нее и отойдет. Сядет в конторе, разговаривает с бухгалтером, а сам глаза за перегородку устремляет. «Приглянулась, должно быть, девченка хозяину», раздумываю про себя. Ну, что ж, отчего же и не поиграть, не потешить себя?.. Не только хозяева молодые или главные лица на фабрике, а даже незначительные приказчики имеют свой предмет. У нас на этот счет очень просто было: приглянулась кому молотка или прядилка, подмигнул ей, выходи, мол, в коридор, и с двух-трех слов дело полагено! Даже люди пожилые, степенные, которые супругой и детьми обвязаны, и те на фабрике свой предмет имели. Такой уж, значит, у нас климат особенный... Стал я примечать: хоша дело самое обыкновенное, но лицо-то в этом случае важное замесалось — хозяин.

Неделя минула, две, с месяц времени прошло, а положительного ничего не предвидится. Зайдет Геннадий Яковлевич в мотальную, перемолвится там словом, — и только, а настоящего обозначения нет. Товарики Нинины пересмеиваются и шушукуют промеж себя, но прямо и они ничего не высказывают. Ну, а у нас, ежели что такое пронюхают, первым долгом все на улицу вынесут. Разгуливаясь когда по лесу, встретишь Геннадия Яковлевича; если увидит, поговорит, а то углубится в книжку и никого не замечает. Приводилось и так его видеть: гуляет, держит в руке разогнутую книжку, а сам куда-то вдаль смотрит и мыслями бог знает где носится. Иногда в лесу повстречаешь и Нину, — после обеда возвращается на фабрику, — но чтобы когда-нибудь с хозяином вместе увидеть, — ни разу не доводилось. Значит, ничего такого нет, не стоит понапрасну и любопытничать. Бросил я эту глупость и перестал внимание обращать... Но что ж вы полагаете, сударь? Ведь, девченка-то завлекла хозяина!

*

Отправился я раз обеденной порой в рощу. Неоднократно замечая, что Геннадий Яковлевич прогуливается с книжкой по одной и той же дороге, я, чтобы не отвлекать его от чтения, стал избирать другие места, где ни дорожки, ни тропинки не проложено. Походишь, где присядешь, и любишься, а иногда на травку приляжешь, глядишь сквозь зеленые верхушки дубов да сосен на небо и

блаженствуешь... Вот так-то однажды я прилег, лежу между кустами и мечтаю. Тишина в лесу, одни птички весело распевают и на разные голоса заливаются. «Господи! какая это красота и вверху, и внизу», развожу я так мыслями: «там вон небо голубое, солнышко красное сияет; здесь — роща, деревья в пышном убранстве, цветочки разные из травы глядят, и благоухание от них распространяется... Значит, все это на радость человеку создано!.. А мы злобствуем, друг дружку осуждаем и топим своего ближнего. И всему этому причина — дьявол, который нами руководствует и человека на человека натравляет... Зачем только господь бог дозволил окаянному смущать мир? Зачем допустил властвовать над сердцами человеческими?..» И так я, сударь, в ту пору высоко занесся разными мечтаньями, что, после даже своему духовному отцу на исповеди открылся. Помню, батюшка меня несколько пожурил. «Это», сказал он, «тебя бес свободомыслия искушал. Вперед избегай, а то для тебя не хорошо может выйти»... Ну-с, лежу я, мечтаю и мыслями своими нивесть как далеко заношусь, — вдруг... Я даже от испуга перекрестился... За кустами, почти над самым правым ухом, мужской голос негромко раздался.

— Скажи мне только одно слово...

И голос порвался... Жду... Ответа нет.

— Я тебе все высказал, — слышу через минуту мужской голос, и голос тот мне знаком. — Я долго не решался говорить, думал, что это так... пройдет... Но вот уже месяц, а чувства во мне все сильнее... Отвечай же, милая!

На этот раз я услышал другой голос.

— Нет.

— Что «нет?» Не любишь?

Не могу достоверно сказать, точно ли это так было, или только мне почудилось: нето ветерок по листьям прошепестил, нето из чьей-то груди вздох протяжный вылетел.

— Зачем вы это мне говорите! — словно бы жалобой какой зазвучал другой, женский уж голос.

— Да, ведь, я люблю тебя! Неужели ты мне не веришь?

— Ах, не мучьте! — взмолился женский голос. — Не слышала бы я от вас ничего... жила бы век спокойно... и никто, никто в жизнь свою не узнал, что у меня на сердце, — и слова эти тихими рыданиями прерывались.

Первое, что мне пришло в голову, — это вскочить и, как можно скорее, без оглядки бежать! Но опамятовался и

переменил свой план. Ведь, меня узнают, подумают, что нарочно подкрался и подслушивал. Нет, будь что будет, а я с места не тронусь: притворюсь, что заснул, и не дожду. Вы догадались, сударь, на кого я налетел?

— О чем же ты плачешь? — спрашивает мужской голос. — Разве я тебя обидел?

— Ничем вы меня не обидели, Геннадий Яковлевич, но только чувств своих я вам не открою, — отвечал женский голос. — Нет, не бывать нашей любви!

Каково? Молоденькая, а такой отпор!

— Отчего же не бывать? — спрашивает Геннадий Яковлевич.

— Вам нельзя меня любить... Год, два, пожалуй, вы еще будете любить, а там жениться вам надо. Тогда я не перенесла бы этого... Зачем мы такие несчастные!

— Никогда я не женюсь! Нина, милая, хорошая, так ты любишь меня?

— Позвольте, — и почудилось мне опять, будто бы девушка вся затрепетала и быстро поднялась. — Забудьте про слова свои прелестные!.. Я бедная, простая девушка.

— Постой! Куда ты?

— Не бывать этому! — вскрикнула. — Ах, зачем вы только про свою любовь мне сказали! — и упорхнула тою же секундою птичка.

Повыждал я немного времени, осторожно привстал, с минутку прислушался и тихонько эдак пораздвинул кусты: вижу, — прогалинка, где беседовала парочка, трава попримята, и никого уж нет. Повернул я в противоположную фабрике сторону и, давай бог ноги, бежать, бежать, такого кривуля задал: едва-едва ко второму свистку поспел!

Ничего я, кажется, худого не сделал, — не нарочно же я их подслушивал! — а чувствовал, точно я чужую вещь похитил или что другое нехорошо сделал. Молод — двадцати восьми лет еще тогда мне не исполнилось — и потому молодушен был. Насилу вечера дождался. На мое счастье, хозяина после обеда не видал, а на ту, Нину, и глаз поднять не смел. Вот какой легкомысленный характер имел!

Дома поужинал и завалился спать; начал было, уже засыпать, — ан эта самая лесная история поднялась!.. И полезло, и полезло в голову; ворочаюсь с боку на бок и хоть бы на секунду какую забылся. Жену даже сбеспокоил, раза два она пробуждалась.

— Что ты ворочаешься? — спросит. — Али что кушает?

— Да, покусывает, — промолвишь. — Сейчас засну.

А куда спать! Все думаю про историю за кустами. Слышу, что он говорит, и что она ему отвечала... Хитрая, видно, девчонка: сразу не хочет поддаться, а упорством еще больше завлечь. Но как вспомню: «ах, зачем вы про любовь свою мне сказали!» и в ушах опять жалоба да тихий плач посылшатся, так инды жалко делается сиротинку. Ведь, она любит хозяина чистосердечно, а его любви не принимает. Значит, за судьбу свою опасается... Оно и действительно: склонись на его любовь, а дальше-то что? Положим, Геннадий Яковлевич доброго сердца человек, не кинет несчастную на произвол, как прочие, не оставит без всякого внимания и наградит, но все же... особенно, ежели девушка станет продолжать к нему свои чувства. Представляется мне Евлампеева дочь, как она в первый раз с хозяином встретилась: щеки заалелись, глазки-васильки на него устремились, и лицо словно бы все переобразилось. Но вряд ли, думаю, на-сам-деле она такова, вернее всего только фокусничает. Откуда чему в ней взяться, чем она превосходит других мотальщиц? Те — мещанские дочери, а эта из лакейской семьи. Немного, полагать надобно особенных чувств от папаша с мамашей получила, образования тоже высокого не достигла. Разве только одно: родилась она, может, в то время, когда еще Евлампей Иванович за господами состоял, и в ней три золотника дворянской крови находится. Но про это мы неизвестны. Почему же хозяин к ней такое пристрастие возымел?.. Не постигаю!.. Ровно бы уж это неспроста... Но опять тоненькая фигурка мне представляется, личико нежное с алыми щечками, глаза лазоревые, и сдается, что если бы я сам на месте хозяина очутился, беспременно бы Нину Евлампееву полюбил... Право, ей богу, сударь, так вот точно и подумал! Каких несообразностей с человеком не бывает... Всю ночь напролет продумал, на зорьке лишь забылся.

Ну-с, что-то дальше будет — посмотрим! Прежде всего Евлампеева дочь прекратила хождение через лес, хотя ей рощей гораздо ближе к домишку, где она квартиру снимала, чем другим путем ходить, потому у самого моста он приткнулся, а городом дорога на полверсты дальше выйдет. Стала она на фабрику и домой отправляться улицами, да уж не одна, как прежде путешествовала, а в компании.

с товарками. Геннадий Яковлевич по шпульной прогуливается, но к ней редко подходит... Точно промежду ними отчуждение произошло. Повидимости, оно так и выходило, но на самом-то деле совершенно наоборот, — по крайней мере, что хозяйна касается. Чем реже он к Нине навещался, тем больше в нем сердце распалось. Понятно, часто подходить не было никакого резонанса, потому со всех сторон глаза и уши, стало про чувства свои изъясняться неудобно, а свидеться с ней наедине не выпадает случай. Вижу, спокойя не знает Геннадий Яковлевич, нигде места себе не находит: убежит в ткацкую, — летит уж обратно; пойдет по шпульной, — с половины вернется; присядет в конторе, возьмет книжку, будто бы читает, а глаза за решетку устремит. Вчуже за него становилось больно! Такое важное лицо, первая, можно сказать, персона в городе, а от лакейской дочери прискорбие души имеет! А та хоть бы улыбнулась ему, с приятностью когда на него посмотрела, — ничего, только вся вспыхнет, увидев его, притаится, точно птичка пойманная, и глядит испуганно. Не выдержал хозяйин. Улучил раз минуту, увидал, что я один, и подошел ко мне.

— Дорофей Ильич, — заговорил, и на лице у него беспокойство написано. — Могу я на тебя в одном частном деле положиться?

— Помилуйте, сударь! Я для вас...

— Хорошо, — перебил — благодарю... Вот эту записочку, — подает мне конвертик, — пожалуйста, отдай Нине Евлампеевне... Но сделай это так, чтобы из посторонних никто не заметил, и она не знала, через кого ей письмо доставлено.

— Слушаю-с, в точности самым аккуратным образом исполню. Прикажете ответ получить?

— Ответа не будет. А если завтра, раньше звонка, домой она попросится, то отпусти ее беспрекословно.

— «Так вот оно какой оборот дело принимает!» — подумал я... Может, по-настоящему, мне следовало отказаться от ихнего поручения, так как для меня риск большой перед другими хозяевами, если бы от этого что особенное случилось. Но, во-первых, видя со стороны Геннадия Яковлевича такое беспокойство и большую совестливость, а во-вторых, — он же надо мной главный хозяйин! — оказывает мне перед всеми прочими доверие, то я не посмел его воли ослушаться и поручение точным образом исполнил.

Весь следующий день Евлампеева дочь была сама не своя: то покраснеет, то побелеет и сидит в задумчивости, о работе и не заботится. Однако, до пяти часов кое-как протянула, а потом является ко мне и говорит:

— Дозвольте мне отлучиться, Дорофей Ильич!

Ну, я такую политику показываю, как будто ~~ничего~~ и не знаю.

— Что же, — говорю, — ты своего урока не окончила?

Потушилась, вся зарделась, с лица меняется.

— Дело одно требует... — чуть слышно промолвила.

Хотел, было, легонько выговорить, принимая от нее урок, что мало сработала, но, как вижу ее большое смущение, промолчал.

Не утерпел я, в окошечко за ней посмотрел: вижу, к роще направилась, и походка у ней какая-то нерешительная... И с чего, сам не знаю, сердце во мне ту же минуту упало!.. Надо полагать, — любопытство уж очень разгорелось!.. Ну, значит, сегодня должно произойти окончательное решение. Думал я так на фабрике, думал у себя дома, и на утро с теми же думами в мотальную прибежал. С нетерпением ожидаю развязки. Грудь словно тисками сжимает.

Какие в лесу разговоры велись, что там происходило, про это я уж много времени спустя узнал. Утром Нина, как ни в чем не бывало, в свое время явилась, поздоровалась со мной без всякого конфуза и открыто мне в лицо посмотрела. Вот тебе и на! Что же это такое?.. Приметил только, что, как будто, у девушки горькая усмешечка на устах шевельнулась... Хозяин раза три в контору прибегал, но на самое короткое время и в каком-то расстройстве, а к нам в отделение и не заглянул. Это уж окончательно меня сразило: ничего постигнуть не могу!.. А дня так через три Геннадий Яковлевич в Москву уехал: получил денешу от Василия Яковлевича, брата своего, что под Конионом Яковлевичем шел и большую часть года по делам мануфактуры в столице проводил. Только хозяин уехал, Евлампеева дочь такого рода заявление делает:

— Увольте меня, Дорофей Ильич...

— Как? Что такое?

— Я дала обещание...

— Какое обещание? Кому?

— В Боголюбово сходить, божией матери помолиться.

— Это от работы-то? Подожди, в августе владычица

сама к нам в гости пожалует. Намолишься, сколько будет душе твоей угодно.

— Я должна исполнить свое обещание, отпустите...

Не понимаю! Что говорить, нет слов, что путешествие к святым местам или на богомолье к чудотворным иконам дело похвальное, но всему есть свое время и определенный час. Наши хозяева на что уж, кажется, люди набожные, — ни одного праздника не пропустят, чтоб к заутрене и обедне в храм божий не съездить, и очень любят, когда их подданные аккуратно службу церковную посещают; но из-за работы, хотя бы и на богомолье, строго воспрещалось; а если уж ты не можешь преодолеть своего усердия, так получи чистый расчет и убирайся с фабрики. У нас такое положение: живи, пока не прогонят, а ушел по доброй воле, — в другой раз не смей являться, не примут. Полагая, что Нина фабричных порядков не знает, стал ей излагать и советовать. Жалко мне ее было...

— Все равно, — говорит, — пожалуйста мне расчет.

— Да, ведь, у тебя семейство. Братишки оба много ли добудут, — всего шесть целковых в месяц, — а надо себя на что-нибудь содержать, жизнь у нас в городе дорогая.

Ничего в резонт не принимает. Экой характерец!

— Ну, на время поставь за себя другую. Место, по крайности, за тобою останется!..

Подумала.

— Очень хорошо, — говорит, — я найду, кем заместить.

Доложил я главному бухгалтеру. Отпустил, только заработок хотел придержать до возвращения; но подоспела дачка, и я исходатайствовал выдать ей зажитые деньги. Обещала в неделю свое богомолье совершить.

Наступил срок, — не подъявляется. Геннадий Яковлевич из Москвы воротился. Первым делом — в наше отделение, не заходя даже в контору; ласково так кивнул мне и по шпильной побегал. Минуты этак через две назад ко мне, сам в расстроенном виде. Я догадался: узнал уж от моталок!

— Не знаешь, когда Нина Евлампеевна придет? — спрашивает.

— Да уж срок прошел: на одну неделю уволилась.

Постоял, словно в нерешительности какой, и потом промолвил:

— А как ты полагаешь: воротится она к нам на фабрику?..

Я, не подумавши, в ответ ему и брякнул:

— Без всякого сомнения, сударь: не сегодня, так завтра подъявится.

Посмотрел он на меня испытующим оком, как будто что на лице моем желал прочесть, медленно повернулся и направил шаги в контору.

И жестоко же, сударь, я ошибся, сказав такие слова хозяину! Которую на свое место Нина моталку поставила, первая она мне и весть принесла, что девчонка больше работать у нас не станет. Так этим сюрпризом меня ниспровергнула, что я не скоро мог с чувствами собраться и в свой разум взойти. Перед хозяином себя оконфузил — раз, а другой — очень мне обидно сделалось: зачем обманым образом поступила? Надумала совсем уходить, — сказала бы прямо, а то на богомолье свалила... Но нечего делать, при первом же случае, скрепя сердце, Геннадия Яковлевичу доложил. Посоловел инды наш голубчик белый, услышавши про самовольный уход Евлампеевой дочери!

Посидел у меня за столом, закрывши руками лицо, и подконец тяжело так вздохнул.

— Бог с ней! — с трудом слово вынес и встал.

— А эту, сударь, моталку, что на место беглянки попустила, уволить прикажете? — спросил я.

— Зачем? Если она хорошо свое дело знает, пускай работает. Уж потому одному ей не откажу, что она Ниной Евлампеевной рекомендована.

Как за обманый поступок отплатил! Что значит душа и благородство в человеке!

В большом унынии Геннадий Яковлевич все время пребывал, а порою я замечал, даже как бы он вне себя... Да чего, сударь, мое дело уж совсем постороннее, а я сам без Нины в какую-то грусть впал. Пройдешь мотальной, взглянешь, где она работала, и внутри что-то сразу пусто делается... Ей-богу, сударь, правду вам сказываю. Хоша она у нас и пяти месяцев не прожила, а уж очень я привык каждый день видеть ее личико беленькое да глазки хорошие!.. Так это мы и продолжали вплоть до Нижегородской ярмонки: хозяин в унынии и вне себя ходит, а я в этой самой грусти...

Отправили на ярмонку товар, ситцы; приказчики стали собираться, понадобился лишний человек. Петр Яковлевич, меньшой брат, который ситцевою фабрикою управляет, требование в нашу контору: нет ли у нас надежного

кого из приказчиков для ярмоночной торговли? Геннадий Яковлевич прямо на меня указал.

— Хотя мне не хотелось бы тебя отпускать, — сказал, — но ты можешь себя там заявить и со временем перейти на должность ярмарочного приказчика.

— Покорно благодарю, сударь, — говорю. — Чего же бы уж лучше для меня?

*

Укатил я к Макарью. Взял ярмонку, отторговался вместе с прочими служащими и в начале сентября домой воротился. А у хозяев, вообще, такое правило: все приказчики, сколько бы их там на ярмонку ни ездило, обязаны, по возвращении, прямо с дороги в домовую контору въехать. В числе прочих и я попал. Там уж все хозяева нас ждут. Сам Конон Яковлевич изволил прибыть — капитал, что после родителя ему достался, в общем обороте находился. Встретили нас очень хорошо, потому торговали мы отлично на Нижегородской; главному приказчику хозяева руку подали, а Конон Яковлевич, два пальца протянул и головой ему, не без приятности, мотнул, а это, по-нашему, очень много означало: уж если Конон Яковлевич только обойдется с человеком как следует, не обругает и не нагонит страха, так каждый почитает себя за самого счастливого человека на свете.

Главный приказчик первым долгом шкатулку с деньгами при помощи двух артельщиков на стол перед хозяевами поставил, ключик от нее и отчет Василью Яковлевичу с почтением вручил.

— Садитесь, молодцы! — приглашают нас хозяева.

— Эй, Степка! Чаю живо подавай! — командует Павел Яковлевич.

— Хорошо поторговали, господа, — говорит Василий Яковлевич, — он, бывая часто в Москве, научился более вежливо обращаться со служащими, особливо с ярмоночными приказчиками, — никогда не собачился, как старший братец.

— Слава богу, — отвечает главный приказчик: — если бы препорцию товара вдвое больше привезли, так и тогда бы начисто расторговались. Продавали преимущественно за наличные, а платежи все аккуратно должники оправдали.

— Это нам очень приятно слышать, — говорит Павел Яковлевич.

— Старайтесь и на будущее время за наличные продавать, — вставил слово младший, Петр Яковлевич: — главное, чтобы не распускать в долги. Старым покупателям, людям состоятельным и давно испытанным, дозволяем отпустить в кредит — из двенадцати процентов годовых.

Не угодно ли? Ему от рождения семнадцати еще нет, а понятия какие зрелые имеет!

— Торговлей-то вы мастера хвастаться, — сказал Конон Яковлевич, — а сколько за ярмонку вы промотали, — об этом умалчиваете? Чай, немало хозяйских денег в трактире у Барбатенко оставили да в Кунавине спустили!

Главный наш с усмешечкой почтительной отвечает:

— Сколько на себя израсходовали, — увидите из представленного отчета, сударь. Что насчет веселых мест, то наши молодцы, кажется, туда не заглядывали, Конон Яковлевич. Разве только кто потихоньку от меня, — в этом заверять вас не могу; в одном смею поручиться: хозяйские интересы в таком случае нисколько не пострадали.

— Ну, ты за себя ручайся, а за других-то не очень! — вспыхнул, было, старший хозяин, но сейчас же обошелся, услышав вопрос Василия Яковлевича.

— Прикажете, братец Конон Яковлевич, пересчитать деньги?

— Чего же дожидаться? Начинай!

Как открыл шкатулку, увидел старший хозяин свертки с золотом да пачки с радужными и прочими, весь так и осатанел, впился глазами в деньги и не оторвется... Другие братья считают, а он глядит и только одно твердит:

— Рассматривайте каждую, смотрите, бумажки фальшивой не всучили ли!

Мы, младшие приказчики, в отдалении от стола, за которым деньги считают, пьем чай и любимся на эту картину. В первый раз я удостоился такой великой чести, попал в домовую контору, сижу теперь на мягком стуле в присутствии всех господ хозяев и вижу, как при мне огромные суммы поверяют. Так это важно происходит, в полной тишине и почтительности, что с непривычки, что ли, на меня страх даже стал находить... Конона Яковлевича голосок: «разглядывайте хорошенько, нет ли фальшивой» —

аздается среди тишины. Признаться сказать, с нетерпением ожидал, когда церемония эта окончится, и я пойду домой, чтобы вместе с своим семейством чаю выпить!.. Часа два считали; наконец нас освободили.

— С отчетом верно, — сказал Василий Яковлевич: — сейчас касса налично. Подробности после на досуге рассмотрим. Ты, Иван Михайлович, с нами еще посидишь, а вы, господа, можете по домам расходиться.

Мы разом поднялись, благодарим хозяев за угощение. Геннадий Яковлевич на меня посматривает, сам такой веселый.

— Иван Михайлович, — к главному обращается: — довольны ли вы Корягиным?

Тот повел на меня глазами. — Корягин-то я и есть самый, сударь.

— Молодец расторопный, — отвечает. — Новичок в торговом деле, а не ударил себя лицом: быстро в знание дела вникнул и понимание в обращении с покупателями большое оказал.

Геннадий Яковлевич весь просиял.

— А ты при нем подобным образом не отзывайся, — возмущенно сказал главному Конон Яковлевич: — возмущается о себе молокосос и начнет зазнаваться. Поди, больше в Кунавино да у Кузнецова вникал, чем хозяйским делом занимался.¹

Приказчики на шутку хозяина учтиво хихикают, а он смотрит на меня и усмехается, но не ядовито, как всегда. Лицо Конона Яковлевича было круглое, чисто выбрито, только одни жиденькие бачки за щеками торчали, а волосы черные под гребенку острижены и с макушки месяц светит. Большое он сходство имел с прежними подьячими, которые после своего уничтожения в нашем городе двокатами промышляли. Ну, довольные хозяйской лаской угощением, повышли мы вон из конторы.

— Удивленье, какой сегодня Конон Яковлевич веселый! — переговаривают дорогой приказчики. — Шутки даже... Это с ним в три года только раз случается...

Дома, конечно, мне обрадовались. Матушка-родительница, жена с сынишкой выбежала за ворота встретить. Разумеется, всем по подарочку и гостинчиков при-

¹ Кунавино (слобода) и заведение Кузнецова — притоны всевозможных безобразий в Нижегородской ярмарке.—Прим. автора.

вез. Расспросы про ярмонку посыпались, сами разные новости мне сообщают. Что-то уж очень хорошо мне после разлуки в своем гнезде показалось. Поужинали — и спать. Когда мы с супругой улеглись, она говорит:

— А у меня, Дорофей Ильич, для тебя есть что-то новенькое. Нарочно к ночи берегла... Рассказать ли?

Я зевнул. С дороги спать хотелось.

— Ну что, говори, пожалуй.

— Ты ничего про своего хозяина, Геннадия Яковлевича не слышал?

— Где же мне про что слышать? Сама знаешь, два месяца в отлучке пробыл.

— Так. А я думала, что и до вас слух-то дошел. У нас весь город про это толкует.

— Да что? Не тяни, рассказывай скорее, ато засну.

— Геннадий Яковлевич с Евлампеевой дочерью очень близок: должно быть, сошлись.

У меня и сон пропал.

— Что ты?! Врешь!

— Что мне врать-то, — пообиделась несколько супруга: — истинную правду тебе сказываю. Весь город уж знает.

— Да что знает-то?.. Мало ли, что зря болтают, так всему и надо верить?..

— Да ты подожди. Чай, не один раз вместе-то их видели: рядышком в шарабане катаются. Он сидит, а Нина лошадью правит.

Я даже с подушки приподнялся.

— Окрестись, — говорю, — образуй себя! Разве это статочное дело, чтобы хозяин открыто со шпильницей себя показывал? Геннадий Яковлевич человек совестливый, воспитанный.

— А ты слушай, — супруга продолжает. — Хозяева нынешним летом на дачу не выезжали. Геннадий-то Яковлевич туда Нину и укрыл, сам по вечерам к ней ездит, в праздники целые дни вдвоем проводят и катаются. Ваши же моталки, когда по грибы ходят, встречали их постоянно.

— Да неужто все это правда? И давно?

— С месяц времени будет. А теперь он ей фатеру нанял! У Фирсычева, что на прогоне, повыше моста, где прежде они жили, — большой дом на каменном фундаменте в пять комнат с мезонином... Мамаша Нинина и торговляшку прекратила: не видать уж ее на базаре-то.

— Еще бы она за лотком с печенкою сидела! — с злобой тут какой-то я жене сказал: — довольно, кажется, вполне и того, что дочка не стесняется публично себя показывать! Бесстыдница, миллионщика срамит!

— Ну, уж ты и опрокинулся! Не совсем-то публично: это на даче они только вдвоем катаются, а по городу ни разу их вместе не встречали.

— Хитрая девчонка, — лежу это я и с злостью думаю. Нечего сказать, ловко умела обойти хозяина и дельцо чисто обработала: на полном, значит, теперь содержании!.. Превосходно! Так вот для чего все эти фокусы она тогда проделывала! Не всякая актриса, пожалуй, на театре свою роль так сыграет, как у нас лакейская дочка... Молодец Нина Евлампеевна!.. Внутри меня что-то ворочается, словно мельничный жернов, и ударяет по сердцу, — даже грудь инды стало ломить... Досада эта все разбирает... На ярмонке жил — вспоминал о девчонке, иногда по ночам, днем, за делами, вспомнишь ли о ком — живо она мне представлялась: в образе кротком и с тихою печалью в лице... так что и жалел-то я ее, и тяжести никакой не чувствовал, а даже совсем наоборот — легкость и веселость духа испытывал... А теперь кроме одной злости и вражды к ней ничего в себе не находил. Сам знаю, что довольно даже глупо злиться: что мне до нее? Разве она чем завлекла меня? Да, ведь, я женатый человек, сынишка у меня пяти годков, что я за оболтус, что такими мыслями терзаю себя!.. Супруга, притронувшись к моему плечу, должно приласкаться желала... Я как на нее зыкнул:

— Отстань!

— Господь с тобой, — проговорила: — что ты сердитый какой?

— Спать хочу... чай, знаешь, умаялся в дороге-то.

Не то чтоб я с женою плохо жил, чтоб ссорились мы с нею и тому подобное — нет, этого не было; а только я хладнокровно к ней относился, приверженности особой не питал: жил, как у нас все мужья с женами живут. Только я от жены не баловал... Ну, а тут эта, Евлампеева дочь!.. Вот еще напасть какая!

Заснула ли жена, — не могу объяснить, а я все думаю про девчонку и злюсь, злюсь...

На фабрике преемственно день провел. Меня с приездом все поздравляют, разные новости передают, и бухгалтер со мною куда обходительнее прежнего и сам

первый на приключение с хозяином намекнул; но я слушаю и принимаю все с равнодушным видом! Заменявший меня приказчик сдал книги, вступил я в свои прежние обязанности и сижу за столом статуем каменным. Один из моих подручных, Васька, — в мальчиках еще он на фабрике служил, — подлетел ко мне и начал, было, про счастье Нины Евлампеевны докладывать. Я как схвачу его за вихры и давай трясти да приговаривать: «молод еще, молод, подожди, сперва годы в мальчиках выживи, в приказчики выдь и настоящим человеком сделайся, а потом уж и про счастье девок рассуждай!» Приговариваю так, а сам подручного трясусь. Больно надрал ему вихры! В течение дня еще несколькими мальчишкам дал по рвачке, к моталкам за всякую безделицу придирался и пушил их до невозможности... Прямо сказать, вроде какого изверга подчиненным себя показал. Геннадий Яковлевич, веселый да радостный, подбежал, поздоровался так легко и словом приятным меня нашел.

— Я очень рад за тебя, Дорофей Ильич, — сказал. — Иван Михайлович вчера, после вашего ухода из конторы, много для тебя лестного говорил. Надеюсь, Макарий к повышению тебе по должности послужит.

Не почувствовал я, сударь, добродетели и расположения хозяйского.

— Что же, Ивану Михайловичу недовольным мною быть нечем, сударь, — ответил: — старался из всех сил, в поведении себя ничем не замарал...

Хозяин посмотрел мне в рожу-то идольскую.

— Да ты что? Или нездоров?

— С дороги, должно быть, сударь, а, может, и от пищи переменной... не совсем здоровится.

— Обратись к доктору. В одиннадцать часов он будет на фабрике.

— Пройдет и так, сударь!

Вижу, хотел он что-то добавить, но, взглянув опять на харю мою отвратительную, промолвил: «ну, да об этом после»... и отошел.

Вместо признательности, злоба во мне поднялась даже против самого Геннадия Яковлевича.

Дня с три я вел себя настоящим аспидом-василиском. И чего в эти дни не наслушался! По фабрике говор о хозяине; встретишься с кем из знакомых — разговор про него же; на базаре, в лавках только и слов, что про Ген-

адия Яковлевича да Евлампееву дочь! И каких басен олько ни насочиняли! Просто до нестерпимости уж стало! А хозяин опять порадовать захотел, в субботу мне объявил:

— Тебе жалованье прибавлено: пять рублей в месяц. Темного, но ты сам знаешь, как мои братцы на этот счет угоньки: не любят служащим прибавки делать. Все же тебе годится; получал двадцать рублей в месяц, а теперь будешь получать двадцать пять.

Еще бы не годилось! Шестьдесят рублей в год по тогдашнему моему положению очень много для меня значило. Но и тут, сударь, настоящей признательности я хозяину не выразил, поблагодарил я его прехолодно, самым бессовестным образом... Не обиделся на скотство мое, а улыбнулся приятно и сказал:

— Иван Михайлович тебя на крещенскую в Харьков возьмет: он об этом уж говорил со мной. А потом года через два — конечно, от старания твоего будет зависеть — окончательно на должность ярмарочного перейдешь.

И опять что-то желал еще поведать, но улыбнулся и головою лишь тряхнул: «после, мол скажу, а теперь ты все еще идилом смотришь».

Домашним, однако, я объявил о прибавке жалованья. Известно — рады! Матушка на иконы перекрестилась, жена от умиления в слезы, сынишка запрыгал. Но меня и жалованье не куражит.

Лежим мы ночью с женой, и оба не спим. Думала ли она о чем — не знаю, а я все про Евлампееву дочь... Как я жалел ее, непутную, а она что сделала! Отговаривал от богомолья; выхлопотал ей заработок, устроил на время отлучки другую моталку, чтоб только за ней место сохранить... Прямо надо говорить, дурака здорового разыграл!.. На богомолье увольте!.. Эх на какие уж хитрости поднялась!.. Безбожница!..

— Жалко Геннадия Яковлевича, — сказал я вслух. — Ничего она не стоящая девчонка и совсем пропащая. Помнишь, по лету к боголюбимой отпросилась? Обещание, видишь, она должна исполнить, — а вместо моления-то просто ловушку хозяину подстроила. Не побоялась даже греха, — святыми местами какой умысел прикрыла!

— Не грехи сам, — супруга-то мне в ответ. — Недавно на базаре я с Палагеей кривой повстречалась, так она мне порассказала, как они вместе с Евлампеевой дочерью в Боголюбово ходили. «Не ожидала я, что с ней поприят-

чилось, — рассказывает Палагея. — Пришли мы в монастырь, стали перед иконой царицы небесной. Нинушка пала на колени и таково-то усердно молится, к заступнице хорошо вздыхает!.. Я уж отмолилась, устала, — от поклонов и поясницу у меня разломило, — а Нина знай все молится, и так молится, что я ровно бы в жизнь свою такой молельщицы не привидывала. «Пойдем», говорю: «вон товарки наши уж вышли из церкви». А она и не слышит, все молится, все молится, да к земле перед заступницей небесной припадает и го-о-рскими слезами сама обливается. «Пресвятая богородица», шепчет, «спаси меня! Помоги!.. Не дай, мне, сироте беззащитной, погибнуть!» — Инда меня, — говорит Палагея, — слезы прошибли, гляючи, как она, эдакая молоденькая, да убивается»...

— Стой! — закричал я. — Это правду кривая тебе передавала?

— Экий ты, испугал меня! — поотстранилась супруга. — Ну, что кричишь!.. С чего кривой лгать-то? Чай, уж она не молоденькая, и хоть один глаз у нее с изъяном, а совесть в ней неповрежденная, прямая.

— Ну, рассказывай, что дальше-то?

— А дальше вот что она говорила: «Вывела я девушку из церкви, заглянула ей в лицо, а у ней глазыньки по кулаку наплаканы. После, как пошли мы в обратный путь, к домам, я Нину дорогой и спросила: «Видно», говорю, «у тебя, девонька, горе-печаль большая есть на сердце?» А она, помолчавши мало, мне и отвечает: «Горе меня впереди ждет, Палагея Евстигнеевна, а пока одна тоска мучит — сме-е-ертная тоска! Если я превозмогу себя, тоску свою преоборю, то, может, и горе меня тогда минет, а нет... бог один знает, какая участь постигнет». — «Так об этом» ты, касатушка, со слезьми к владычице припадала, чтоб она, матушка, злосчастную судьбу твою отвратила?» — «Молила о том я пресвятую деву богородицу», отвечала Нина, «чтоб она помогла мне тоску мою одолеть да избыть». — «Должно быть», — добавила кривая, — про теперешнее свое положение тогда намекала».

Выслушал я супругу и так легко вздохнул, точно бы с меня тяжелая гора свалилась. А жена вот что промолвила:

— А ты вперед, Дороша, не осуждай человека, а прежде разузнай доподлинно и потом уж говори. Евлампееву дочь ты обвинил в страшном грехе, а на поверку вышло,

что она, действительно, к владычице ходила. Теперь по новости девушке весело, любовь ее радует, а господь ве-
дает, какая судьба впереди ее ожидает!..

Не вытерпел тут я, обхватил рукой жену и крепко ее
головушку к груди своей прижал.

— Добрая ты моя! — выговорил я. — Золотое у тебя
сердечушко, Аксиньюшка!

И так она мила и дорога мне сразу стала, что и выра-
зить словами невозможно. Словно я жену свою в эту ми-
нуту только узнал как следует, впервые увидал душу в
ней хорошую, человеческую, а не бабью... Совестно мне,
сударь, во всех своих слабостях вам признаваться, — я
человек уже поживший, — но как вспомнишь про эту са-
мую историю и что с нею в моей жизни соединено, так,
поверите ли, будто вот сейчас опять все перед глазами
проходит, и кровь в жилах сильнее забьется. Ни злобы
уж этой дурацкой, ни чувств прежних к Нине Евлампеев-
не с этой минуты во мне не стало, а что-то новое, хоро-
шее да тихое появилось, и жалость, — только не преж-
няя, а человеку доброжелательная.

— Боролась девушка, — рассуждаю, — с горькими
слезами молилась... Какую, значит, муку в душе своей она
носила, преодолевая себя!.. Но любовь ее поборола... Ну,
и решилась!

— Ты что бормочешь-то? — спрашивает жена. — А
я, Дороша, как у тебя на груди-то сладко забылась! Пора
и тебе спать; усни, родной!

Так-то вот, сударь.

Хотя перемена в судьбе Нины Евлампеевны чрезвы-
чайная произошла, но сама она несколько не изменилась.
Другие в ее положении очень возгордятся или отчаян-
ность на себя напустят, а она даже еще скромнее да тише
стала. Переехала с семейством на новую квартиру и уеди-
ненный образ жизни повела. Братишки попрежнему на пря-
дильной в присучальщиках продолжали работать, а она с
мамашей, кроме хозяйства по дому, ничего другого не зна-
ли. Геннадий Яковлевич к ним ежедневно приезжал, все-
равно как в свой дом, несколько не стесняясь, что сосе-
ди его видят: открыто себя держали. А по прошествии
некоторого времени Нина Евлампеевна начала у себя при-
нимать барышень, учительниц из женской гимназии. Ну,
конечно, в городе поговорили, посудачили, а потом и пе-
рестали косточки перемывать. Дело самое обыкновенное!

Только за одно хозяина осуждали: очень открыто к ней ездили; следовало бы, как другие прочие, в секрете попридерживать и виду не показывать. Разумеется, за глаза Нину Евлампеевну иначе не называли, как «сударынею Геннадия Яковлевича», а фабричные мальчишки, когда она по улице проходила, вслед кричали: «Вон Нина Геннадия Яковлевича идет!» Но в глаза все перед ней лебезили, уваженье большое оказывали и всякие льстивые речи говорили. Братцы Геннадия Яковлевича тоже про эту историю узнали, но внимания никакого не обратили: дело самое обыкновенное! Так все само собой и образовалось.

Но узнал я Нину Евлампеевну, какой она есть человек, когда стал у нее бывать, и увидел, как она, при всем довольстве, жила и вела себя. Когда я от глупостей своих освободился, пришел опять в свой прежний образ, Геннадий Яковлевич раз мне и говорит:

— Ты, Дорофей Ильич, побывал бы у Нины Евлампеевны: она давно желает тебя видеть.

Вот я, сударь, в праздничек однажды приедлся получше и отправился, — конечно, постарался так пройти, чтобы соседи ихние меня не приметили. Предосторожность эту я потому взял, что могут на девушку разное напести... Приняла меня, как ближайшего сродственника! Но что-то словно бы слегка меня кольнуло... Ничего, прошло. Усадила на кресла, велела подать самовар и сама на диванчик уселась, чай разливать начала и угощать. Мамаша ее сухарей обсыпных в корзинке подала, к нам присоединилась. Осматриваюсь: комната просторная и чистая с приличной, но не богатой обстановкой: диван мягкий, два кресла и с дюжину венских стульев; по углам кругленькие столики, покрыты вязаными салфеточками; на диване и креслах тоже такие вязаные; в одном простенке большое зеркало, а у глухой стены — фортопьяны.

— А что ж, мамаша, братцы к чаю не вышли? — к матери обратилась Нина Евлампеевна.

— Праздник сегодня — от учителя, должно, погулять отправились.

Сперва разговор шел незначительный; хозяйка расспрашивала, как я поживаю, что на фабрике делается и тому подобное. А потом, когда мамаша чаю напилась и ушла по хозяйству хлопотать, Нина Евлампеевна в таком роде повела речь:

— Как я обрадовалась, Дорофей Ильич, когда мне муж

сказал, что вам жалованья прибавили и со временем вас ярморочным приказчиком сделают!

Я немножко, было, позадачился, но вижу, что она спокойно сказала, и на лице ее милым будто радость, — сейчас же оправился от своей конфузливости.

— Да-с, — говорю, — сударыня, премного я Геннадием Яковлевичем доволен. Очень ими обязан!

— Что же, он только должное вам оказал, потому что вы работаете добросовестно и много лет у них служите, а жалованье получали небольшое... Только вы, — прибавила она, — называйте меня по имени, а сударыней не величайте, мне не нравится это слово. Хотя я и жена Геннадием Яковлевичу, но мы не венчаны, так вы не называйте... Мне не нравится.

— Слушаю-с.

Пособрался я с духом и предложил такой вопрос:

— А как вы, Нина Евлампеевна, привыкаете ли в новом своем положении?

Она посмотрела на меня. Что за личико! Глазки синие любовью светятся, по щечкам нежная красочка разливается, и вся она какая-то особенная.

— Я счастлива, Дорофей Ильич: я люблю, и меня любят, а это в жизни все. Пускай меня люди осуждают, бог с ними! Я зла никому не сделала, и мне ничего не нужно. Из-за любви своей я все готова перенести, и перенесу. Мне нечего стыдиться, я всем прямо могу в лицо смотреть!.. Вот одно: если он любить меня перестанет, тогда я несчастье свое не перенесу...

— Что вы говорите! Разве это возможно?..

— Бывает, — сказала. — Но я в Геннадия верю. Знаю, что ему не позволят со мной обвенчаться, так мне этого и не нужно: только бы он любил меня!

Признаюсь, не мало я тут подивился, слушая от нее слова эти решительные и видя в ней такую самонадеянность!

В горницу не раз входила мамаша, подсаживалась к нам и в разговор вступала; подконец и братишки с гулянья пришли. Заметил я также, что Нина Евлампеевна к родительнице своей с большим почтением относится, братьев любит и попечение о них большое имеет, но держит себя с ними, как старшая. Я полюбопытствовал, спросил, не думает ли она братьев снять с должности, потому, как будто бы теперь уж неловко им в присучальщиках оставаться; но она и договорить мне не дала.

— Что вы, — перебила: — разве можно мальчиков к праздности приучать? Если бы им поменьше лет было, я отдала бы их в школу, но теперь их не примут. Так пускай они работают, трудятся и сами на ноги станут, а по праздникам грамоте учатся, — к учителю на дом ходят.

Показала она мне свои комнаты.

— Вот эта, — говорит, — мамашина комната. Здесь — кабинет Геннадия... эту вы знаете — передняя. Братя в мезонине помещаются... А вот тут (когда мы в зале в воротились) — рядом, моя спальня.

Светлые комнатки, нигде ни пылиночки, но излишества — никакого. Только в спальней ширмочки орехового дерева; из-за них виднеется кровать с белоснежным покрывальцем, у стенки столик, на нем зеркальце, разные вещицы разложены, да в малиновой бархатной рамке портрет Геннадия Яковлевича красуется. Еще шкафчик с книжками стоит.

— Очень хорошо у вас, — говорю, — но обстановка не роскошная.

— А другой мне и не надо, — говорит: — если бы я была даже богачиха, на свои деньги жила, то и тогда лучше обстановки не завела. Вот я одну роскошь себе дозволила — рояль купила.

— Сами играете? — любопытствовал.

— Где же мне еще играть? Только учиться начинаю... Ведь, я, Дорочей Ильич, принялась и наукам обучаться. Покойный папаша мечтал, что я гимназию окончу, но помер, и я из второго класса вышла... А мне очень хочется себя образовать!

— Часа два просидел, и не заметил, как время пролетело!

На прощанье зовет, чтобы я посещал ее, и если супруга моя не постеснится, то очень бы желала с ней познакомиться. Я к себе ее в гости приглашаю.

— С удовольствием, — отвечает, — у меня знакомых кроме учительниц, никого нет. Но я не знаю, — говорит, — как ваша супруга на мое положение смотрит.

Воротился я домой веселый, довольный... Жена заметила, что лицо у меня пригожее сделалось. Ну, про все ей рассказал; она выслушала меня с большим вниманием.

— То-то же вот, — сказала. — А ты что намерен говорить, каких мнений о ней был?.. А она, голубушка, к

тебе со всем своим расположением, и со мной желает познакомиться. Беспременно я к ней схожу.

Ну-с, сударь, больше году любовь хозяина с Ниной Евлампеевной продолжалась. Сам я изредка к ней заходил, — чаще-то стеснялся ходить, — а супруга моя постоянно ее посещала, и Нина Евлампеевна у нас бывала. Не только жене, но и родительнице моей она до чрезвычайности полюбилась, обе нахвалиться никак не могли. Геннадий Яковлевич через это самое знакомство еще больше ко мне участия возымел и доброжелательство оказывал: на все главные ярмонки меня посылали. Все шло отлично; но хозяину, Павлу Яковлевичу, пришло желание в супружество вступить. А у нас, по купечеству да по мещанству, такой исстари обычай устроен: никогда младший брат не женится раньше старшего. Василий Яковлевич почему-то себя на безбрачие обрек; значит, на очереди стоял Геннадий Яковлевич. Вот братцы с мамашею Геннадью Яковлевичу и говорят, что надо ему себе невесту найти да жениться, во-первых потому, что уж пора, двадцать три года исполнилось, а во-вторых, — другой братец, Павел Яковлевич, положил намерение в брак вступить и невесту для себя нашел — миллионщицу. Геннадий Яковлевич им отвечает, что пока расположения к супружеской жизни не чувствует. Павлу Яковлевичу неприятно это показалось, но уступил, так как невесте его полные лета не вышли: шестнадцати годов ей не было. Оставили Геннадия Яковлевича на время в покое. Ну, полгода скоро пролетели, опять за него принялись: «женись!» Он отнекивается: «не желаю», говорит.

— Да надо же, — ему говорят: — ты задерживаешь своего брата.

Тот в ответ:

— Так пускай он женится, я ему не препятствую.

Родные настаивают:

— Ты старше, ему нельзя раньше жениться.

Не поддается Геннадий Яковлевич: «не желаю», и конец.

Тут Павел Яковлевич осердился.

— Ты что же, — спрашивает, — на безбрачье себя обрекаешь, что ли?

— Да, жениться не намерен, — отвечает.

Павел Яковлевич из себя вышел.

— А любовницу намерен содержать? — вспыхнул, как порох. — Мы тоже про твою развратную жизнь знаем.

Мамаша ихняя, как услышала подобные слова, по своей женской слабости, конечно, в слезы, а другие братья сторону Павла Яковлевича приняли и напали...

Слушал их Геннадий Яковлевич, слушал, да под конец всего и сказал:

— Хорошо, я исполню ваше желание, женюсь; но в выборе невесты вы мне не препятствуйте!

Разумеется, те все обрадовались; но мамаше пришло на ум полюбопытствовать:

— У тебя есть на примете невеста?

Геннадий Яковлевич семейству в ответ:

— Невеста у меня давно уж есть, — сказал: — Нина Евлампеевна.

Тут такая кутерьма поднялась, рассказывали после горничные и лакеи, что только боже упаси!

— Как, на любовнице жениться? — кричит один.

— Шпульницу хочешь взять?! — другой налетел. — В родство с лакеем... Бессовестный! Весь наш род, фамилию почетную хочешь осрамить, пятно наложить!..

И пошли, и пошли... а мамаша, обливаясь слезами, с трудом могла выговорить:

— Ты убьешь меня, Генаша!.. Я не перенесу такого удара.

Можете себе представить, сударь, какая с этого времени катавасия в хозяйском доме пошла! Редкий день без того не проходило, чтобы к Геннадию Яковлевичу не приставали да не требовали, чтобы он прекратил всякое знакомство с Ниной и женился. Но он крепко на своем стоит:

— Кроме Ниночки ни на ком не женюсь.

— Ну, — сказал Василий Яковлевич, — ничего нам с тобой не остается делать, как доложить о твоих поступках братцу Конону Яковлевичу.

— Можете, — отвечает. — Хотя он и старший мне брат, я во всем другом готов ему подчиниться, но чувство свое и совесть я никому не позволю насиловать.

Видя, что угрозами ничего с ним не поделаешь, лаской стали его уговаривать.

— Если тебе кажется, что Евлампеева дочь недостаточно убоготорена, можешь ее вознаградить: ты в своем капитале волен и можешь поступать, как тебе угодно.

— А чем, — спрашивает, — я могу Нину за любовь ее ко мне вознаградить?

— Любовь ваша — дело обоюдное, а чтобы она, от-

выкнувши от работы, не шаялась, определи ей известную сумму... Пожалуй, если желаешь, выстрой ей дом.

— А чувство мое, совесть моя останутся покойны? — спрашивает.

— Ты напрасно так близко к сердцу принимаешь. Это в тебе слабость от академии осталась... Поверь, как будут у ней денежки да свой дом, так она гораздо счастливее заживет, чем с тобою. Может замуж выйти: жених хороший при ее состоянии найдется.

— В самом деле? Хорошо, советом вашим воспользуюсь, — дом ей выстрою, а там увидим. Благодарю за поданную мысль.

От Нины Евлампеевны хозяин скрывал, всячески старался никоим образом виду ей не подать, что у него с братьями такие неприятности. Но сколько ни таи, как ни скрывай, а рано или поздно все наружу выйдет. Разговоры между хозяевами в четырех стенах велись, а на фабрике обо всем уж знали и по городу в трубы протрубили.

Конечно, Нина Евлампеевна и сама догадывалась, но при Геннадие Яковлевиче ничем беспокойства своего не обнаруживала. Дом, действительно, хозяин для нее выстроил. Летом плотники сруб из крупного отличнейшего леса срубили, поставили на место, явились печники да столяры, и к осени неподалеку от хозяйского дворца выросли такие прекрасные хоромы, что только всем на загляденье. Дом этот с землею Геннадий Яковлевич на имя Нины Евлампеевны записал. Слышал я потом от него самого, что о постройке дома он ничего ей не сказывал, а когда совсем окончили, он приехал к ней, поцеловал в руку и объявил:

— А у меня, Ниночка, для тебя подарок есть, — и подал ей бумагу на дом.

Так вместо того, чтобы обрадоваться, она побледнела вся, а потом, заглянувши в бумагу, с горечью ему сказала:

— Зачем ты это сделал? Разве я тебя за богатство твое да подарки люблю? Ничего мне от тебя не надо, милый, только люби, не покидай меня!..

Да как всплакнет! Упала к нему на грудь и плачет, рекой разливается. Должно быть, проведала, что дом этот братья ему посоветовали выстроить... К чести Нины Евлампеевны, надо прямо сказать, не интересантка она была, ничего от него не требовала и строго на строго за-

прещала всякие ценные вещи себе дарить. Большого труда ему стоило тогда успокоить бедную.

— А дом я на тебя подписал, чтобы ты никогда в другой раз не подумала, что я могу тебя разлюбить или оставить. Я знаю, что тебя городские сплетни тревожат, но ты не обращай на них внимания...

— Я тебе верю, милый, — сказала, — я знаю, что ты не кинешь свою Нину... Но твои родные... Я ужасно их боюсь!

— И бояться их нечего. Чего бы ты еще могла с их стороны опасаться, то и это устранено: ты имеешь теперь землю и свой дом.

— Дорогой? На что мне дом и земля?

— Теперь ты будешь спокойна.

Перед самым движеньем Нина Евлампеевна со всем семейством в свой дом перешла, новоселье справдновала. Сам я, признаться, поспасался ее поздравить, потому до прочих хозяев об этом могло дойти, — и Геннадий Яковлевич меня предупредил, — а супруга моя была там и повеселилась. Немного гостей собралось: две барышни — учительницы, Геннадий Яковлевич с приятелем, — тоже из учителей нашей гимназии, — да свое семейство, и больше никого. Потанцовали под фортопьяны, песенок хороших попели и в большое удовольствие время провели. Хозяйка дома, рассказывала жена, такую веселую да счастливою глядела, что Аксинья моя просто налюбоваться вдоволь на нее не могла.

— И такой она красавицей мне показалась, — говорит: — речи у нее умные, обращение с людьми тихое да приветливое, что я тут же и подумала: как хозяину не любить эдакую разумницу? А барышни эти и учитель так хорошо да любовно с нею ведут себя.

Только в свой дом, благослови бог, она переехала, как по всему городу и затрубили:

— Ну, значит, теперь скорая отставка «сударыне»!

— Дал клятву братьям: как дом выстроит, так и невесту будет сватать.

— Довольно с нее; два года проклажалась да барствовала!

— Отошли красные дни сударыне. Глядите, мамашенька-то опять скоро на базар с печенкой выдет торговать.

— Ну, с какой стати ей за прежнюю коммерцию приниматься! Вон домина-то какой, а еще, от верных людей я

это слышал, Геннадий-то Яковлевич сто тысяч чистоганом Нине отвалил: бери, только отвяжись от меня!

Ну, и так еще изъясняли, что Нина обманным образом счастье это приобрела: приласкала его на последях-то, подсунула ему какую-то бумагу подписать, он подмахнул, ничего не подозревая, — и вот, у нее теперь дом с землею и опромнейший капитал!

А Геннадий Яковлевич еще чаще посещает свою Ниночку, потому близко она живет: вечером сидит, и днем, куда поедет, к ней хоть на минуточку, а уж беспременно завернет. Братья между тем ожидают, когда он, так сказать, образумится и заявит им о своем желании с богатою девицей в законный брак вступить. Пора, — дом ей поставлен, чего же еще откладывать? Но тот не спешит и визиты свои Ниночке не прекращает. Сами ему напомнили...

— Оставьте меня в покое, — ответил: — я вам не мешаю поступать, как вы хотите, предоставьте же и мне свободу распоряжаться собою.

— Да, ведь, ты же дом-то ей выстроил, — делают возражение. — Мы от тебя не ожидали, что ты уж братьев родных станешь обманывать.

— Напрасно в этом меня попрекаете. Совета вашего я послушался, — дом построил, но слова не давал, что Нину Евлампеевну оставляю.

— После такого с твоей стороны поступка ты выходишь самый бесстыжий человек, — один из братьев подносит.

— А еще в Москве в Практической академии образование свое получил. Не многому же тебя там научили, коли своих братьев и честь нашего дома ты на последнюю девчонку променял! — другой его потчует.

— Прошу вас о близкой мне особе так не отзываться! — вспыхнул Геннадий Яковлевич.

Пригласили Конона Яковлевича. Надо вам сказать, что старшего брата решались беспокоить только в редких и самых важных случаях. Приехал. Конечно, он также давно про сожителство своего брата с девушкой знал, но важности этому никакой не придавал, потому — вещь самая, по нашему месту, обыкновенная и внимания не стоящая. Выслушал он тех братьев, выслушал и этого, виноватого; погрыз ногти — у него привычка была, когда думает о делах или чем расстроен, кусать ногти, — и, помолчавши, сказал Геннадию Яковлевичу:

— Слушай, брат Геннадий! Всю эту канитель ты должен нарушить и окончательно из головы девчонку выкинуть. Вспомни: какого ты рода, кто мы и с кем ты кровь нашу хочешь смешать? Первые богачи не только в городе своем, но и по Москве немного таких отыщется, сыновья мануфактур-советника, и ожидать надо в скорости потомственного дворянства, а ты всей нашей фамилии бесчестье наносишь. Стыдно тебе! Оставь, предай забвению свой юношеский грех и женись: препятствовать твоему выбору никто не станет; найди себе невесту воспитанную, с образованием и равного с нами рода — нечего упоминать, что с капиталом, — это прежде всего ты должен иметь в виду! — и я самолично поеду в дом ее родителей твоим сватом. Назначаю тебе с сего числа трехмесячный срок и даю семь дней грации. Ежели, по миновании одного срока и льготных дней, ты не образумишься, то с тобою будет поступлено, как с несостоятельным должником и даже без всякого снисхождения. Ты хоша и брат мой единокровный, но что я раз сказал, то и будет, и не было еще на свете такой силы, которая изменила бы мое решение. Помни это, Геннадий, и кончай скорее свою музыку!

Договорив свою рацею, Конон Яковлевич ни слова уже больше не прибавил, поднялся с кресла и на половину ма-маши отправился. Нужно чести приписать нашим хозяевам: почтение своей родительнице они великое оказывали и хоша не всегда слова ее в резонт принимали, но заботились о старушке и берегли ее. Вот и Конон Яковлевич пошел засвидетельствовать ей свое сыновнее почтение. На совещании ихнем она в этот раз не присутствовала, потому знала, что «старший» приглашен, и без нее вразумление настоящее Генаша получит, а ей, при сильной любви к нему, пришлось бы только лишнее сокрушение сердца переносить, глядя на уничтожение любимого своего сына... Когда шаги Конона Яковлевича затихли, Василий Яковлевич привзнял голову и на заблудшего с большой грустью посмотрел.

— Что, братец Геннадий, — сказал: — тронуло ли тебя хоть сколько-нибудь слово брата Конона Яковлевича? Тот молчит.

— Почувствовал ли ты в душе угрызение совести, или все еще нет?

— Почувствовал, — сказал Геннадий Яковлевич и пошел к Ниночке.

— Беспременно он теперь, братцы, образумится, — говорит Петр Яковлевич: — знает, что с Кононом Яковлевичем шутить невозможно.

— Ну, а ты, братец Петр, можешь и помолчать, — говорит Павел Яковлевич. — Тебе бы в подобных случаях здесь и не место.

И на утро следующего числа в городе и на фабрике про все знали и безо всякого стеснения трактовали.

— Вон до чего у них дошло: чуть за воротки не схватились!

— Павел Яковлевич на Геннадия Яковлевича наскочил с кулаками, а младший промежду их встал: «бейте», говорит, «меня, коли вам честь вашего рода не дорога!»

— Каков! Это самый младший-то, Петенька? Молодчина! Ну?

— А Василий Яковлевич глядит на них с прискорбием: «Что вы», говорит, «или сполоумели! Сейчас замириться, чтоб я видел, а то брата Конона Яковлевича позову! Эй, — кто там? Две бутылки шампанского!» Ну, и помирились, по-братски расцеловались.

— Ловко! Ай да Василий Яковлевич! М-о-олодчина!

— И все это междоусобие из-за той, сударьни-то! Ну-ко-сь, разлад в каком семействе поселила! Да Конон Яковлевич скрутит... Он — герой! Еще только когда к фабрике подъезжает, так у всех его служащих поджилки дрожат, и зуб на зуб не попадает. Так чтобы он эдакую пичужку, Евлампееву дочь, не слопал?!

Сладко ли Нине Евлампеевне подобные разговоры было слышать? До чего, ведь, до какой низости не доходили! Фабричные пьяные, приказчики-лавочники и бабы-охальницы приостановятся ночью перед ее домом, да разговоры-то вот этакие и ведут. А увидят Геннадия Яковлевича и разбегутся. Ну, кто и почище да повыше в городе стоял, — не лучше себя вели относительно этой истории...

Зима наступила. В городе с нетерпением ожидали рождества, потому — последний срок воле Геннадия Яковлевича должен был на святках окончиться. Дни он, как и прежде, на фабрике, а вечером у своей Ниночки время проводит. В Филипповках, по ночам, часто на дачу вдвоем катались. Подкатит к крылечку тихим манером парочка лошадок в легоньких саночках; посадит хозяин девушку, укутает ее с головы до ножек, и полетят, только полозья визжат да из-под лошадиных копыт снег вихрями вздыма-

ется, мелкой крупой бьет в лицо седоков. шубы их обсыпает. Ночь это ядреная, свежая, на небе месяц светит, поля белые расстилаются, а огни несутся от города да от людей дальше, все дальше. Ниночка к нему прижмется, смотрит на звезды, на месяц и не сдержится, вздохнет.

— Хорош вольный свет! — промолвит. — Но вот люди не таковы...

— Не все, дорогая, — перебивает Геннадий Яковлевич: — есть и добрые, хорошие.

— Я таких мало знаю... И чего они хотят, за что других губят, что те им сделали?! — вот чего я никак понять не могу.

— И не поймешь никогда, милая. Ни один мудрец не разгадал, что такое человек. Да спроси любого, зачем устраивает гадости и чего он добивается, — поверь, никто не в состоянии ответить, а если и ответит, то солжет или неправду скажет.

— Ведь, мы себя называем христианами, а Христос велел всех любить и зла никому не делать.

— Да, ты справедливо сказала: «называем себя христианами». Да, только называем, а всеми своими поступками мы хуже всяких язычников.

Смокла тут Ниночка (это все сам Геннадий Яковлевич мне рассказывал), думает видно о чем-то. И, точно, повернула к нему личико, глаза засветились, хотела уж что-то сказать, но залюбовалась одной звездочкой и вдруг изменилась в лице.

— Смотри, смотри! Звездочка падает!.. — вскрикнула. — Ах, это моя звездочка с неба скатилась.

И прижалась к нему еще плотнее, вся дрожит, и на глазах слезы.

— Нет, — утешает он голубку свою: — не твоя это звездочка скатилась. Твоя — вон гляди! — высоко сияет на чистом небе, не упадет она, и ни одной тучки не видать, которая ее хотя бы на время закрыла.

Хотел ли он этими словами печаль девушки разогнать, или крепко на себя надеялся и ничего впереди не страшился, но тучка-то эта уж недалеко хоронилась, день от дня все росла, темнела, а к рождеству выросла в большую тучу, надвинулась на звездочку и закрыла ее собою.

На третий день великого праздника вот что в доме хозяйском произошло. Приехал Конон Яковлевич, позвал брата Геннадия в кабинет и приступил к допросу.

— Нашел себе невесту?

Тот молчит.

— Мясоед нонче короткий: надо спешить, чтобы до масляницы свадьбу сыграть. Говори, у кого выбрал?

Ни слова в ответ брату.

— Ежели те, которых знаешь, не нравятся, то я укажу на отличнейшую барышню, с капиталом и образованием. Не здесь, а в соседнем губернском городе: дочка потомственного почетного гражданина Железникова. В твоём вкусе будет: в институте окончила, прошедшим летом только вышла, — молоденькая, значит, собою пышечка. Я старший вам брат, худого своим не пожелаю.

Заговорил тут Геннадий Яковлевич.

— Братец! Прошу вас не беспокойте себя напрасно. Все эти наши разговоры ровно ни к чему не поведут. Я не женюсь.

— Слышал. Но я, кажется, порядочный срок дал тебе на размышление. Мог одуматься!

— Мне нечего одумываться, братец Конон Яковлевич. Семейство не хочет, чтоб я женился на девушке, которую люблю, и я не иду против воли родных. Не принуждайте же вы меня на другой жениться.

— Значит, ты отказываешься от выгодной партии только из-за той... своей?.. Она всему главная причина?.. Хорошо. Так неужели всегда будешь жить в незаконном союзе?

— Покоряясь воле семейства, — выхода иного у меня нет.

— Да, ведь, так жить безнравственно! — закричал старший брат.

— Безнравственно девушку завлечь и бросить; это уж даже подлость будет. Безнравственно не любя жить с своей женой и изменять ей, но жить с девушкой душа в душу, ежеминутно чувствовать, что есть у тебя близкая душа, и быть уверенным, что и она то же самое чувствует, — это ни один человек безнравственностью не назовет, братец Конон Яковлевич.

Старший брат ногти кусает и с лица зеленеет.

— Так это, по-твоему, нравственность? — зашипел. — Да ты выходишь первый развратник!..

Младший ему с твердостью отвечает:

— Развратники те, кто меняет женщин, кто по-скотски...

Не дал Конон Яковлевич окончить брату; видно, тот не в бровь, а прямо в глаз попал.

— Ах ты пащенок! Негодяй... Да смеешь ли ты подобные слова мне говорить?.. Завтра же не будет твоей...

Бранное, дурное слово выговорил, и брата тоже не хорошо обозвал!.. Львенком тут вскинулся наш Геннадий Яковлевич:

— Так вот ты какой блюститель нравственности! — кинул смело в лицо старшему брату и пошел отчитывать.

Если бы не подоспела на тот случай ихняя мамаша, — она в трепете с первого начала к разговору в кабинете прислушивалась, — то могло, кажется, братоубийственное избиение произойти: «никогда, — рассказывал лакей, — в таком бешенстве Конона Яковлевича никто не видывал».

— Скручу... Ихний род весь с лица земли сотру! — захлебываясь, да бегая по кабинету, кричит уж при мамаше. — Выгоню... Дом отыму... Волчий пачпорт ей дам.

*

Ну, вот тут оно самое-то настоящее и разыгралось, сударь. Брата Геннадия взять под опеку, то есть, денег из капитала ему на руки не выдавать и учредить над ним домашний надзор, а на фабрике иметь особый присмотр, чтобы ни под каким видом он не мог к своей «сударыне» проникнуть. Такое сделал распоряжение Конон Яковлевич, наказал, под страхом прогнания, служащим строго исполнять его, и поехал к высшему начальству.

— Проживает у нас девица одна, — изъясняет начальству. — Не здешняя, натека... вольного поведения... Прошу ее из нашего города выслать, так как она нашей фамилии причиняет большое унижение и канфуз.

— Кто такая? — начальство спрашивает.

Сказал. Начальство отвечает:

— Необходимо сперва справки навести; возьмите на короткое время терпение. Что можно сделать, мы, конечно, для вас сделаем, не позволим вашей фамилии оскорбления наносить.

— Хорошо, я возьму терпение. Но нельзя ли ей сию минуту волчий пачпорт дать?

— Весьма затруднительно. Без достаточного основания мы не имеем права так поступать.

— Какие же еще нужны основания? Открыто с моим братом живет.

— Но с другими?.. Вы не можете указать?

— Что же я следить, что ли, за всякой буду?.. Но уверен, что... путается. Мой брат, полагаю, в ослеплении. По всему вероятно, эта дрянь чем-нибудь к себе его приворожила.

Улыбнулось высшее начальство.

— Все же нам сведения о девице той необходимо собрать. Вы не беспокойтесь, мы скоро это сделаем: через неделю вам ответ дадим.

Начали по городу квартальные рыскать, — в то время полиция не была по-настоящему усовершенствована, — фискалы везде шнырять да всякие темные личности ночным временем по соседнему забору лазать. Взберутся это на него, засядут там да подзорные трубки и наводят прямо в окошки к Нине Евлампеевне... Однажды соседи заметили, что кто-то влезает на забор и садится; ну, конечно, за ночных гостей приняли, потихоньку сзади к ним подкрамись да здоровенной арысиной по спине как хватят, — кувырком на улицу фискалы с забора... Подняли, было, крик, а амбицию вломились.

— Мы по приказанию высшего начальства! — кричат.

— А вы не в урочные часы не лазайте, — отвечают им: — не пугайте мирных жителей.

— Мы на своем посту, наблюдения производим.

— Да разве начальство вам позволит по чужим заборам поститься? Ах, вы полуночники!.. Караул! Воры... Помогите, православные!

Фискалы поскорее на утек. Поди, разбирай ночной-то торой, а обыватели бы сбежались и во что ни попало от всего усердия наклали... И так после жалобились, долголина у каждого дотронуться не давала!

Ровно через неделю Конон Яковлевич сам покати к начальству — терпения не достало, не дождался ответа.

— Добытые сведения неблагоприятны для вас, — начальник его встретил. — За девицей ничего дурного не могли усмотреть, живет уединенно и принимает к себе одних учительниц и какую-то женщину; даже вашего брата ни разу не заметили.

— Неправда! — перебил Конон Яковлевич. — Он у ней был: я нарочно своего человека подсылал, так он своими глазами его видел.

— Может быть, не отрицаю, — наши не досмотрели, но это значения не имеет. Следовательно, впредь до собрания дальнейших и положительных сведений о поведении девицы, одного из ваших желаний исполнить я никак не могу.

— Очень жаль. Это, значит, разврату потворствовать. Видно, словами подобными начальство обиделось.

— Это значит, господин Громов, — высшее начальство ему в ответ, — что без всякого основания позорить женщину бесчеловечно.

Побагровел старший хозяин, но ничего — проглотил.

— Относительно же другого вашего желания, то оно совершенно невыполнимо. Госпожа Голицынская, — фамилия девицы, — здешняя гражданка, имеет в городе недвижимую собственность, землю и дом.

— Это все братнино.

— По нотариальным книгам земля и дом принадлежат мещанской девице Нине Евлампеевне Голицынской. Высылать же из места жительства можем только тех, кто не представит в удостоверение своей личности письменного вида, или по приговору суда; но чтоб удалить местную гражданку, имеющую постоянную в городе оседлость и дом, то для этого требуется неопровержимое доказательство в неблагонадежности лица.

— Да она и в политике неблагонадежна, могу вас в этом заверить, — обрадовался, было, случаю этим воспользоваться Конон Яковлевич.

— А! Если вы имеете доказательства, то сделайте одолжение, дайте их... Я сейчас позвоню: вы расскажете, а чиновник по секретной части со слов ваших запишет, и мы произведем строжайшее дознание.

Влопался Конон Яковлевич! Слово-то это выпалил, да на полятную, за руку начальника...

— Не звоните!.. Я только думаю... Я хотел сказать, что при вольном поведении этой девицы от нее всего нужно ожидать...

— Так у вас никаких фактов нет? Нечего, следовательно, и беспокоиться... Советую вам на будущее время в таких случаях осторожнее быть. А сведения мы все-таки соберем, может, что откопаем...

Все ногти себе от злости Конон Яковлевич изгрыз. Едет с кучером в дом братьев и дорогою вслух бранится.

— Скоты, подлецы... В заговоре с братом.

В доме с бешенством на Геннадия Яковлевича накинулся.

— Отыми у ней дом. Уничтожь купчую!

Но дело уж сделано, назад не вернешь. Прочие братья спохватились, но обвинять некого: сами же совет подали... Конон Яковлевич узнал, что в прядильной Нины Евлампевны братишки работают, в ярости своей ничего не придумав, какое зло сделать, приказал их немедленно с фабрики сослать. А тех уж на банбросы перевели, повысили, значит, потому с понятием мальчишки оказались.

Опять везде фискалы да темные личности зашныряли. По городу во все трубы и органы поют.

— Слопает! Беспременно слопает, — по улицам орут фабричные. — Жив не останется, пока все до последней косточки начисто не оглодает.

— Молодчина Конон Яковлевич! Герой!

А в каменных высоких палатах, за самоваром и вареньями, сидели купчихи и очень тужили о мамаше Геннадия Яковлевича.

— Какое огорчение Анне Федоровне с сынком! Видно, за чьи-нибудь грехи бог покарал!

— Слышно неспроста это на него. Не подсыпали ли ему чего в чай или в вино?

— Очень может быть! От таких все станется.

В положении Геннадия Яковлевича, надо прямо говорить, время наступило пребезобразное. Находясь у себя в доме и на фабрике под присмотром, он все единственно как бы под арестом был. Видеться с Ниночкой мог лишь изредка, и то разве когда украдкой. Хоша все служащие обожали его, но Конона Яковлевича страшно боялись. Конечно, Геннадий Яковлевич не послушался бы старшего брата, взял бы свою часть капитала и ушел из родительского дома; но ему было очень жалко мамашу, не хотел огорчать ее и надеялся, что современем само собою все уладится, по-хорошему дело обойдется. Часто их вдвоем в ее комнатах заставляли.

— Неужели ты, Генаша, не можешь с нею расстаться, — говорит мамаша.

— Нет, родная. Люблю я ее и ни на кого в жизнь не променяю.

— Да за что ты любишь ее? Ведь, она простая, дочь лакея, в шпильницах у нас жила.

— Если бы вы ее знали, мамаша, что это за девушка,

какая в ней душа прекрасная и какая деликатная, то вы сами бы ее полюбили и лучше жены мне бы не пожелали.

— Господь с тобою, какие ты речи говоришь! — ужасается старушка. — Сотвори молитву. Что она мне за сноха!

— А вы, дорогая моя матушка, повидайте ее, посмотрите хоша раз и поговорите с нею. Вы только взглянули бы, как она живет, и с какой любовью и уважением к своей матери относится, о братьях заботится и бедным потихоньку помогает.

— Что ты, что говоришь! Пойду я к ней... Опомнись! Ах, Генаша, ровно она тебя околдовала... И не говори ты мне про нее! Не поминай никогда!

А через несколько времени, как только вдвоем с сыном останутся, так старушка первая спросит:

— Виделся, что ли, опять с своей-то?

— Виделся, милая.

— Ну, что же она?

— Виду при мне не показывает, но не легко ей, бедной, дается. Похудела, живости прежней в ней не стало... О своем горе скрывает, но о вас беспокоится.

— До меня-то ей что?

— Опять я вам повторю, что вы ее не знаете, мамаша. Она говорит: «Мое горе — пустяки, я молода и все перенесу, а вот каково твоей мамаше, она за тебя вся измучилась!»

— Вон она какая!.. Так и сказала?

— Да, родная.

Гордая была старушка, Анна Федоровна, держала себя, как графиня или княгиня какая, а не простая купчиха. Но тут, горничная ее подметила, она от сына поотвернулась, и глаза ее раз-другой мигнули.

— А ты, Генаша, исповедуйся на первой-то неделе: пост близко... Да воздержись до пасхи, не ходи к своей-то. Может, не пройдет ли как с тобою, не станешь ли ее позабывать. Брат Конон Яковлевич тебе хорошую девушку высмотрел.

— Пускай он своего сына на ней женит, если она ему нравится. Григорью его двадцать лет.

— Не очень ты против него иди, Генаша! Ведь, он старший тебе брат, вместо отца.

— Если бы жив был папаша, матушка, так разве бы я терпел такую долю!

— Перестань, не вспоминай. Мне и без того горько, а ты еще про отца упомянул... Оттого-то, видно, ты мне всех ближе да милей, что весь характером и улыбкою лица в него уродился.

Великий пост наступил, время быстро катит, пасха уж недалеко. Конон Яковлевич лютует и ждет, как просохнет, чтобы везти Геннадия к невесте.

*

Нина Евлампеевна, действительно, как мамаше хозяин говорил, никому виду не показывала, крепилась. Но чего ей только эту муку-мученическую стоило перенести! И прежде мальчишки да фабричные пьяные вслед ей кричали, а теперь, как узнали, откуда ветер-то подул, так кучами ночью под окошки подходили и озорничали. В праздник и на улице уж не показывайся: увидят и загогочут.

— Го-го-го! У-у-у!

Приказчики в лавках, когда ей самой доведется что-то покупать, улыбочки особенные строят, штучки в разговоры веселые подпускают. Да что, про все и передавать как-то отвратительно! Нина Евлампеевна цену всему этому хорошо знала, и хоша подчас возмущалась, но к площадным выходкам и к фабричному безобразничанию относилась с равнодушием. Другое ее тревожило — разлад в семействе. Жалко ей было Анны Федоровны и Геннадия своего. Что ни говорите, а как чуть не два года на ваших глазах семейные неприятности происходят, и знаешь, кто всему причиною, да ежели еще хотят разлучить с любимым человеком и род ващ дочиста истребить, так поневоле придется не только вздыхать и ручьи слез проливать, а, может, даже настоящею кровью плакать. К тому же, с Геннадием Яковлевичем свидания у ней стали редкие да короткие: нельзя ему было засиживаться, старший брат каждый день нарочно за две версты из своего дома приезжал, чтоб справиться, дома ли Геннадий, если нет, то куда выехал. Слух этот опять распустили, что невесту хотят сватать... Ну, о пасхе она и стала что-то задумываться...

Супруга моя раз на святой застала ее в этой задумчивости. Оправилась, быстро себя в чувство привела, ласково встретила мою жену; но заговорила, и из глаз у нее вдруг слезы одна за другой и потом часто-часто, как градинки, посыпались. Аксинья ее приглубила, заглянула ей

в личико. Должно быть, по глазам моей супруги Ниночка отгадала, что у той в эту минуту в сердце добром. Как упадет ей головкой на грудь, — и зарыдала.

— Вот она, судьба-то моя злосчастная, — плачет. — Как я ее давно страшилась!.. И не пощадила она меня горькую. Обрушилась на мою головушку.

— Поплачь, милая, поплачь, — моя-то ей говорит. — Убиваться-то тебе и не след бы, ничего, ведь, такого еще нет, из-за чего сокрушать себя, но ты все же поплачь вволю, голубка моя белая: легче от слез-то человеку бывает.

— Отнимут его у меня, отнимут! — мечется сердечная. — Я предчувствовала, что меня впереди ожидает... Как я боролась!.. Письмо его тогда первое принесли, через Дорофея Ильича оно шло, — Геннадий мне после об этом открыл, — не хотела к нему на свидание итти, но решилась... Вышла в рощу, сказала, что не могу быть его женой, и убежала... не знаю, как тогда меня ноги держали, вся я шаталась и кровь в жилах застыла... Ведь, я его полюбила, когда он меня еще и не видел!..

Приподняла головку, на плечо Аксииньи положила и продолжает:

— Ходила в Боголюбово, просила помощи у пречистой богородицы, с фабрики нарочно ушла, чтобы не видеть его никогда... Сбиралась в монастырь постричься: там любовь свою хотела похоронить... Совсем уж приготовилась, мама благословение свое мне дала... И вдруг, точно какой неведомой силой толкнуло меня к нему, сама ему написала, и в тот же день мы с ним на дачу уехали.

— Ну, вот это и хорошо, слава богу! — моя-то ей лепечет. — Тебя уж и поотпустило, свободнее грудь-то дышет.

— Господи, какое я с ним счастье узнала! — отстранив от плеча свою головку и откинувшись на спинку дивана, выговорила Ниночка с большим чувством, и глаза ее прекрасные счастьем засветились. — Сидим мы вместе, говорим и наговориться не можем; он мне про все рассказывает, где и что видел, путешествия за границу и по нашим столичным городам, читает со мною... А поедет он с дачи на фабрику, мы прощаемся-прощаемся и никак расстаться не можем. Уедет он, а я останусь одна... И, ведь, я не скучала целый день: хожу по комнатам или гуляю, а сама в каком-то волшебном сне... Словно, летаю по странам чудесным, где люди новые и жизнь особенная, — летаю, и он со мною, называет какие это страны,

какой город, памятник... Перед вечером приду в себя, хвачусь его и вспомню, что Геннадий сейчас приедет... Кидаюсь в дверь, бегу по двору, за ворота... А он и летит, мой милый, мой дорогой! «Заждалась» — кричит с дороги и выпрыгивает из экипажа, точно он скорее так ко мне поспеет...

Моя только слушает, вздыхает сладко и улыбкой своей поощряет Ниночку.

— А ночи летние с ним в саду, — мечтает. — Вверху небо синее, и звезды светят. Я полюбила одну звездочку и подолгу на нее смотрела. Небольшая она и не так ярко блестит, как другие; кротко она сияет, и свет от нее тихий, спокойный, как будто она сказать хочет: «Смотри на меня, и тебе всегда будет хорошо!» И улыбнешься ей тоже тихо и радостно. Отведешь глаза, взглянешь вглубь аллеи, а там темь страшная... Жутко делается... Сядем мы с Геннадием на скамейку, я головой к нему на плечо склонюсь, а он рукой меня обнимет, и сидим мы одни долго-долго, ни слова не промолвим, обоим нам так хорошо и сладко! Опять будто во сне где-то летаю, вижу море безбрежное, гуляю с ним в садах каких-то райских, и в душе моей блаженство разливается... Да уж за одни такие часы как я благодарна! Но в одну зимнюю ночь, я видела, скатилась с ясного неба моя звездочка, и затмилось мое счастье!..

Так она прекрасно мечтала, что моя Аксинья и пере-сказать всего не могла. Заметила, что та опять задумалась, и молвила:

— Спою-ка я вам песенку, Нина Евлампеевна.

Голосок у моей был недурной, и дома певала она иногда; раздумаешься это когда о жизни человеческой, взгрустнется тебе и сидишь пригорюнившись; а она как примется петь и разгонит всю печаль. Вот и тут Аксинья спела про красавицу, что сидит задумавшись и тоскует. А кончается эта песенка словами:

Туман растуманится,
Дитяtko мое,
За туманом спрятано
Счастье твое.
Не тоскуй, красавица,
С ночи до утра,
Улыбнется счастье твое,
Как придет пора.

— Хорошая песенка, — похвалила Ниночка. — И славно вы спели ее, милая Аксинья Петровна.

Но все же грусти ее вконец песенка не разогнала, хотя немного девушка и поуспокоилась. Барышни-учительницы к ней пришли. Так она сию же минуту прежний свой вид приняла!..

С Аксиньей моей горем своим поделилась, а при образованных барышнях себя не выдавала: гордость свою соблюдала. Понятно, те про ее положение известны были и пришли к ней, чтобы разговорами своими хорошими развлечение ей доставить.

*

Вскоре и для нас самих затруднительное положение наступило. Сперва на фоминой повезли Геннадия Яковлевича за сто верст невесту эту смотреть. Он не хотел ехать, наотрез было отказался, но мамаша ихняя урезонила.

— Ты только посмотри, — говорила: — предложение не делай, а посмотришь и познакомишься с барышнею... Больше от тебя ничего не потребуют.

— Ведь это, мамаша, комедия выйдет, — возражал сын. — Разве Железниковы не знают, с какой целью меня привезут! Да если бы и не знали, то когда уеду я, в городе разные толки пойдут, станут говорить: «приезжал жених смотреть, да не понравилась дочка Железникова». Не хорошо нам из-за одного каприза брата, Конона Яковлевича, девушку в неловкое положение ставить.

— Никакого конфуза для барышни не будет. Могут сказать, что жених им не понравился. Уступи старшему брату, потешь его!

— Тешить его я не намерен, мамаша...

— Да не его, а меня успокой!.. Ради меня ты это сделай, только съезди... Барышня воспитанная, образованная. Генашенька, съезди, сыночек милый!.. А там, что богу угодно будет.

— Из послушания вашего, матушка, я не выхожу, исполню ваше желание... Но поверьте, на моей совести останется пятно.

И повезли Геннадия Яковлевича невесту смотреть...

Конон Яковлевич расхваливал по приезде с смотрины: такая барышня, что на редкость, — всему обучена и собой очень красива: полная, лицо круглое, бровь черная. Доро-

гою, на возвратном пути Конон Яковлевич и не спросил брата, понравилась ли ему барышня, а на другой день, по приезде, обещал в дом к мамаше пожаловать.

На утро семейный совет: мамаша, Конон Яковлевич и другие братья в полном составе собрались; Василья Яковлевича из Москвы телеграммой вызвали. Старший заседание открыл отчетом о поездке, расписал яркими красками невесту, ее родителей, дом и прочее. Превосходнее ничего требовать невозможно.

— Надобно теперь формальное предложение сделать, — закончил отчет свой Конон Яковлевич.

— Если жениху понравилась девушка, так зачем останавливаться? — соглашалась мамаша. — Спросить его...

— Я полагаю, мамаша, что жениха нам и спрашивать нет надобности, — поспешил ответом Конон Яковлевич. — Здесь все наше семейство: вы — родительница, я — старший брат и все прочие... Ежели наше общее согласие будет, то и объявим сватьям формальное предложение... Сват мне сказывал, что наш жених невесте понравился.

Конечно, все согласны и довольны.

— Но жених-то как? — промолвила мамаша. — Ему невеста нравится ли?

— Если бы не нравилась, — сказал, — уши у него хлопком не заложены, слышит.

— Так, что же ты, Генаша, нам скажешь? — мамаша к жениху с вопросом.

— Барышня мне очень понравилась, — ответил тот.

— Слышите? — подхватил старший. — Значит, вставайте, помолимся богу, вы, мамаша, его благословите, и пошлем Железниковым формальное предложение. Вставайте! — и сам первый с кресел поднялся.

— Позвольте, братец Конон Яковлевич, — дрогнувшим голосом остановил Геннадий Яковлевич. — Я только сказал, что барышня мне понравилась, но жениться на ней я не могу.

Не тут-то было: на словах поймали Геннадия Яковлевича!

— Нет, уж теперь на попятную поздно, брат! — поднялись все. — Сказал: нравится, — и женись.

Даже Анна Федоровна, мамаша, сторону прочих приняла.

— Уж как ты хочешь, а женись, Геннадий. Понравилась барышня, значит, к той у тебя была одна слабость,

просто по молодости своих лет забаву для себя в ней нашел.

— Что вы говорите, матушка! — с горечью вымолвил Геннадий Яковлевич. — Не увлечение, не забава это с моей стороны, когда я три года ее люблю. Нина для меня — все, и я за нее готов жизнь свою отдать...

Старушка только руками отмахивалась, слушая такие ужасные слова непокорного сына.

Старший братец прыз ногти.

— Да ты понимаешь ли, с кем и что говоришь! — не совладел с собою, накинулся он на брата. — Ты бы должен был нас всех благодарить, что мы о тебе так заботимся, и ежечасно воссылать молитвы к всевышнему, что нашли подобную невесту... Подумай, погляди на себя, каким ты стал через свою развратную жизнь, и стоишь ли ты того, чтоб воспитанная и красавица барышня за тебя вышла замуж!.. Одному надобно удивляться, — как ты мог ей понравиться? Разве что при всем своем образовании у девушки в голове чего нехватает. Такой ли ей муж надобен!

— Отлично, братец; она найдет себе достойного жениха, а я останусь верным своей привязанности.

— Увидим!.. Да что мы его слушаем? Позабыли совсем. Давайте, помолимтесь богу, мамаша и братцы!..

Геннадий Яковлевич убежал. Помолились без него.

— Ну, дай бог час добрый! — сказал по окончании Конон Яковлевич. — Чтобы начатое нами благополучно совершить — свадьбу сыграть.

— Да что начинать-то? — промолвила мамаша. — Жених наш убежал.

— Не беспокойтесь, прибежит... Ато и насильно его притащим.

— Уж я не знаю, на что и решиться... Не повременить ли, Конаша, делать формальное-то предложение?

— Как это возможно, мамаша! Тогда мы все дело испортим; надобно торопиться. Мне сегодня утром донесли, что он вечером накануне успел у той... побывать.

Старушка махнула рукой и с сокрушением промолвила:

— Ну, делайте, что хотите... Ты — старший брат, вместо отца родного над нами поставлен.

— Успокойтесь. Я его образую, приведу к сокращению. Главное, чтобы он не видел своей... девчонки. Очень я опасаясь, через какое-нибудь волшебство она не приво-

ротила ли его к себе. Давно уж эта мысль у меня в голове бродит.

— Я и сама об этом подумываю.

— Ничего, я устрою и к общему удовольствию всего достигну. Вы только успокойтесь, мамашенька!

На ткацкой день нет Геннадия Яковлевича, другой нет... Павел Яковлевич вместо него командует... А на третий день до нас весть дошла, что Геннадий Яковлевич под домашним арестом уж сидит, и никого до него строго-на-строго не велено допускать. Это старший поусердничал: в комнату к заключенному двух надежных приказчиков посадил, — один дневной, а другой ночной, — и в коридоре на две смены стражу учредил: четверых мытильщиков, что с плотов на реке миткаль полощут, дюжих и здоровенных таких молодцов приставил, по двое на смену, также дневную и ночную. Ни к узнику доступа, ни ему выхода нет: даже мамашу старший упросил, чтобы она не входила, и мытильщикам было приказано, что если она, по слабости материнского сердца, вздумает посетить — не допускать.

— Вышибу я из головы его дурь, заставлю покориться! — Конон Яковлевич говорил.

Формальное предложение было послано, и на него от родителей невесты полное согласие получено, а Геннадий Яковлевич решительным образом отказался ехать к невесте.

— Покорись! — настаивал старший.

— Не покорюсь.

— Я тебе в последний раз говорю: покорись!

— И я говорю в последний раз: не женюсь ни на ком, кроме Нины.

По фабрикам, по городу стон уж стоит:

— Под арестом! Вот оно как!

— Родную мать не допускают.

— Настоятельный человек! Изломает всего, душу всю вымучит, а своего добьется.

— Молодчина! Герой Конон Яковлевич!

Через две недели новый слух: Геннадий Яковлевич нездоров, сильная «порча» в нем открылась: за колдуном уж послали, чтобы «отворот» сделать.

— Испортила! Вот она какая...

— В чаю дала. Как от невесты-то на фоминной воротился, — сейчас же к ней побежал: хотел напрямик ска-

зять, что, мол, «прощай, невесту себе усватал». Она — известно уж как у них это, непутных, ведется — обласкала его, ульстила всячески и потом сказала: «Желаю тебе счастья, миленький, женись с христом! Выкушай только со мною в останные чашечку сладенького чайку»...

— Ах, подлая!..

— Геннадий Яковлевич, конечно, ни на что дурное не подумал, довольно уж, кажется, им она награждена была, — дом выстроил, сто тысяч ей наличными выдал и на расставанье еще двадцать прикинул, — чашку принял, а в чаю-то зелье это самое и было положено: от приворотного корня сок с заговорной молитвой.

— А-а-х! Какие изверги на свете есть!

— Еще когда она его чарами своими приворожила! Живши у них на фабрике, в лесу с ним повстречалась и тогда же на Геннадия Яковлевича духом волшебным напустила: с первого раза подействовало, — тосковать по ней зачал. А потом несколько раз она в чаю ему подносила: как заприметит, — вор девка! — что он начинает от нее отклоняться, так и даст приворотного зелья.

— Так, так... А то чего же бы ему три года и возить-ся с нею!

— Ну, а в последний-то раз дала уж выпить ему «вечного»: до гроба от нее не отстанет.

К нам, на ситцевую фабрику, один из сменных завернул. Позабыл вам сказать, что в то время я окончательно на должность постоянного ярмоночного приказчика перешел и, когда не был в отъезде, в ситцевой конторе занимался. Пришел сменный и по секрету нам сообщает:

— В совершенном умоиступлении находится. «Это медленное убийство!» — говорит. «Отпустите меня... я хочу ее видеть... или я руки на себя наложу»... Ночью чуть по водосточным трубам с третьего этажа не спустился: открыл окошко и вылез. Я едва успел его схватить, — на силу удержал! Ждут колдуна этого, за пятьсот верст на рочного отправили... Не знаю, как мне и быть: хозяин ночью не спит, того и гляди из окошка выпрыгнет, а я — человек: с шести-то часов вечера да до шести утра изволь продежурить, ни разу не задремавши, — не вынесешь! И так уж мне что-то не по себе... А главное — страшно: о как полоумный.

— Допускают ли к нему хоть мамашу-то?

— В последние-то дни, как убедились, что Геннадий

Яковлевич испорчен, так Анне Федоровне позволили входить.

— Ну, и что же она?

— Известно — плачет, жалко ей своего любимчика.

— А-ах ты, господи! — вздыхает контора.

Жалели на фабрике все Геннадия Яковлевича, а я уж и подавно: через него на должность хорошую меня перевели, и благополучие будущей своей жизни получил. С Аксиньей у себя по вечерам сидим, тужим о благодетеле... Я не скрою, правду скажу, несколько поколебался в Нине Евлампеевне: и вправду не поделала ли чего она с ним? Слов нет, она девушка хорошая и впоследствии достойною оказалась, но все же подобная к ней со стороны молодого человека приверженность, — как вы хотите, без постоянной силы невозможна... Нонечные образованные люди не верят этому, смеются, а я сам в книжках читывал про волшебников и самолично примеры видал: сколько этих порченных у нас в церквях бывает, какое с ними беснование происходит, и нередко даже выкликают имя человека, который их испортил!..

Супруга моя тоже как будто бы немного на это склонялась, но прямого утверждения не делала и за Нину заступалась.

— Ты бы на нее поглядел, — говорила: — на кого она стала похожа. Куда ее красота девалась, лицо осунулось, глаза ввалились, и сама не в полном разуме — заговариваться стала... Ночи напролет не спит, — мать-то ее говорит, — а день в оцепенении проводит: как опустится на диван, сядет и, пока ее не поднимут, с места не тронется. По временам всплеснется и громко простонет: «Господи! да когда же... когда этому конец будет?» А в другое время, слышат, в груди и горле у нее что-то заклокочет, вот так: «у-у о, у-у-о!», ручки крепко в кулачки сожмутся, и эдак сама дрожит, дрожит вся, словно в лихорадке, а губы плотно сомкнутся... Сегодня в горницу к ней и не входила, посидели с матерью-то, вместе погоревали и поплакали. Как убита женщина! Тоже за дочку опасается: не испортили ли ее злые люди!

Вот тут и поди, разберись с делами-то!

А по городу в набат бьют. В доме Громовых, звонят, как в гробу теперь стало. Ни слова во весь день ни от кого не услышишь, прислуга ходит на цыпочках, хозяева сумрачными да унылыми глядят. Точь-в-точь

как покойник в дому... Тишина мертвая по всем покоям стоит...

За день до прибытия колдуна, так часов около пяти, — вечерний чай у нас в конторе собирались пить, — неожиданно зовут меня в «дом».

— Что такое, несчастье случилось?

— Сменный ночной свалился, захворал, — отвечает посланный. — Должно, вас на его место поставят: надежнее человека не сыскать...

«Вот тебе и троицкая! — подумал. — Я готовился уже в Харьков на ярмонку ехать. Но не это, главное, меня озадачило, а то, что я буду вроде жандара при хозяине, благодетеле своем состоять!.. Уж высказать не могу, как это меня огорчило и расстроило!.. Но итти надо: откажут, лишусь места — куда я с семейством денусь? Конон Яковлевич меня сокрушит, ни на какой фабрике жить не даст... Пошел, голову свою победную понуривши.

Действительно, так точно, как посланный говорил: в жандары к хозяину определили, в ночные меня назначили! Я попросил Петра Яковлевича, чтобы жене дали знать, — хватились бы домашние, стали беспокоиться.

— Я пошлю, — сказал. — Пойдем, Корягин! Я тебе инструкцию сообщу, как его держать надобно...

Подымаемся по лестницам. Убранство везде какое! Ковры дорогие постланы, зеркала от полу до потолка, цветы в мраморных вазах, заграничные растения в кадках... Дворец, — чертоги царские! А живут скромно: ни балов, ни вечеров, — ничего не справляют, кроме именин и торжественных случаев, вроде как архиерея или губернатора когда примут... Везде тишина полная: муха пролетит — услышишь. Уж и вправду, не покойник ли у них, в палатах беломраморных?.. На одной из площадок Петр Яковлевич остановился, осмотрелся вокруг и быстро изложил инструкцию... Стыдно про содержание ее даже передавать, сударь!.. Достигли третьего этажа, в коридор повернули, там два Аники-воина, мытильщики, на страже, в струнку вытянулись перед молодым хозяином. Взялся он за ручку, повернул, и половина двери отворилась. Боже мой, кого я увидел! Худой-прехудой, ни кровинки в лице!.. Даже темный сделался. Я поклонился низко хозяину, а в глазах что-то сразу заволжкло, но улыбку его милую все же заметил: словно бы, он мне обрадовался.

— Вот где будет твое место, — указал Петр Яковле-

вич на кушетку у двери, около которой дневной приказчик стоял. — Ты, Поленов, сдай смену... Корягин, ты можешь с братцем разговаривать, но чтобы содержать в тайности и действовать по инструкции... Прикажешь тебе чаю подать? — обратился к заключенному.

— Да, вели, Петя! Мы с Корягиным поьем!

Стою я, и глаз на хозяина не смею поднять. Совесть! А он:

— Я очень рад тебе, Ильич, — говорит. — Рассказывай скорее, что знаешь... Твоя видела?.. Была там?..

Пересилил я себя, взглянул...

— Ах, Геннадий Яковлевич! Сударь... — и дальше язык не поворотился.

— Сюда пойдем, к окошкам... Хотя я ничего не боюсь, но противно мне, что эти стражники из мыльной или лакеи станут нас подслушивать... Садись здесь, к письменному столу. Рассказывай потихоньку... Да что ты не в своем образе? Или что не ладно? Не пугай, говори скорее!

— Ничего, все слава богу, благополучно... Но вы... Ах, какая с вами большая перемена, сударь!

Усмехнулся... Мороз у меня по коже прошел от этой его усмешки!..

Дверь отворилась, в коридоре лицо горничной промелькнуло и в комнату с подносом Аника-воин ввалился.

— Поставь чай и не приходи, пока я не позвоню, — сказал хозяин.

— Слушаю, сударь, Геннадий Яковлевич, — и на всю комнату вздохнул Аника.

Дал время молодцу вылезти, прислушался и ко мне:

— Рассказывай скорее! — говорит. — Ведь, я три недели не видал ее и никакой весточки от нее не получал. Лишили возможности даже переписку вести.

Вижу я, что с лица переменялся и корпусом много тоньше сделался, — он и так не дюж был, — но разум у него настоящий, и порчи в нем не заметно.

— Ах, Геннадий Яковлевич... Сударь! Да что же это?

— Будет тебе... Говори!

Собрался я с духом и, не спеша, исподволь, рассказал про все, что знал и что ему от меня слышать желалось. Серые глаза его так и загорелись, по впалым щекам красочка легкая выступила, и весь он в слух обратился. «Бедная моя, бедная!» — вздыхает, а сам внимательно слушает. «Измучили ее, в могилу вгонят»...

— Все бы ничего, — сказал, — я выдержу... Но вот — Ниночка-то!.. Как представляю себе ее положение, так бы в окно и выпрыгнул, да, к ней!.. Я и то раз от телохранителей моих чуть не ускользнул — по трубам хотел спуститься. Жалко, Панкратов тогда проснулся, помешал мне...

— Успокойте себя, сударь. Нина Евлампеевна не одна, ее навещают добрые люди. Барышни эти хорошие, ваш приятель, — тоже что по учительской части, — и моя супруга. А теперь по секрету, через жену, Нина Евлампеевна про все будет знать.

— Потому-то я и рад, что тебя ко мне приставили. Но ты можешь спать крепко, я против тебя на побег не решусь. Вот уж, ночью, я тебе все расскажу, все... и о Ниночке узнаешь, что тебе неизвестно. А теперь, вероятно, скоро нагрянет мой главный тюремщик. Займи свой пост, у двери, а я за книжку примусь... Да, скажу сейчас же: меня от порчи будут лечить, за колдуном послали.

Я только головой мотнул.

— Слышал уж?..

Занял я свое место и принялся комнату рассматривать. Большая, высокая и светлая, с двумя окнами прямо на лес, а перед ним луга в цветах расстилаются и плотина, через которую я гулять хожу. Письменный стол зеленым сукном покрыт, справа у стены поставлен, по сторонам его два мягких кресла, а у стола, где хозяин сидит, орехового дерева креслице, с решетчатым из заграничной соломки сиденьем; диван, стулья и все прочее. А по стенам, около выходной двери, шкафы с книгами: много книг, и все в отличных переплетах. В углу образ спасителя в золотой ризе. Это — хозяйский кабинет. Рядом — арка, на ней драпировка штофная, и через нее другая комната, поменьше — спальня Геннадия Яковлевича... Нечего вам, сударь, и передавать в подробностях: обстановка великолепная!.. Ну, а сейчас — тюрьма, золотая клетка, а все же клетка, и выпуск из нее на волю нет.

Долго мы прождали: не является главный тюремщик! Солнышко уже закатилось, лес румянцем вспыхнул, а несколько погода и потемнел. Река светлой полосой выступила, из приречных кустов соловьи защелкали. Геннадий Яковлевич окошко открыл.

— Сударь! — вырвалось у меня как-то само собою.

— Чего испугался? Будь спокоен... Слышишь, соловьи?..

Вскоре позвонил. Приказал ужин подать, и на меня

особую порцию. Огонь зажгли... Вдруг по коридору, прямо к нашей двери шаги — частые да скорые шаги — затопали.

— Является! — Геннадий-то Яковлевич мне тихо с дивана, перед которым на столе приборы поставили.

Я вскочил. Шаги приостановились...

— Кто там на дежурстве? — услышал голос самого Конона Яковлевича.

— Новый-с. Ярмоночный приказчик, господин Корягин, сударь! — кто-то из Аник отвечает.

И шаги уж у самой двери... Я вытянулся и весь замер на своем посту. Приотворил, заглянул в комнату, показал свое круглое лицо с бачками да макушку с ясным месяцем, профыркнул мне в лицо: «Смотри! ты мне за него отвечаешь» — и захлопнул с сердцем дверь.

Отужинали. Превосходными кушаньями меня накормили и отличнейшим вином за ужином потчевали. В одиннадцать часов пошли в его спальню, он разделся за ширмочкой и на кроватку... Увидел я его тут в одном белье, — боже милостливый, в чем душа только держится! Ножки тоненькие, грудь впалая, — воротник не застегнут был, — ключицы выставились, и все ребра сквозь сорочку пересчитывай, а лицо, несмотря на сильную перемену, приятное: нос этот прямой, усик чуть пробивается, а на подбородке ни одного волосика, хоша он никогда не брился, на голове волосы густые да темные, кверху назад зачесаны, лоб высокий, открытый, и брови темные над глазами изгибаются. Красивое, благородное лицо! Но худ до невероятности! Лег он сам, а меня на кресло супротив посадил и принялся про свои дела рассказывать.

До бела света он проговорил, а всего не досказал, оставил на будущее время:

— Я бы от них отделился, — заключил. — Даже никакой огласки не побоялся. Но не хотел мамашу прогневать: знаю, что уход мой из дома родительского сразит ее! Но теперь я ни на что бы не посмотрел, убежал, если бы случай представился. Вот до чего они меня довели!

Ничего, все-таки я часика три после этого соснул. Сперва поворочался на кушетке, ко вздохам тяжелым хозяина прислушивался, а потом таково-то сладко заснул. Утром, в шесть часов, дежурство свое сдал дневному Поленову, от которого сам накануне принял, и укатил домой, не дождавшись пробуждения Геннадия Яковлевича: вид-

но, незадолго перед восходом солнышка успокоился и спал теперь, сердечный, как дитё невинное.

Дома супруге под строгим секретом я все поведал. Скрутилась живою рукою — и к Нине Евлампеевне. Передала, что следует: обрадовалась та несказанно, ожила вся; но скоро веселость ее пропала, и она сильно о чем-то задумалась...

*

А без меня, во время дневной смены, и колдуна этого самого на тройке в тарантасе привезли, — на переменных день и ночь гнали, чтобы поскорей его к больному предоставить!

Я увидел его на следующее утро, и Геннадий Яковлевич, как я на дежурство свое явился, сейчас же начал о нем рассказывать:

— Приехал колдун, — говорит. — Разумеется, дали знать брату Конону Яковлевичу. Сколько там времени прошло, я не знаю, но ровно в час дня — я читал — обе половины двери широко распахнулись, и я увидел зрелище: впереди показался высокий, здоровый старик, с лицом, заросшим сивыми волосами, и такую же сивою кудлатою головой, одет в поношенный провощенный армяк из верблюжьего сукна, в пестрядинных портах, заправленных в рыжие голенищи промадных сапог, и с большою меховою шапкою в обеих руках. За ним следовали мамаша и старший брат. Старик еще от двери уставил на меня свои большие, зеленые глазищи, валит прямо вперед и кричит:

— «Вижу, вижу, чем ты, детинушка, нездоров!»

— Я от роду подобного голоса не слыхивал: густой и силы невероятной. Даже брат плечом дрогнул, а мамаша от испуга приостановилась.

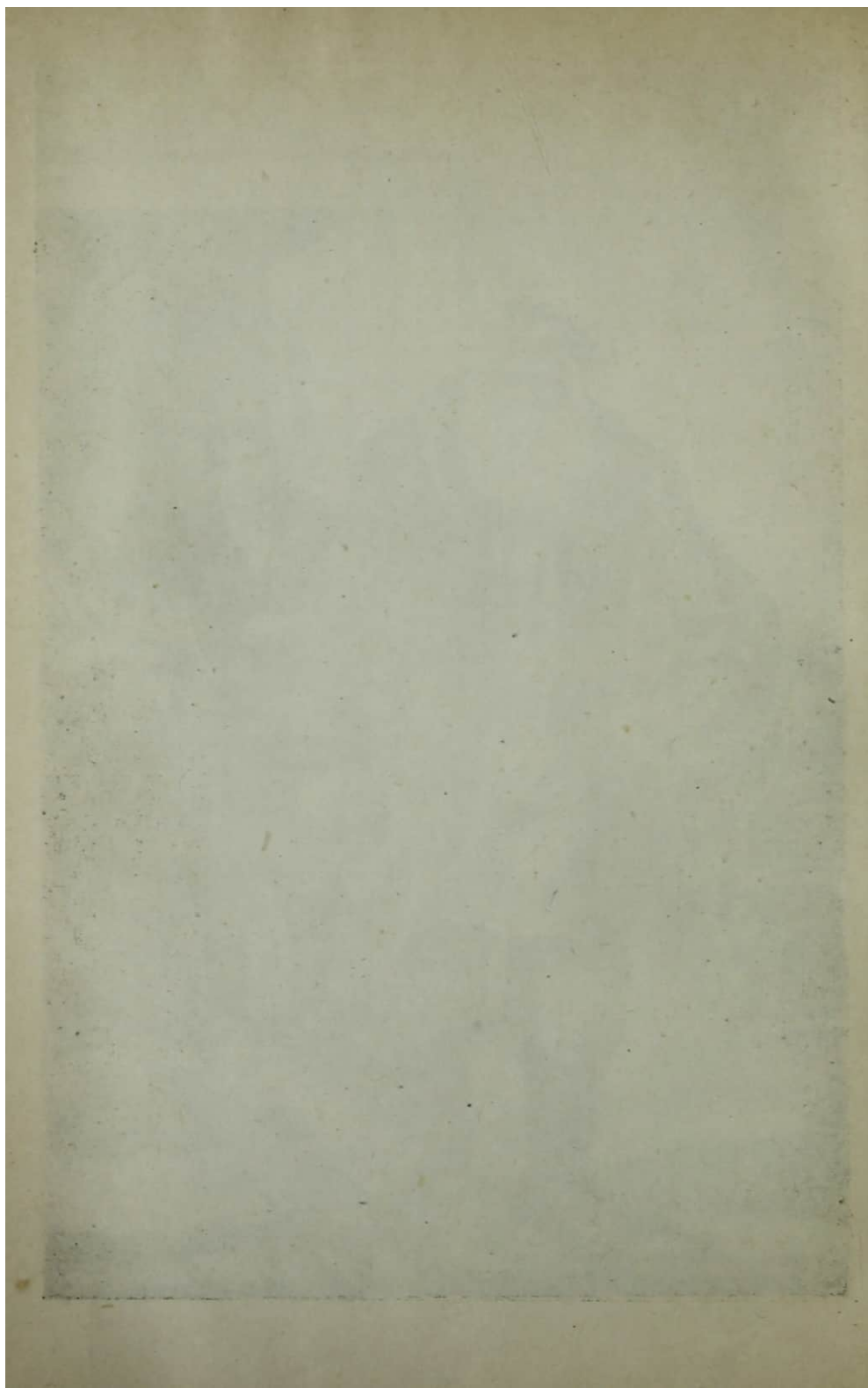
— «Присядь, присядь, детинушка! — кричит перед самым уже моим лицом и своими глазами меня пожирает, точно хочет съесть. — Ты не бойся меня, парень! Я старичок добренький, я таким, как ты, молоденьким вот что на ушко шепну»...

— Нагнулся над самым моим ухом да как гаркнет:

— «Всех бесов из тебя повышугну!»

— Меня пошатнуло от его голоса. До сих пор в ушах стоит. Поразил меня старик видом своим и голосом диким! Нервы у меня и без того расстроены, а тут это лесной человек...





— «Принесите мне с ключевой водою серебряную ендову, три восковых свечки и чистенький березовый уголек!» — распорядился лесной дед.

— Исполнили его приказание, — за ендовой Конон Яковлевич сам в кладовую ходил. Прилепил свечки к краям сосуда, зажег и принялся что-то про себя нашептывать, окончил, углем по воде провел и ко мне:

— «Семьдесят семь бесов в тебе, детинушка, теперь сидит. Вот сколько их в нутро твое вогнали».

— Мамаша перекрестилась, а брат побледнел...

— «Кто же, дедушка, это с ним сделал?.. Девка?»

— «Девка не девка, да и не мужняя жена».

— Переглянулись брат с мамашей, на меня значительно посмотрели.

— «Можешь ты их устранить?» — брат спрашивает.

— «О-ох! трудно мне с ними тягаться, больно трудно, родимые!»

— «Так как же? Надобно больного полечить, дедушка»...

— «Неш попытать?.. Постараюсь уж... Надобно. Затем меня сюда и привезли. Не опасны, ведь, эти пакостники, семьдесят-то бесов с бесенятами молоденькими, а вот те, что семь-то старых дьяволов — вот кто солоны мне достанутся!.. Да нечего делать, придется, видно, испробовать над ними свою силу... Буду смогаться, как-нибудь да уж и тех одолею. Вылечу начисто!.. Но сперва, сударики мои, уговор мы заключим. За вылечку мне тыщу рублей пожалуйста: пятьсот на стол сейчас выложите, а другие пятьсот по окончании!..»

— Брат начал торговаться, просить уступки, но «дедушка» решительно объявил, что ни копейки не «снесет», что у него такой устав для богачей положен.

— «Выдадим тебе половину, а как ты не вылечишь?» — спрашивает брат.

— «А я сейчас видимостью докажу, сударики: при вас, на глазах, семьдесят-то бесов с бесенятами из него выгоню».

— Зажег колдун опять свечки и принялся над водою наговаривать.

— «Во имя отца и сына, — бормочет. — Небом одеваются... облаком покрываются... препоясуются поясом святые богородицы... Шилды! былды!.. Как врата адове разверзаются»...

— Надоело мне это шутовство. Встал я... А колдун продолжает:

— «Так бы из раба божия... А? не по нраву им! — громко себя перебил. — Забежал наш паренек! Шилды, былды... свяжи и сокрути до единого из семидесяти... Но, но! Закочеряжились! не хочется из души христианской да опять в тартарары? Потерпи, детинушка, потерпи!.. немного тебя осталось... успокойся... Го, го, го-о! Да сколько уж их в посудину-то набралось!.. Шилды, былды... из жил, из рук и из ног... суставов, из крови... Да все ли вы тут, окаянные? Али еще кто сидит там?.. Из ноздрей и ушей... Сто-о-о-ой! Попались, все!.. Шилды, былды! Аминь».

— Мамаша только крестится, а по лицу брата пот ручьями... Думаю: за умного человека тебя люди почитают, Конон Яковлевич, а ты позволяешь лесному шарлатану себя дурачить!..

Но старик опять ко мне:

— «Теперь присядь, детинушка!»

— Я не хотел, но матушка с мольбою на меня посмотрела, и я опустился в кресло. Колдун три раза сдунул с воды, провел над нею три креста углем и приподнял на меня свое лицо. Я отвернулся... Не могу его глаз выносить!

«Сейчас ты успокоишься, парнюженька... Эти, пакостники-то, бо-ольно, родимые, его ослабили, а теперича, как я повышугнул их, так те, старые-то, не сразу опаматуются, дадут на малое время пареньку вздышечку... Ну-ка, погляди на меня, Енадьюшка! Не бойся... Вот так... Гляди!.. Хорошо... Дай-ко я еще ручкою своею помашу... Так, гожже! Засыпает... Ну, спи, дитятко! Крепко заснет молодец»...

На этом месте я перебил Геннадия Яковлевича.

— Неужели правду, сударь, вы заснули?

— Да еще как, Ильич! Два часа спал, точно мертвый... Только я стал в глаза колдуну смотреть, — дремать начал, ко сну так и клонит! Он ручицею своею перед лицом поводит, — и я забылся, но что они говорят, еще понимаю... Слышал, как брат старику сказал: «половину я тебе выдам, но с одним условием: кроме отворота брата от той, обязан ты еще приворотить его к невесте». — «Ладно, приворотим и к невесте». Старик запросил прибавки, но брат настоял, и тот, кажется, согласился... А дальше уж

ничего не слышал и проспал до самого обеда. Теперь ты поздравь меня: семьдесят бесов из меня изгнаны!

— Однако, удивительно, сударь... Усыпил-таки он вас!

— Только не посредством волшебства — это вздор, — загорячился, — и ты, пожалуйста, никому не верь, что на свете водятся колдуны или волшебники. В глазах старика много магнетизма: вот чем он меня усыпил. Этот магнетизм и во мне и в тебе есть, но в слабой степени, а в старике его — гибель... Теперь из меня еще нужно семь старых бесов вытолкнуть.

— Тех эдак же будут выпроваживать?

— А вот завтра увидишь.

Передал ему от Нины Евлампеевны поклон и сообщил, что от жены узнал. Выслушал с какой-то жалостью.

— Ах, Ниночка! Да когда же я тебя увижу, милая!..

Присел к окошечку и посматривает на лесок... Что-то, подумалось мне тут, по изгнании семидесяти бесов он печальнее сделался, чем накануне, когда я в первый раз увидел его под домашним арестом.

Своим чередом поужинали. Он лег, а меня попросил около себя посидеть.

— Пока я не засну, побудь тут, — говорит. — Странно!.. Все старик этот и глаза его мне представляются... Нервы, что ли, совсем у меня расстроились... Впрочем, глупости я думаю и про глупость говорю. Теперь спи, Ильич, нас рано подымут.

— Кто?

— Завтра узнаешь.

Но в эту ночь я не заснул: и сам о колдуне все думал, и Геннадий-то Яковлевич во сне бредил, про старика этого страшного вспоминал и кричал: «боюсь, уйди от меня!..» Да и некогда было спать-то: в полночь я услышал в коридоре частые шаги Конона Яковлевича...

Вскочил я, как встрепанный.

— Не спишь?

— Никак нет-с, сударь!

— Будь скорее брата. Пора! Ждут его.

— Я готов! — послышался голос из спальни. — Сю минуту выйду.

Конон Яковлевич схватил меня за руку и потащил к образу.

— Поклянись перед спасителем, — шепчет и рукой на икону показывает, — что ни отцу, ни матери, ни жене

и никому, даже мне лично, не скажешь, что увидишь и услышишь. Дай клятву!

Я, с испуга, ничего не понявши, в чем дело, поклялся, к образу приложился...

— Ты с нами поедешь!

Вышли мы втроем на широкий двор. Еще утренняя зоря не занималась. На дворе высоченный старик в армяке и меховой шапке, двое Аник-воинов, и у конюшен две пролетки, на козлах кучера сидят. Я, как взглянул на этого лесного страшилища, так сразу и отгадал, что это и есть колдун: словно мерин весь сивый.

— Готово, дедушка, — старший хозяин отрапортовал.

— Трогайте! — пробубнил колдун. — На лошадь не смей никто!.. Потому, она лошадь — ложь, а кто ложь? Сатана... На обратном разрешаю.

Тронулись. Впереди Конон Яковлевич с узником, за ними этот лесной идол, а я с Аниками позади; а позади, неподалеку, кучера под уздцы лошадей ведут. Этот церемониал еще с вечера колдун со старшим хозяином учредили, а маршрут нам такой обозначили: прошли через плотину, повернули направо, обогнули лес и утрафили на малоезженную дорожку, что идет к месту, известному у нас под названием «Семи ключей». Верст шесть-семь от хозяйского дома до них, два часа скорым шагом промаршировать. Колдун то и знай подгоняет: «Поскорее! До солнышка, чтобы на заре»... Торопимся. Все в испарине. Пospели: зоря так и пышет, но солнце еще не показывалось. Колдун взял Геннадия Яковлевича за руку, к источнику повел, а Конон Яковлевич установил порядок охраны, чтобы порченый, чего доброго, со страстей от нас не сбежал.

Местность «Семи ключей» пустынная. С трех сторон голое поле — дичь, а с четвертой, где из пригорка роднички бьют, — лесок соснячок молодой. Ключи эти, выйдя из-под земли, тут же все соединяются и тоненьким да таким говорким ручейком с пригорочка в овражек сбегают, а по нем дальше уже речкой веселой несутся. Колдун с Геннадием Яковлевичем в овражек этот сошли, к ключам поднялись, а мы, стражи, в такой позиции: я с кучерами на этом берегу, что с поля, молодцы из мыгильной в овраге с разных сторон, в отдаленности друг от друга поставлены, а Конон Яковлевич в середине, шагах в двадцати от источника. Смотрим: колдун припал на коленки перед родничками, где они в ручеек сливаются, и принялся шептать;

с четверть часа наговор производил. Большой тут же, у дерева стоит. Видим, лесной дед снял свою овчинную шапку, зачерпнул чашкою водицы из источника и молодому хозяину поднес.

— Испей, детинушка!

Да так это громко, что и лесок за ним повторил: «испей, детинушка!»

— Глотками до семи раз!

И лесок опять: «глотками до семи раз!»

Что за чудеса! Жутко инды становится...

— Теперь отдохни, посиди!

Присел Геннадий Яковлевич под деревцем на травку, папироску закурил и посиживает. Колдун с пригорочка спустился, с Кононом Яковлевичем о чем-то секретно переговариваются... В скором времени обратно двинулись. Братя сели в одну пролетку, а я удостоился чести вместе с колдуном в другой ехать. Ну, а те, Аники-воины, за нами пехтуром поспешали. Дорогою спутничек мой в разговор вступил и, между прочим, спросил:

— Ты из приставников?

— Да, я приказчик... старший хозяин меня определил.

— Выходит, ты лицо доверенное, на тебя хозяева полагаются.

Говорит так, и глазами на меня поводит. Чувствую, неловко мне с ним, и стараюсь избежать его взглядов. Однако полюбопытствовал, задал «старичку» вопрос:

— Да что такое, почтенный, с нашим молодым хозяином приключилось?

— Теперь ничего, — парень ваш по-хорошему обойдется. Ладно, сдоганулись еще не поздно и меня во-время позвали.

— А что, разве больно уж плохо с ним что приключилось?

— Тебе открою, — и в ухо мне шопотом: — вчера семьдесят их выгнал, а еще в нем сидит семь, да каких! — самых лютых да ста-а-рых!

— Так роднички-то наши при чем же? — тоже шопотом его спрашиваю.

— А, видишь ли ты, парень, диво-то какое тут выходит. Чтобы семерых шишиг из порченого выгнать начисто, так надобно семь утренних зорь и с семи ключей с наговором ему воду пить, ато вода из речки или из одного ключа тех не осилит. Вчера старшой-то ваш, когда я ему

обсказывал все обстоятельно, доложил мне о ваших «Семи ключах». Понял теперь?

— Понял, старичок почтенный. Значит, семидневный курс лечения будет. Так-с...

И узнал я, сударь, что Конон Яковлевич со всех с нас, не исключая и кучеров, взял клятву держать про это лечение в тайности!.. Дальновидный человек!

*

С дежурства, конечно, я домой, и — ни слова никому о волшебном походе. Прямо залег спать. К обеду встал и от супруги узнал неожиданную новость: Нина Евлампеевна мамаше хозяев письмо отправила: пишет она в этом письме своем, что собралась уйти в монастырь, просит Геннадия Яковлевича от неволи освободить и желает ему всякого счастья. Я даже не поверил, — не может этого быть, один пустой разговор!

— Верно, — супруга отвечает. — Писала она в какой-то монастырь к игуменье, та ей в ответ прислала: «с удовольствием», пишет, «просим милости, мы будем очень рады». Приписочка еще в письме-то: обитель очень бедная, так в казну монастырскую чтобы побольше, значит, денежный вклад сделать просит игуменья.

— Если бы не от тебя эти слова слышал, никому бы я не поверил.

— Об этом, должно быть, она, голубушка, все и задумывалась. До отчаяния, ведь, доходила. Мать боялась, чтобы чего она над собою не поделала, не порешила с жизнью своею молодою. Ну, бог над несчастною и сжалился, вложил ей в сердце добрую мысль. Нонича у нотариуса была с матерью, дом свой на нее перевела. Теперь собирает все, что из одежды получше, да продать хочет, а потом сама и отправится в обитель.

— А куда именно?

— Никому не рассказывает.

Так это, сударь, меня обескуражило, что просто до невозможности. Открыть хозяину, — его в крайнее отчаяние повергнешь, а потаить, — опять нехорошо выходит... Просто не знаю, что придумать! Решился, однако, повременить, выждать, что лечение покажет...

И что же? Точно чуяло сердце Геннадия Яковлевича: вечер и всю ночь в тоске находился!.. Мамаша при-

ходила его навестить. Вошла с таким веселым, довольным лицом, но, посидевши недолго, ушла в большой горести: материнское сердце, — жалко видеть сына в таком уничтожении и убитого горем. Но о письме Ниночки, видно, ни словом не упомянула.

С полуночи опять мы поднялись и тем же порядком, в том же составе, на ключи двинулись. Ту же самую штуку проделывали, что и в первый раз, только больше отдыху Геннадию Яковлевичу дали: ослаб он слишком, и уныние еще больше в нем распространилось. Спал ли он днем — не знаю, но до урочного часа и в этот раз мы с ним бодрствовали.

Пришел я опять на свое дежурство, сменил Поленова. Вижу, хозяин уж совсем на себя не похож: точно к смерти приговоренный сидит, даже моего прихода не приметил. Я тихонечко откашлянулся. Поворотил так слабо головушку... Увидел, вскочил и ко мне, сам весь дрожит и, задыхаясь, говорит:

— Слышал?... Слышал? Пойдем ко мне... Ниночка, Ниночка!.. До чего тебя довели...

Я его успокаиваю, плету, сам не знаю что, и чувствую, что сию же минуту в окончательное малодушие впаду.

— Если бы мне только написать ей! — ломает руки. — Но, ведь, у меня все отобрали: ни бумаги, ни чернил... Знаю, что и тебе принести нельзя: вас всякий раз обыскивают.

— Точно так, сударь, — говорю. — Но употребляю все старания, чтобы бумаги и хоть карандаш вам доставить: за сапог суну, в сапогах у нас не обыскивают.

Как бросится ко мне на шею, принялся меня целовать, да руками душить, откуда только сила в нем взялась!

— Дорогой! Спаситель мой! Я до смерти твою услугу не позабуду.

Поуспокоился... потом немного задумался, взглянул на меня и покачал головою.

— Нет, не приму я твоей услуги! Тебя брат Конон съест.

— Прогонит... Больше ничего со мною не сделает. А замарать, ничем не замарает. Клятвы в этом тоже ему не давал... а для вас я готов все претерпеть.

Сжал он тут крепко-накрепко мою руку и проговорил:

— Знал я, Дорофей Ильич, что ты мне человек преданный, но такого самоотвержения, скажу откровенно, я

и от тебя не ожидал. Будь же ты уверен, что если бы мне вскоре умереть пришлось, я не оставил бы тебя без средств к жизни.

— Что вы, сударь, разве я награды какой себе ищу?

— Понимаю. Такие услуги не оцениваются деньгами... Я сегодня просил мамашу, — от нее, ведь, я узнал о желании Ниночки в монастырь уйти, — чтоб она позволила мне написать, но она не решилась, отказала мне... Тс...

Шорох платья в кабинете послышался. Отскочил я от хозяина. Сама Анна Федоровна к нам изволит жаловать. На голове легонький темный платочек, а на плечах дорогая персидская шаль, и она с руками в нее закуталась. «Что значит совершенные их лета, — подумал: — весна, а они в теплое кутаются!» Поклонился почтительно старушке.

— Здравствуй, Дорофей... Извини, позабыла, как тебя по отчеству-то величают.

— Все равно, сударыня. Ильич, — говорю.

— О чем вы тут беседуете?... Да что я спрашиваю, мало ли про что мужчины разговаривают. А я опять тебя проведать, сынок! — и опустилась на кресла, шалью своею все закрывается.

— Озябли, матушка? — спрашивает сын.

— Да, весна, а вечер сегодня нешто прохладный; зябну, Генаша. Куда ты? — ко мне с вопросом, заметив, что я за драпировку прячусь. — Ты, чай, не мешаешь нам!

— Наговорился я с Геннадием Яковлевичем, сударыня, а теперь на свой пост нужно отправляться.

— Разве что так?... Пожалуй, займи свое место, ато, не ровен час, Конон нагрянет: задаст тебе гонку!

Посидела Анна Федоровна с любимым своим сынком в спальне. Тихие они промежду собою речи вели, но о чем, не мог разобрать; да я и не старался прислушиваться: с какой стати? Думаю о своем предложении хозяину: как я это сделаю и не попадусь ли? Думаю, и вдруг голос Геннадия Яковлевича явственно:

— Родная ты моя!

И смолкло. Даже тихие речи прекратились. А через минуту-две шелест платья, и хозяйка сама выходит, — драпировку за собою опускает.

— Генашенька задремал... Нарочно занавеской-то закрыла, чтоб его не тревожить, а я с тобою здесь посижу,

потолкуем давай. Ежели он скоро проснется, так я на минуточку еще войду, взгляну на него.

Я, конечно, встал, из уваженья стоя хотел разговаривать, но она повелительно рукою на кушетку показала. Я повиновался, — с краешку присел. Начала меня расспрашивать, как я живу с женою, хорошо ли, согласно ли, про деток полюбобпытствовала узнать, и о родительнице моей осведомилась. Сказала, что помнит, когда я служил у них на фабрике еще в мальчиках, как потом меня приказчиком сделали, и чего-чего не припомнила да не порассказала старушка, а всего и получаса времени не прошло, как со мною заговорила. Но во время беседы этой часто тревожилась: то ей слышалось, что сын Конон идет, и она выпрямлялась, точно подняться хотела, то голос Генашеньки чудился...

— Однако, пора мне на покой. Загляну, крепко ли спит Генаша.

Подошла, открыла с осторожностью занавеску и посмотрела.

— Э, да ты уж проснулся, — сказала и поспешно скрылась за штофной материею.

Не задержалась, минуты через две снова вышла...

— Постарайся опять заснуть, — на ходу, поворачиваясь лицом в спальню, говорит. — Разденься да и спи. Прощай!

Закуталась с руками в шаль, поклонилась мне с приветливостью, промолвила: «Прощай, Дорофей Ильич!» и с гордой осанкой удалилась. Погода Геннадий Яковлевич меня зовет.

Разделся уж, лежит на кровати.

— Спасибо тебе, голубчик! Очень я тебе благодарен за предложение услуги. Может, я усну, и ты вздремнешь.

Смотрит гораздо лучше, покойнее, руку мне жмет и улыбкою еще раз со мною прощается.

На утро третью зорю берем. Все попрежнему, колдун еще одного страшного беса выгнал. К утрени уж благовестят, мы к дому подъезжаем...

Слава богу, благополучно доехали, а лошадь наша вся в мыле...

Перед уходом со смены Геннадий Яковлевич мне на ушко шепнул:

— Ты подожди, сегодня не приноси, что вчера обещал, а попроси от моего имени, чтобы жена твоя сходила и пе-

редала, что я погибну, если Ниночка уедет... Опасаюсь я, что вас теперь строже будут обыскивать.

Не в состоянии вам доказать, сударь, подслушал ли кто наш разговор с хозяином, или уж стены в комнатах с ушами были, только, когда я от него вышел, Конон Яковлевич меня позвал.

— Корягин, покажи-ка мне свои сапоги!

«Ну-ну, дела!» — подумал.. Поленова тоже приглашали, а потом уж без всякого приказания, как только обыскивать, сами разуемся — и сапоги, и чулки вытрясем.

После третьей зари уныние покинуло Геннадия Яковлевича; зато им овладело какое-то беспокойство. И в дежурство Поленова, и в мое он мечется из угла в угол, беспрестанно к окошкам подбегает и смотрит на рошу в бинокль. Рассмотреть ли ему что в лесу желалось, или представлялось что от леченья-то — объяснить не умею. Товарищ мой по службе уверял, что хозяина нечистая сила туда манила; видел он, будто бы, на краю леса женщину; женщина та белым платком махала, а хозяин у окна стоял и в бинокль на нее глядел. Видение это Поленов заметил уже на пятые сутки со дня первого хождения к «Семи ключам», значит, только что по изгнании пятого беса из порченого.

Но мне хорошо памятно свидание матери с сыном в это самое число. Ночью также Анна Федоровна пожаловала. Долго они промежду себя о чем-то вели тихие речи; долетали порою из спальни до меня вздохи и точно бы чьи-то слабые всхлипывания... Не ради любопытства, а просто от скуки разгуливал я взад и вперед по кабинету и, проходя мимо спальни, через открытые драпри раза по два вот что видел: сын стоит перед матерью на коленях, а она положила на его темноволосую голову обе руки и, не спускаячи с него глаз, смотрит ему с любовью в лицо. Затем я слышал, как сын прерывающимся голосом умолял свою мать:

— Благослови, родная! Никакой во мне нет порчи... Это выдумали люди... Благословишь меня, и я буду попрежнему здоров, весел и счастлив... Нет, не попрежнему, а в тысячу раз больше! Одна ты, родная, твое благословение спасут меня, и я сделаюсь счастливым.

И в ответ на моление сына, я отлично расслышал слова матери:

— Благословляю тебя, любимый мой сын, Геннадий...—

и остановилась. — Сперва мне скажи, не потай, — дрогнувшим голосом и всхлипывая продолжала старушка: — на доброе ли просишь ты благословения у матери, не умылил ли ты чего нехорошего?.. Открой мне!

— Нет, дорогая! Не на худое, а на одно доброе, хорошее и святое прошу меня благословить.

— Верю! Будь же ты от меня дважды, трижды благословен, ненаглядный мой сын! Во имя отца и сына и святого духа...

В эту секунду у меня в горле чего-то запершило, и я поотошел к сторонке... Побоялся, что кашель мой дурацкий помешает тем чистым, горячим слезам, какие там лились на старушечьи руки матери и молодую голову сына.

*

Не забуду я, пока жив на свете, той зари прекрасного весеннего утра, когда у «Семи ключей» седой колдун выгнал последнего беса. Долго упрямылся старый дьявол, из останних сил выбивался, чтобы не покориться воле страшного колдуна; даже, чудилось нам, из лесочка ему кто-то из товарищей, видно, чертей, голос подавал: «крепись, мол, не выходи!» Но под конец обессилел дьявол и вылетел из души человеческой.

— Эж он шарахнулся! — загремел колдун. — Посиди, отдохни, детинушка! Шибко он тебя нудил, окалянный!

— Совсем ли, дедушка? — спросил Конон Яковлевич, вытирая клетчатый платком лицо, лоб и лысину.

— Видишь, чай, сам, каким веселым братик твой глядит? Теперича, именитый купец, ты успокой себя: от той... сам знаешь от кого — напрочь его отворотил! Всего паренька к невесте воротит, и он всем сердцем к ней горит.

Действительно, Геннадий Яковлевич посиживает на травке, плед подстеляя, и, улыбаючись так чудно, на всех поглядывает.

— Ну, что же? Не отпраляться ли уж? — погода спросил Конон Яковлевич.

— А, пожалуй, что и время. Подымайся, Енадьюшка, стань, дитятко, на резвы свои ноженьки и беги веселехонько! — зовет колдун.

Старший брат поджидает. Видит: приподнялся с травки Геннадий Яковлевич, встал на резвы ноженьки и ступил к оврагу...

— Эка, верещит да хрюкает как! — пограмыхивает старик. — Слышите? Это он, коего сейчас я вышутнул, перекинулся в свинью с поросенком!

Прислушались. Ах, ты боже! И вправду где-то визжит и хрюкает! Такая ли всех жуть проняла! Жилья близко нет, а поросенок верещит, и свинья, должно боров здоровый, потому басок так: «хрю-хрю»... А из лесочка — ка-ак ухнет! Лошади — на дыбы, бьются, храпят и фыркают; кучера их сдерживают — куда! — воротят в сторону и тащат за собою наших силачей, особливо та, на коей хозяева приехали, сажен на тридцать от места уперла... Старший хозяин скорее, без оглядки, из оврага вон и прямо к экипажу; за ним и Аники взмахнули; один колдун не торопится, валит спокойно. Наш кучер первый совладал и подъехал, за ним и другой, хозяйский, подъезжает.

— Ну, садись, приказчик! — колдун мне говорит, и сам грузно на подножку ступает.

Конон Яковлевич тоже заносит ногу и, не поворачиваясь, говорит:

— Ты, Геннадий, с той стороны зайди, — и сам проворно в экипаж вскочил. — Но где же он?

Оглянулись — нет Геннадия Яковлевича.

— Да за мною же он шел, — говорит старший хозяин. — Я слышал его шаги...

— Точно так, сударь, — подает с козел голос кучер: — Они за вами шли. Приостановились закурить папироску.

— А потом?

— А потом лошадь заартачилась... Я уж не видел...

— Эй, вы! — крикнул хозяин на Аник. — Добегите-ка туда, поглядите, не упал ли он где...

Кинулись в овражек, взбежали на пригорок, где бьют родники, за сосенки поглядели, в кусты...

— Что?

— Никак нету... не видать.

— Покличьте!

Зазевали во всю глотку ребята.

Ге-енна а дий Я ко-в ле вич! Су-ударь! По-ожа луйте! Бра-а-тец зовут!

Не показывается и не откликается на зов молодой хозяин. Я взглянул на старшего хозяина... Вдруг он побледнел и позеленел весь, соскочил с пролетки.

— Корягин! — нечеловеческим голосом вскрикнул. —

За мной! — и в овраг к леску. — Эй, черти! — на мытильщиков заревел. — Бегите, ищите по лесу, кричите... Ему некуда еще убежать!

Лесок молодой, но частый, вереска и чаплыжника много, трава от росы сырая.

— Не скроется! Не убежит! Некуда! — мечется по сторонам Конон Яковлевич. — Найду! Не убежишь!

Полчаса мы полазили по этому леску. Нигде на тропинку не набрали, не только на дорогу.

Конон Яковлевич — мокрый, не в своем образе и с пеною у рта.

— Н-не уйдешь... Где-нибудь в кустах завалился.

— Сударь! — услышали голос издалека. — На след попал, — подал весть один из мытильных ребят.

Мы — туда, кинулись с хозяином. Ветки хлещут нам по лицу, иглы хвон колют руки, сами все мокрые, в поту. Добрались, наконец.

— Вот-с... Свежий... от лошадиных копыт... Должно, верхами, на двух лошадях...

Увидел хозяин следы лошадиных копыт, — пуще давишего поросенка завизжал!

— Негодяи! Мерзавцы! Выпустили из рук, не берегли! Скорей домой, погоню во все концы!.. А ты, скотина, что? — ко мне уж это лично. — Ты должен был видеть!..

— Глаз не спускал, сударь, все глядел. А как лошади от нечистой-то силы задурили, я уж тут не мог следить — затменье ума нашло...

Правду сказать, я кое-что позаприметил, но хозяину и заикнуться не посмел: он же сам с меня клятву перед образом взял никому не говорить, что увижу и услышу на «Семи ключах!»

Колдун преспокойно на пролетке посиживает, услышал нас, ласковым да одобрительным словом встречает:

— Знать паренек-то, купец, того... Фю-фю-ю!

— Ах ты, старый чорт! — взгрызся на него хозяин. — Через тебя все пропало!.. Колотите его, ребята! Бейте в мою голову!

— Э-ге-геге! Со мною-то, старичком, так шутить? Это от тебя заместо благодарности-то?

— Бейте! Столкните его с пролетки...

Здоровяки наши, послушные воле хозяйской, понадвинулись, было, на колдуна, зашли с обоих крыльев, хотя

осторожность большую соблюдали... Но старичок на них даже не прикрикнул, а выпучил только свои зеленые глазки, повел ими в сторону того и другого — Аники наши от него и отшатнулись!

— А теперича я... Посторонитесь-ка, ребятки... Али уж вы отошли?.. Я со старшим-то вашим перемолвлюсь, — говорит старичок и ножку свою, в бревнышко порядочное выдет, потихоньку спускает да глазками этак умильно на хозяина взирает. — Подожди, я не задержу тебя...

— Пойдем, — хозяин мне говорит, и сам — к пролеткам своим, да на резиновую подушку легче пуху взлетел. — Нет, я один... Ты с тем... Чорт с ним! Довези — и в три щел! — толкнул изо всей силы в широкую спину кучера и укатил.

— Напрасно ты не обождал! — вдогонку ему колдун пустил. — Всего я одну пару слов хотел сказать... Экий приткий, терпенья не достало!

Дорогою старичок говорил:

— Нет, сударик, ты перво-наперво, по договору, денежки уплати, да сверх того поблагодари меня за труды и беспокойство: я из-за паренька сколько всего наисприимался! Я свое дело исполнил, при свидетелях нечисту силу из него выжил, начисто ослобонил...

— Кажется, почтенный дедушка, уговор промежду вас был, чтобы молодого хозяина от одной барышни отворотить, а к другой, то-есть к невесте, сделать приворот? — осмелился я спросить.

— А ты, нешь, думаешь, что он не к невесте своей убер? Эх, ты, простота! Поди, сегодня же и обвенчаются.

— Да вы про кого говорите, почтенный?

— А ты про кого спрашиваешь, приставник?

— Я, конечно, на счет той барышни, которую сродственники в невесты молодому хозяину усватали.

— Экой ты дурак! — обругал. — Чего он не понимает? Ведь, та их, сродственников, невеста, а не его, парня-то...

— Однако, как же это...

— Молчи, коли не понимаешь! — прикрикнул.

Вот подите же! Смеялся я над этим сивым меринном, а теперь не смею перед ним слова пикнуть: чувствую, что я нахожусь в полной его власти, и он может, как ему угодно, мною повелевать!

Перед самым уже домом колдун промолвил:

— Поди, matka-то беглеца как обрадуется! Обузу мы с нее сняли.

Конон Яковлевич, возвратившись с «Семи ключей» и отдав приказания гонцам, вбежал без своего образа на половину мамаша, кинулся на диван и долго в совершеннейшем обалдении изволил пребывать...

— Сбежал... Беспременно обвенчаются... Перед тем, Железниковым, меня оконфузил, — выпаливает так, но уж холостыми зарядами. — И колдун не помог... Вся моя деятельность прахом пошла!

— Должно быть, богу так угодно, Конон! — в утешение ему сказала мамаша.

Не внемлет. Сидит и все про одно и то же бормочет. Вдруг, словно что его стрельнуло, вскочил и диким голосом завопил:

— Зарезали меня, зарезали! Перед цельем светом по-смещищем сделали!

И тою же секундою опамятовал, устыдился своей слабости и в натуральный свой вид пришел.

— Всех их, негодяев, раскассирую! — рвет и мечет по комнате. — Кроме дежурных, кто мог *той*... дать сведение, что мы у «Семи ключей» Генашку лечим! Строжайшее следствие над всеми назначу. Эй, кто там? Позвать братьев!

Но поделаться с нами ничего ему не удалось. Во-первых, Анна Федоровна за весь наш караул заступилась, а вторых, и младшие братья поддержали:

— Все меры были приняты, братец Конон Яковлевич: и клятву вы от них брали, и обыск ежедневно самый тщательный производили. Но ежели бы кто из них и подал известие, виноватого мы не разыщем, а сослать нам приказчиков невозможно: все трое ярморочные. Кем их заменишь!

Погоня к ночи воротилась: за сорок верст в разные стороны гоняли, — не нашли, всякий след простыл!.. А спустя три дня явились сами новобрачные, прямо в свой дом въехали, и всему городу стало известно, как дело устроилось, где венчались и прочее.

Условлено между ними было заранее. Как только к свадьбе приготовились, невеста и подала жениху знак, — с белым-то платком видение из рожи показывалось. Поленов в лесу усмотрел, что у «Семи ключей» с ночи до солнечного восхода стояли оседланные лошади, а невеста

все время поджидала в селе Богородском, в шести верстах от города. Как жених от стражи в лесок скрылся, ту же минуту из-за деревьев появился верховой — на учителя полагали — с другой лошадью, на которую бежавший вспрыгнул, и понеслись через кусты прямо в село; прискакали к церкви, сторож впустил их, а там и невеста с подругами и батюшка в облачении с причтом и венцами ждали. Погоня хозяйская мимо самой церкви пронеслась, а новобрачные у священника за свадебным столом уж пировали.

Но вот что для меня, сударь, в происшествии у «Семи ключей» и устройстве этой свадьбы оставалось некоторое время загадочным. Нине Евлампеевне никто из всех нас о лечении молодого хозяина не давал знать, — в этом я и сейчас готов присягнуть. Вам известно, что хозяину я предложил свои услуги насчет доставления письма Ниночке, он сперва принял, но потом отказался, и разговору об этом предмете промежду нами больше не возобновлялось. О лакеях, горничных с кучерами здесь и помину не может быть. Стало, кто же известие подал? Ключ от этой тайны мне в тот же день, вечером, был вручен; имя я не назову, — если сами не догадаетесь, то и особа эта навсегда для вас останется загадкою.

Будто бы, за четыре дня ровно до происшествия у «Семи ключей», утром в дом Нины Евлампеевны неожиданно появилась незнакомая дама, очень прилично одетая, в черной шляпке с густой вуалью и персидской шалью на плечах. Ниночка сама незнакомой даме дверь отперла, — мамаша ее в то время на кухне хлопотала. Ниночка в изумлении отступила, неизвестная дама тоже приостановилась. Смотрят одна на другую.

— Кого вам угодно? — робко Ниночка спрашивает.

— Вы хозяйка дома?

— Точно так.

— Вас мне и угодно, — говорит неизвестная дама. —

Можно войти?

— Просим милости!

Дама с густой вуалью прошла в гостиную. Молодая хозяйка за нею. Дама — высокая, с гордой осанкой, вошла и села на кресло.

В груди Ниночки что-то вдруг забилось. И так-то она смотрела печальною и казалась очень бледною, а тут еще смутилась и больше побледнела.

— Садитесь и вы, — приглашает хозяйку неизвестная гостья.

Ниночка в замешательстве присела на стульчик. Гостья смотрит на нее и молчит.

— Твое лицо мне нравится, — помолчавши, сказала дама.

Ниночка хотя и в смущении, но с признательностью отвечает:

— Очень рада. Благодарю вас... Позвольте мне узнать...

— После узнаешь, — перебила гостья. — Скажи, отчего ты такая бледная и грустная?

Ниночка опустила голову.

— Правда ли, что ты в монастырь уходишь?

— Правда, — та прошептала и еще ниже нагнула свою голову.

— Почему? Ты молода, хороша собою. Тебе пожить хочется. Что заставляет тебя черную рясу надеть?

Девушка — ни слова.

— Скажи.

Ниночка привзняла свою головку, лицо все у нее вспыхнуло, и в глазах туманом подернулось.

— Не спрашивайте! — тихо взмолилась.

— Ты мне писала...

Ниночка выпрямилась и смотрит на даму.

— Я? Вам писала?!! — выговорила.

Гостья откинула густую вуаль.

Ниночка всплеснула руками, слабо вскрикнула и хотела убежать; но подкосились ноги, она зашаталась и сейчас бы упала, если бы дама не поддержала ее. Тут голова молодой хозяйки очутилась на коленях у гостьи... И, будто бы, неизвестная дама положила девушке на голову свои руки, долго гладила ее волосы, потом приподняла ее личико, нагнулась и поцеловала в губы.

— За письмо твое я и полюбила тебя, — сказала. — Есть, значит, в тебе сердце и бог!

Достала из-под шали какое-то письмо и подала Ниночке.

— Тебе... Что в нем — я не знаю, и тебя не буду спрашивать. Прочитаешь без меня... Я уйду.

И опять поцеловала девушку, простилась с нею.

— А в монастырь подожди уходить. Рано. Еще успеешь.

Письмо, которое осталось в руках Ниночки, было от Геннадия Яковлевича...

На пятый день, по окончании курса лечения, по городской площади ехал тройкою тарантас, в нем сидел здоровый старик в овчинной шапке и, махая кожаным бумажником, во все горло орал:

— Вот они, трудовые-то денежки! Все до копейки я с него, каина, вытянул. Все отлынивал да упирался, не хотелось, видно, купцу с гамзою-то расставаться. Да со мною, ведь, шутки плохи: нос это ему утер и деньги вымотал! Ха-ха-хо-о...

Народ кругом смотрел и боязливо, вполголоса говорил:
— Он самый и есть... Колдун-то!

*

И вот, сударь, подхожу я теперь к самому концу этой истории. Мне уж за сорок лет, много я людей насмотрелся и хорошие, согласные семьи видел, но такой пары, как Геннадий Яковлевич с супругою, — я, по истинной правде вам скажу, ни разу не встречал. Такая чудесная дама из Нины Евлампеевны вышла, что дай бог всякому доброму человеку подобную супругу иметь. Умница, ко всем людям жалостливая и справедливая: сколько она добродетели творит, помогает каждому, кто только к ней за помощью обратится, и сама отыскивает всех, кому добро оказать! Много народу за нее молятся богу. Насчет образования тоже поставила себя превыше тех, кто с губернанками да в институте воспитывались. Ну, а как она любила своего мужа, — об этом и говорить лишне.

Но и тут злоба да глудость людские от них не отвязались. Братья, кроме старшего, с Геннадием Яковлевичем скоро примирились, но Нину Евлампеевну у себя не принимали; только мамаша, Анна Федоровна, всегда на своей половине ласкала ее, любовалась «молодашкой» и говорила:

— Что мне за сношеньку бог дал! Ежели бы у меня дочь родная была, то и ту я больше бы не любила, как мою Ниночку.

В домах высшего купечества Нина Евлампеевна также принята не была. Дочь лакея, бывшая мотальщица, и мужа через волшебство украла... Где же им с такою знаться! Впрочем, и то надо сказать, что, пожалуй, Нина Евлампеевна и сама бы неохотно с ними компанию водила: опричь

пустых разговоров да бабьих пересудов заняться умному человеку от них нечем.

Через три года после свадьбы Анна Федоровна скончалась. Геннадий Яковлевич купил себе имение, попросил раздела с братьями и уехал из города с семейством в свое поместье. Бог наградил их троими деточками: два мальчика и девочка у них были. Но Геннадий Яковлевич вскоре начал прихварывать. Чем уж его доктора ни лечили: и лекарствами разными, и на кумыс посылали, и в теплые края он ездил! Всегда с ним находилась его верная подруга и хранительница, ни разу она не покидала его на чужих людей и везде при нем была неотлучно... Но ни богатство, ни доктора не спасли Геннадия Яковлевича от смерти: чахотку, говорят, не излечишь. Умер, тому назад, он два года. Народ приехал его хоронить за сотни верст, из города тоже множество людей отправились; одного Конона Яковлевича не было: не мог он брату и в гробу его простить «Семи ключей»!.. Да, вот и рассуди: Геннадий Яковлевич на тридцать четвертом году помер, а Конон Яковлевич и шестидесяти все жив и еще лет тридцать проживет. Почему это так? Покойный опричь добра больше ничего другого людям не сделал, а Конон Яковлевич... Ну да, видно, хорошие люди, действительно, богу нужны.

Если бы не детки, Нина Евлампеевна беспрременно бы вслед за мужем в сырую могилу сошла... Но малыши удержали.

Окружили они мамашу свою, молодую да красивую, прильнули к родимой и не оторвутся...

— Что ты все плачешь, мамочка? — лепечут. — Разве ты не любишь нас? Тебе скучно с нами? Знаем, ты папы ждешь. Да он скоро придет! Мы все с тобой побежим встречать. Да, мамочка, правда? Утри же слезки!.. Ну, вот ты уж и улыбаешься!.. Дай за это поцеловать тебя... Мамочка, милая, хорошая! Как мы тебя любим!

И живет молодая вдова у себя в имении; вся она предалась воспитанию своих деточек и добрым делам. Живет с нею мамаша ее и одна из учительниц, которая вместе с Ниною Евлампеевной деток обучает, а братья помогают имением управлять. Младшая сестра, что в учении у портнихи находилась, вышла замуж; партию себе отличную составила: супруг ее главным механиком на фабрике. Мы с женою часто навещаем Нину Евлампеевну; первые всегда у нее гости, а жена с ребяташками целое лето в имении

ихнем проводит. Самому мне долго нельзя: я теперь в Москве большую должность занимаю.

Начали было к молодой вдове и женишки хорошие свататься, но она перед всеми искателями крепко дверь затворила: ни за кого в другой раз не выйдет верная супруга покойного Геннадия Яковлевича!..

До конца дней своих я буду помнить эту историю. Когда мои дети достигнут совершенных лет, я соберу их всех и скажу им, что от Геннадия Яковлевича отец жить пошел и благополучие своей жизни составил, а через Нину Евлампеевну прозрел, мать ихнюю впервые узнал, полюбил ее навсегда и от всего сердца...

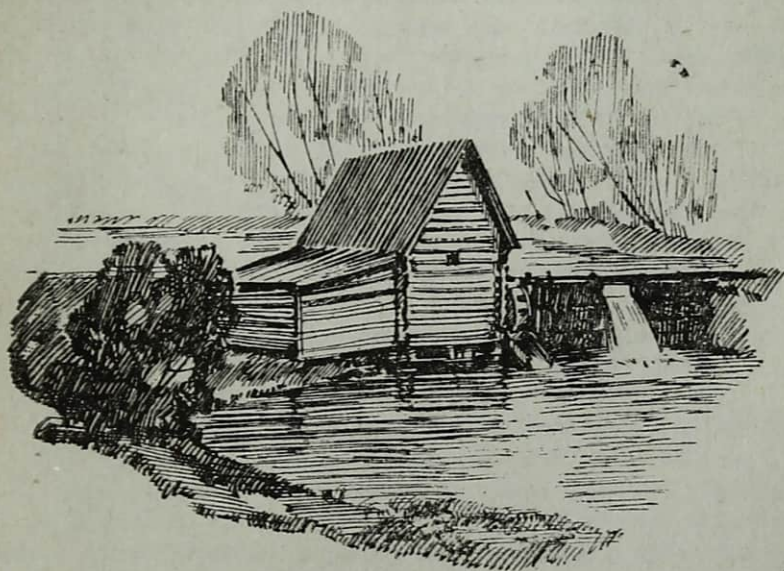
Да, я не забуду...

А Конон Яковлевич? Бог один знает, каков-то его смертный час будет... В последние минуты, когда из очей станет уходить белый свет, может, умирающему покажется скорбное лицо Геннадия Яковлевича, и вспомнит тогда жестокий человек про все свои земные дела, с которыми душа его предстанет перед лицом праведного судии, — вспомнит, говорю, и содрогнется от ужаса...

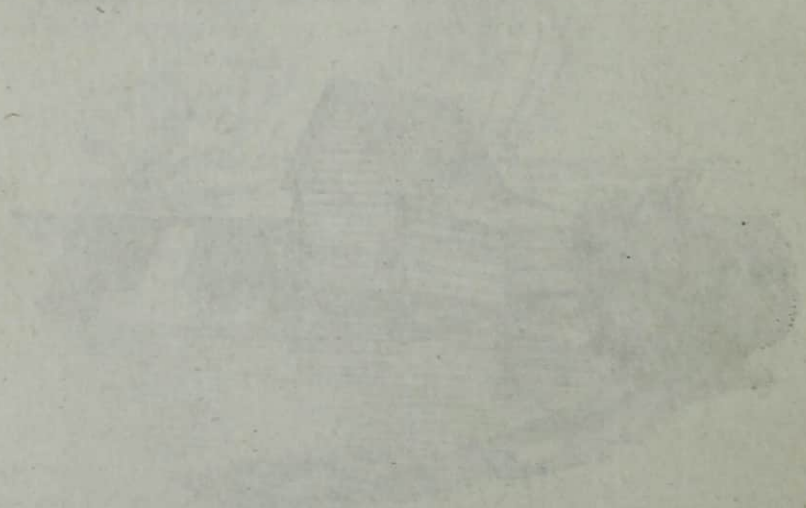
Так-то, сударь!



ЧУДЕСНИК ВАРНАВА



THE MEDICAL
DEPARTMENT





О НАШЕЙ волости народ больше плотник да столяр. Нас так и зовут: «славяцкие плотники». Промышляют в Москве и ближних городах; вдаль чтобы очень, как, например, в Одессу, наши не забиваются: летом земледельство не позволяет, а зимой на фабрики и заводы лесной материал возим. Редко кто на стороне круглый год проводит, — разве кому выгодная работа навернется, так останется. Как же, есть из наших и подрядчики: те уж постоянно на городах, в деревню разве на хромовой праздник когда приедут. Одно время из молодого народа пробовали на фабрики поступать, но бог счастья не дал. Год-два поживут да и назад: либо бодень какую получают, либо от томной работы сбегут. А главная причина — слабость там большая. Ну, старики к домам ребят и потребуют, чтобы они совсем не заматались. Особенно напугал один случай. Кругом нас, по другим волостям, раньше мы еще слышали, что немало народа через фабрики повреждается, семьи свои несчастными сделали; но пока у самих на глазах примера не было, равнодушно к слухам относились, а как увидели, до чего довел себя Варнава Спиридонович, так позадумались...

Нашей деревни, Леванихи, крестьянин он был. Остался после родителя Варнава годков восьми; две сестры еще при отце были выданы замуж в чужие деревни. Агафья, мать Варнавы, сдала мужнину тягло в общество: одной не под силу справиться, а работника содержать достатков не хватало. Сама по летам в работницы нанималась, а зимою милостыню собирала. Мать души не чаяла в мальчешке; только и мыслей в голове, только и забот, что о Варнаве. Известно, один сынок, намоленный. Всем рассказывает, какой он у нее занятливый да смысленный, до всего то дотошливый: ветряные мельницы из лучинок строит, свистульки из глины делает, дудки из тростника вырезает и всякую штуку на ребячью утеху смастерит. Пришли раз

к ним портные, из одежды пошить; мальчуган на шаг от них не отходил, все любопытствовал и глядел, как что кроют и шьют. И так ему понравилось это искусство, что стал проситься у матери в ученье к швецам. Агафья пожалела с ним расстаться, не склонилась на просьбы сына... Всем бы хорош сиротинка, — смирный, послушливый и ласковый, — но с душком паренечек: если кто из товарищей попрекнет мальчонку, что мать у него побирушка, затрясется весь и с кулачками на обидчика. А уж ежели кто ударит его, всегда сдачи даст. Такой непереносливый, обидчивый!

Подрос Варнава, четырнадцать годов ему минуло. Попросил с матерью у мира земли на одну душу и принялись землю пахать. Работали, старались, но с одной лошадей да при малом числе скотины плохое крестьянство: земля требует у нас удобрения, большого ухода за собою, а без этого плохо родит. Но ничего, пропитание себе имели. Зимой парень на лесопромышленников работал, дрова возил — на прокорм лошади добывал. Одно мы за ним примечали: словно бы к делу крестьянскому душа у него не вполне лежала. На девятнадцатом году Агафья надумала женить сына. Невесту засватали они в соседней волости, за рекою, хороших отца с матерью девушку. Варнава росту был небольшого, но сильный, могучий парень; костью широкий, волосы на голове густые, черные, глаза темнокарие, ус только пробивается и лицо продолговатое без приятности. Художеств за ним никаких не водилось, жизнь вел правильную, до вина не прикасался. Невесте он понравился. А сватам то польстило, что один парень, мать женщина добрая, и хоть бедновато живут, зато дочке будет хорошо: свекра, золовок и деверьев в доме нет, знай только мужа, да умей обходиться с свекровью. Сыграли свадьбу. Молодичка попала добрая, кроткая и работающая, из себя пригожа и крепкая бабочка. Жить бы Варнаве да жить с молодой хозяйкой, а тут вон наших нелегкая на фабрику понесла. Давно уж на фабричные добычи зарились: работа легкая, жалованье большое. Взманило это и Варнаву.

— Ты, Марья, — сказал он своей молодичке, — оставайся здесь с матушкой, хозяйство поддерживайте, а я пойду деньги добывать. Поработаю годка три, скоплю деньжонок, лошадку другую куплю и тогда полным крестьянином буду.

Желание он имел на ближнюю фабрику определиться, верст за семнадцать от нашей деревни, чтобы с женою и родительницею чаще видеться; но попались ему товарищи из стожевских и разговорили.

— Живут на этой фабрике от крайней нужды, кому уж деваться некуда, — говорили бывалые люди. — Народ все местный, на другие фабрики боятся итти — далеко от домов, а тут рядом, каждую субботу в своей деревне побывают. Одна слава, что фабричные, а так переколачиваются, работают, ничего себе не приобретая. Пойдем лучше с нами; мы на богатейшую фабрику поступим.

Варнава принял совет, отправился с ними на богатейшую фабрику.

Определился на должность под Москвою. Сперва Варнава в ставильщиках служил, — мотушки на станки таскал, жалованья на своих харчах восемь рублей в месяц получал, а по прошествии года в первые «мальчишки» его произвели, младшим присучальщиком сделали, и зарабатывал уж он десять рублей в месяц. Значит, хорошее дарованье у парня открылось. Иные по три-четыре года в ставильщиках, а он со второго так превысился. Живет по хорошему, работает. Домой придет на пасху и на храмовой праздник, — Егорья зимнего у нас престол, — жене башмаки или ситца когда принесет, матери платок какой и в дом десятку даст. Домашние спросят его:

— Хорошо ли тебе на фабрике-то? Не больно ли маятно?

— Хвастать не буду, — ответит. — Работа томная, всю смену на ногах, на минутку присесть нельзя: содержание дорогое, и от жалованья немного останется... Вот, ежели бы до прядильщика дойти, тогда я сколотил бы порядочную сумму.

— Поживешь подольше, так, может, и дойдешь, — промолвит Агафья. — Старайся, роженный.

Недолго прожил, а уж перемена жизни в нем сказалась: в пиджаках да светлых сапогах щеголяет, вертушки покуривает и в речи у него слова новые, не деревенские, вино также начал испивать, — немного, но покушивал.

Средним мальчиком Варнаву сделали, от двенадцати до четырнадцати рублей получает и до мастера-прядильщика старается произойти. Другие из наших уж кто воротились, дома опять за крестьянскую работу да за прародительское

ремесло взялись, а Варнава Спиридоныч продолжает деньги наживать и в деревню совсем не показывается, родительнице своей не пишет... Что-то неладное... Погодя стороной поспышшим, наш парень спокачнулся, хмелем зашибается. Как без него дома живут, как мать с женой перебиваются, ему и заботы нет. Да года два глаз в деревню не показывал. Говорили, что Варнава чуть ли уж не старшим мальчиком, но жизнь ведет неправильную: пьет каждый праздник и к женскому полу большую приверженность оказывает.

II

Потерял ли от дурной жизни должность или пообразумился и вспомнил про мать с женой, но перед святою, наконец, Варнава в деревню приехал. Ни Агафья, ни Марья, жена-то, ни единым словом не попрекнули, с превеликою радостью его встретили. Щеголем таким явился, в суконном дипломате, сапоги высокие с калошами, при жилетке и часах с цепочкою на выпуск, да узел еще с собою привез. С лица возмужал, бородку черную кудрявую отпустил. Домашним своим объявил:

— Лето я намерен крестьянством заняться. Довольно на фабрике пожил, надо теперь до земли старание приложить.

Не объяснил, почему фабрику покинул. Вышел на улицу, вид оказывает гордый, точно главный приказчик или подрядчик из города, и говорит как-то мудро.

— Гляди, капитал он составил, — толковали мужики. — Вот поверь нынешним людям: чего не наврали про малого, а он вон каким справным да обрядным приехал!

Поздравляют Варнаву Спиридоныча с благополучным прибытием, всякое почтение ему показывают, и в шутку так предлагают:

— По случаю своего возвращения и светлого праздника господня не обидно бы тебе, Варнава Спиридоныч, потешить своих жителей: хошь бы на четверку миру-то соблаговолил?

— Что ж, за этим остановки не будет, — отвечает Варнава Спиридоныч, — я согласен. Жертвую для общества на полведра! — и деньги выкинул старосте.

Обадели на малое время мужики: так-то их пожертвованием фабрикант ошарашил!

— Вот спасибо, Варнава Спиридоныч, — весело заговорили, — уважил мир!

— Мне это очень приятно, — говорит Варнава, — я для общества всегда с моим полным удовольствием, потому как финанцы мне дозволяют, и я нахожусь в больших радостях, увидевшись с мамашею своею, родительницею, и супругою.

Как водится у нас в таких случаях, жители от себя к пожертвованию еще на полведра прибавили, и такое веселье учинили, что до темной ночи прохороводились, песни распевали, кричали и ссорились, все как быть следовало. С улицы домой кого бабы привели, кого приятели, будучи ногами и головой крепче других, на себе приволокли, а старика Куделина честно в дом на руках внесли. Варнава всего два стаканчика выпил, от третьего отказался, не принял, — держа себя с большим чувством, но скромненько и никому слова обидного не сказал.

В благодарность за уважение, какое от Варнавы получили, мир потчевал его землею.

— Бери, сколько желаешь, — говорили. — Хоть на три души нарежем.

Поблагодарил за расположение, но от нарезки уклонился.

— Первоначально следует мне поосмотреться, — ответил, — так как, значит, от крестьянских занятий я поотстал, то полагаю до времени ограничиться одной душою. А осенью, будьте такие добрые, не оставьте, господа-миряне.

Живет с нами, дурного за ним не видим. Запахали под яровое, пар на озимое вывезли, а тут и сенокос подкатил. Управились с покосом, жнитво подоспело, а там и яровое не ждет. Варнава наряду с другими трудится, но с прохладочкою, не так, как настоящие крестьяне. Видать, что отвык человек. Иногда, случалось, жена с матерью на поле, а он дома останется.

— Головою нешь ослабел, — ответят на вопросы любителей, — частенько жалуется, болит она у Варнавы.

Болит так болит, нам что за дело? Со всяким человеком это бывает. Но бабы наши про себя уж шушукуются: Варнава будто попивает, по ночам в избе у них шум и грубый голос хозяйина слышат. Слова эти во внимание мы не приняли: заняты бабье разузнавать да разведывать, что в чужих домах делается да как промеж себя муж с женой живут.

Убрались мы с полевыми работами, обмолотили и, перекрестясь, нового хлебца отведали. Поглядим — Варнава Спиридоныч с току хлеб не в сусеки ссыпает, а мешки зерном наколачивает и на базар снаряжается. Вот тебе на! Что за притча? У нас, у многотягольных, своего хлеба до великого поста нехватает, а он с одной-то души да продавать вздумал! Совсем в толк не возьмем. Слышим, Варнава закружил... Спустия мало, видим с другим возом отправляется. Тут мы и постигли в чем загадка-то: денег он принес немного, уплатил подати, деревне угощение поставил и остался сам при одной трешнице. Известно, домашние прикрывали его, словом перед чужими не обмолвились; но в деревне какая тайна долго продержится? Скоро узнали, что Варнава пьянствует, жену обижает, из избы гонит. Пропил весь хлеб, одежду поволок в кабак; наспиртуется, войдет в градусы, и над женой потешаться. Негоден в хмелю, буян и безобразник. Свою одежду спустил, — за хозяйкину ухватился.

— Варнава Спиридоныч, — осмелилась молвить бабочка, — пожалей. В чем мне зиму-то будет ходить?

— А, так ты мужа не уважать? — зверем на жену вскинулся. — Я в таком огорчении и при несчастье большим нахожусь, а тебе шубы жалко? Вон из моего дома, мужичка, дура неотесанная! Убирайся с глаз долой, пока я тебя не изувечил до полусмерти.

Собрала тайком Марья свое имение, какое за собою в приданое принесла, и уехала на соседней лошадке к своим родителям.

— Всю-то дорогу, — рассказывала после соседка, — горькими слезами она заливалась!

Не на что стало Варнаве пить, тоска его обуяла, залез на печь, завалился и лежит. Примечательно: пил он довольно времени, но от посторонних таился, в четырех стенах лютовал и на улицу во хмелю не показывался; за вином ежели пойдет в Панфилику, то норовит так прокрасться, чтобы ничей глаз его не увидел. Должно стеснялся: весною-то пыли в глаза деревне напустил, форс большой задал, а на поверку вышло, что он безденежный и слабый жизни человек. Лежал он, лежал на печи, и одурь его взяла, ничего о себе не придумал. Мать ему говорит:

— Ты, Варнавушка, хоть бы в работники наваялся или переговорил с кем насчет работы: мужики скоро подряд возьмут и начнут лес возить.

А он ей с печи такой ответ подает:

— Как же это я теперь в работники наймусь, когда я жил на самой первой фабрике и немного до прядильщика не дошел? Мне даже очень низко это будет, если с такой должности да к мужикам я в работники определяюсь или лес стану возить.

— Да ведь без дела-то нельзя жить, родной, — уговаривает мать, — надо пить-есть, обуться и одеться. На печи-то сколько ни лежи, ничего ты не вылежишь. Вон, у Степана Михайлова ребята на зиму не придут, работа им выгодная на стороне выпала, так ему работник требуется. Может, Степан-от взял бы тебя.

— Напрасно ты беспокоишься, — отвечает сын. — На такую линию нет моего расположения. В деревне что за жизнь? Мужики без всякого понятия, мне не с кем даже слова сказать, работа тяжелая и грязная. В городе или на фабрике — образованность и легкость, жалованье приличное.

— Да где оно, сынок? Много ли ты в четыре-то с половиною года нажил?

Не нашелся, что сказать, только вздохнул. Полежал еще день на печи, поворочался с боку на бок и надумал.

— Матушка, — начал, — я опять уйду на фабрику. Вино я брошу пить, талант у меня большой, и я через полгода полным мастером сделаюсь, зарабатывать стану до тридцати целковых в месяц. Тогда я тебе всякое спокойствие предоставляю, заживешь ты не в пример прочим, как настоящая купчиха.

— Далеко нам до купчих-то, — говорит Агафья. — Хоть бы с плетушкой-то мне еще не ходить, свой кусок хлеба есть, а не выпрошенный, не вымоленный!

— Будь вполне благонадежна, — успокаивает Варнава. — Жена от меня ушла, — ну, и плевать на нее! А ты моя родительница: кому же о тебе заботиться, как не мне, единственному сыну? Моя священная обязанность родительницу успокоить и обеспечить.

— Ох, роженный мой! Умильные твои речи, но как на деле-то выдет? Мне все сдается, не засосала бы вдосталь тебя фабрика-то. Да и в чем ты пойдешь: одна рубаха да портки на тебе остались.

— Отложи всякое сомнение, любезная мамаша! Разные глупости я теперь оставляю и все мои старания устремлю на то, чтобы составить капитал, потом заняться торговлею

и предоставить тебе обеспечение. А насчет одежды это вы правильно сказали, без костюма на фабрику невозможно явиться. Об этом предмете я, долго лежавши на родительской печи, постоянно размышлял и в ужасной тревоге чувств находился, пока не осенило меня провидение. Вот какую мысль господь мне преподал: при малом надежде мы всегда должны бедствовать: а теперь, когда Марья нас бросила, одной тебе хлебопашеством невозможно заниматься, и лошадь для нас зимою в большую тягость, одно разоренье...

— Что ты говоришь?! — испугалась мать. — А чем я весной-то возьмусь? Может, сношенька ко мне вернется, с нею вдвоем да с лошадкою то мы какнибудь еще потинемся.

— Одно беспокойство, мамаша: от земли не проживешь. Впрочем, ежели желаете продолжать хлебопашество, так весной будет у вас новая лошадь: через месяц, много через два я достаточную сумму денег вам пришлю, так что и лошадь хорошую купите, и на продовольствие вам останется.

Сдалась Агафья: положилась на обещания сына, продала лошадку и одела его с ног до головы.

III

Напустились бабы на вдову, когда сведали, что Варнава вторительно деревню покинул.

— Ты что же это делаешь, Максимовна? — приступили к ней. — Сын ничего в дом не принес, хлеб и одежду пропил и жену прогнал, а ты последнюю лошадедку продала и деньжонки в него все ухлопала! Аль ты оплоумела? Нет мужа-то, так острастки над собой не знаешь?

— Что же мне было делать-то, умницы? — правилась Агафья Максимовна. — На печи лежать мужику не приходится, а на фабрику итти не в чем.

— Да ты почто его отпустила-то? Хочешь, чтобы он с последних пахлей сшибся. Вон, Михайлов взял работника на зиму!

— Говорила, милые, говорила. Не послушался. Вишь, жалованье ему большое положат; на фабрике у них всякая образованность и удовольствие, а в деревне-то ничего этого нет.

— Так на эти речи его ты и прельстилась? Ах ты, фефела, фефела! Добежала бы до волости, покучилась начальникам, так Варнаве такую бы образованность с весельем прописали, что у него всякая блажь из головы выскочила!

— Эх, милые! Чай, Варнава-то мне родной, сыночек намоленый.

— Ну и вышла круглая дура, хоть ты и в совершенных летах. Помяни ты наше слово: сгинет его голова!

— А бог-от батюшка?

Чем Агафья пропитывалась, неизвестно: но по окошкам она не стучала и в избы с корзиною не заглядывала. Должно, какие-нибудь крохи остались, коровенка была, овечек парочка и курочки... Одинокой бабе много ли требуется? Изба у нее после мужа осталась хорошая, крепкая и теплая, дрова не покупать — в лесу у нас хвороста всего не выберешь. Чтобы на керосин лишне не тратиться, прясть по вечерам к соседям уходила.

Месяц прошел, два минуло, а Варнава денег матери не шлет.

— Видно, не сразу он на место попал, — утешала себя Максимовна, посиживая за гребнем. — А то как бы ему не вспомнить!

— Слушай-ка, тетка Агафья, — молвит хозяйка избы, — ты вправду полагаешь, что вышлет денег?

Позадержала в руке веретенцо Максимовна и глядит на свою приятельницу.

— А то разве не придет? — промолвила. — Варнава обещанье свое исполнит, не обманет меня. Ведь он, милая, человек совестливый, доброжелательный. Один в нем недостаток: хочется ему как бы все лучше, вровень-то с хорошими людьми стать, а сила его и не берет, молод еще очень. Дай срок, войдет он в совершенные годы да полный свой разум, настоящим человеком будет.

— Дай-то бог! — пожелала хозяйка.

Но другие бабы ничего от Варнавы не ожидали. Повстречают Агафью, — и первый вопрос:

— Максимовна, слыхать, Варнава Спиридонич тебе четвертной билет прислал?

— Аль вы про него что слышали? — в свою очередь любопытствует Агафья, и глаза карие у нее словно чем застелет. — Поведайте, родимые! Сама я от него весточек не получала.

— Чего скрываешь-то? Не опасайся, деньги мы у тебя не отыдем. Э-эх, учить-то тебя некому! Замотышится твой Варнава и не видать уж тебе его, как ушей своих.

Найдут таким добрым словом и сами разойдутся, оставив Максимовну в раздумье.

Вскоре после Никола зимнего в нашу волость пришла повестка на двадцать рублей с передачей в деревню Леваниху Агафье Максимовне Шумиловой. Перекрестилась вдова, получив от сына деньги; к соседке первым долгом метнулась.

— Акулина Ивановна, погляди-ка, что сынок-от мне прислал! — два красных билета показывает.

— Что ты? Неуж столько от него?

— Говорила я тебе: Варнавушка не забудет. Надо скорее бежать к грамотеям. Больно хочется узнать, что он про себя описывает.

Идет по деревне и, кого ни встретит, каждому спешит о радости своей оповестить.

— Сынок деньги прислал. Вот, две красненьких. Тороплюсь до Карпа Миненча, письмецо от Варнавушки прочитать.

Карп Миненч, — он у нас по старой вере был и первый начетчик, — мужик годов шестидесяти, роста среднего, борода широкая помелом с седью, волос на голове почти ничего не осталось, — от прилежного чтения потерял. В большой и чистой горнице у него сидели единоверцы, когда вошла с письмом Максимовна и за ней баб с пяток, — любопытно им послушать, что Варнава матери пишет. Карп Миненч надел очки и приступил к чтению. В начале, известно, почтение свидетельствует и просит у родительницы благословения Варнава, навеки нерушимое, а дальше уж изъясняет, что жизнь ведет он правильную, работает на прежней фабрике и надеется, что через месяц произведут его в прядильщики.

«И тогда, любезнейшая моя родительница и мамаша», — следует дальше в письме, — «я буду ежемесячно вносить по десяти рублей в сохранную кассу, по четыре или пять рублей высылать вам на прожитие и подати, а остальные деньги пойдут на собственное мое содержание и костюм. Лета ваши уже уходят, и я очень хорошо понимаю, как без моей поддержки вам трудно, а потому вы можете находиться без сомнения и по конец моей жизни надеяться, что я единственная ваша опора и благонадежный попечитель.

В деревню скоро меня не ожидайте, так как все мои помышления и заботы теперича в одну точку натрафлены: сделавшись мастером, составить приличную сумму, чтобы стать настоящим человеком и быть на виду у прочих, а какая впоследствии будет моя промышленность, когда я ворочусь с капиталом под кров родительского дома, обозначат время и обстоятельства...»

— Вишь чего он достукивается! — шептались бабы.

«Родная моя матушка», — читал Минеич, — «верь ты одному, что я не пропащий сын и все силы положу, чтобы удержаться от слабостей и быть кормильцем твоим до последней минуты жизни. Жене кланяюсь и прошу ее грубости моей не попомнить. Что же делать: я сам на себя казнюсь. Ах, если бы господь меня укрепил!»

Никто из баб не удержался, чтобы слезы не выронить, слушая письмо Варнавы Спиридоныча, а сама Максимовна то и дело всхлипывала да на образа старинные крестилась.

В конце письма была приписочка:

«Сочинитель этого письма — средний мальчик, иначе, второй присучальщик, Андрей Петров Кулебяшкин; рядом на станке с Варнавой Спиридоновичем работаю и состою у него под рукою. А что он, господин Шумилов, действительно, как из дворов прибыл и вторично на фабрику нашу определился, ни вина, ни пива по сие число не кушал и никакими фабричными глупостями не занимается. В этом я ручаюсь и собственноручно расписываюсь, средний мальчик, иначе второй присучальщик, Андрей Кулебяшкин. Остаюсь с почтением к Агафье Максимовне, дрожайшей мамаше Варнавы Спиридоныча, и, пожелав вам доброго здоровья и всего лучшего, доброжелатель ваш — все тот же самый Андрей Кулебяшкин».

— Мозговатая башка! — похвалил Карп Минеич, сложил письмо, вскинул головою, осветив широкой лысиной горницу, и посмотрел на всех своими маленькими зеленоватыми глазами. — Борзко пишет.

Дружок его, старовер Копытов, от себя добавил:

— По слогу письма, глядеть, никонианец сочинял.

Хозяйка Татьяна Ивановна, моложавая на вид женщина, приветливая такая и доброжелательная, к Максимовне с душевным словом обратилась:

— Больно я за тебя рада. Ну-ка, сынок-то о тебе как радеет!

На деревне только и разговоров, что про Варнаву Спиридоныча. На колодце бабы сойдутся, на супрядках в избе, речь об одном ведут: «фабрикант» денег прислал, письмо такое разумное да обстоятельное, и чужой человек за него расписался.

— Что ж, может и впрямь установился. Нам со строны любо, что он добычник и о родительнице попечение имеет.

— Ну, раньше не то вы про него говорили,—напоминает Акулина, соседка Шумиловых: — кажется, хуже-то Варнавы и человека другого на свет еще не рождалось.

— Что ты, Акуля, окстись!.. Когда мы что плохое про Варнаву говорили?

— Память у вас коротка... Разве не вы на тетку Агафью тогда кинулись, когда Варнава на фабрику ушел?

— Хвастаешь! Не клепли понапрасну. Мы точно, жалючи Максимовну, говорили, что не след ей было лошадь продавать, крестьянское обзаведение нарушать, потому Варнава хмелем зашибается. Так в этом обидного, чай, нет. Почем мы знали, что сын ей денег пришлет? А что он жену прогнал, так в этом деле мы никому не указчицы: не всегда тоже и наша сестра бывает права.

— Да постоит вы оправлять-то, — вступает на помощь самая умная и прозорливая, жена старовера Копытова: — рано очень захвалили Варнаву. Подождите, чем еще он себя окажет? Вы теперь на Марью сваливаете, а я Варнаву обвиняю: человек он молодой, с законом ему жить али беззаконничать?

— Правда-истина, — подхватят бабенки. — Вот разумница-то! Так что ты, мать, с этой стороны про Варнаву знаешь, не потайсь, скажи нам хоть маленько, мы из избы сору не вынесем.

— То-то вот!.. Подумайте, как вел он себя на фабрике: в два-то с половиною года про жену не вспомнил, ни разу молодичку не проведал, нечестивец! А в деревне, проживши одно лето, много ли он жене ласки показал: за все над молодежию куражился, издевался, а под конец того из дома выгнал.

— Не в своем уме человек находился,—замолвит слово Акулина. — Теперь уж он сам жалеет.

Куда! Слушать не хотят: Копытиха верх забрала. Она много больше о нем знает, но до поры до времени помолчит, никому не скажет.

Для всех теперь стало ясно, что рано начали хвалить Варнаву: надо повыждать, время покажет.

По уходе сына, Максимовна дала знать снохе. Та живо собралась и в Леваниху вернулась. На масленице Варнава еще денег прислал. Купили лошадь, и с весною по-прежнему за крестьянство принялись. Работают, трудятся.

IV

Прошло месяцев пять. О Варнаве Спиридоньге вести что-то позапали, — сам в дом с масленицы не писал, а стороной не от кого узнать: далеко живет, под Москвою. Осенью по нашей округе начались престолы, стал народ съезжаться на праздники, приехали лапинские, с той фабрики, на которой наш Варнава живет. От них известие мы и получили.

Шумилов в слабость вдался, пьет много и распутством занимается. Не раз от должности ему отказывали, но опять принимали: дело свое до тонкости знает и трудно его другим заменить. Если бы да не эта его слабость, то давно бы уж ему быть первым мастером! Мнения такого товарищи держались, что у него запой. Долго не пьет, крепится, а как настанет урочный час — и прорвет его.

— Все мы, грешные, пьем, — рассказывали фабричные, — но как свисток позовет на фабрику, мы уж на своих местах. А Варнава Спиридоньч этого не может: по неделе его за станком не видать... Впрочем не один он в таком положении, немало подобных ему на фабрике.

Закручинились мать с женою, узнав про несчастье Варнавы; письмо ему послали и в деревню его звали. Никакого ответа не дождались. Добрые люди посоветовали написать Кулебяшкину, что за Варнаву письмо сочинил и за поведение его ручался.

Ни слова в ответ и от сочинителя! На деревне чуть уж не бунт.

— Требуй через начальство домой сына! — вопят бабы, наступая на Максимовну. — Чего ты еще от него ждешь, потатчица? Говорили, ведь, мы тебе, чтобы ты не отпускала, — не послушалась! Иди скорее к Миничу, поклонись ему — он тебе бумагу составит, и Варнаву пригонят.

— Нет, милые, — отвечала мать, — подождем, может он сам, по доброй своей воле не придет ли...

— Ну, так пропадай ты пропадом с своим Варнавою! — обозлились советчицы. — Мы ей от всего сердца добра желаем, а она вон какую песню тянет.

Не в дальнем времени новенькое спроведали. Деревню нашу проезжал с фабрики парень: занедужил он, и фабричный доктор послал его на поправку в деревню. Извозчик, с которым он ехал от станции железной дороги, в Леванихе остановился лошадь покормить, и парень хозяевам дома сообщил про Варнаву, что тот должности своей окончательно лишился и теперь находится в «котах»; подробно рассказал, что это за люди и какое их рукомесло...

При каждой большой фабрике коты состоят. Ежели какая на фабрике поденная работа, а такой всегда довольно бывает, контора зовет этих котов, и они за полцены все исполняют. Что получают за труд, сейчас же в заведение, и оставят там до последней копейки. Бессребренники, не любят денег! А перемежится работа или хребет себе крепко понамнут, вокруг фабричных занятие имеют: чуть мало кто позасиделся в трактире, на квартиру к себе позапоздает, того непременно оберут, как липку. Только на дворе стемнеет, в разных местах уж кричат «караул!» А что в праздники творится — уму непостижимо! Крики, шум, побоища — до смертоубийства нередко у котов с фабричными доходит. Есть и другой промысел у котов: по ближним селениям шарить и по дорогам ходить. В сословие это народ из тех же фабричных набирается. Собьется человек с пути, заматается окончательно, на фабрике его уж не принимают, он и пойдет в коты. Есть в этом сословии также люди образованные — из духовного звания и дворян столбовых. Зовут их тоже золоторотцами и босой командою, потому что очищают всякие ямы и нехорошие места, а сапогами и лаптями они пренебрегают. Но больше величают их котами, и кличка эта как нельзя лучше к ним подстать. Взять, к примеру, мучные лабазы: хозяин каждой лавки содержит своего кота. Кот сидит на мешках и ждет добычи; почует, прыг — и сцапал крысу! Сожрет — опять на мешки и выжидает новой добычи. Так и фабричные коты. Одна только между ними и есть разница: лабазные всегда сыты, жирны и гладки, а фабричные — голодны, испиты да пухлы, — одним вином только про довольствуются. Зимние квартиры у них на фабричном

дворе, — где-нибудь за дровами или в пустых бочках, а летом близ фабрики на вольном воздухе, — под кустом или в канаве. Так вот какие фабричные коты... Подумаешь, какого только звания людей не водится на матушке святой Руси!

В этом самом звании теперь и пребывал Варнава Спиридонич. По словам хвораго парня выходило, что для своей деревни Варнава больше не существует, все равно как помер человек. Делать нечего, беды не поправишь, покойников с погоста назад домой не носят.

В деревне понемногу стали позабывать о Варнаве, мать и жена перестали его ожидать. Если кому взбредет когда на мысль Варнава, спросят Максимовну:

— Не чуть ли чего?

— Никакого слушка, — ответит. — На одно уж я мекаю: нет в живых Варнавушки, скоротал он свой век горемычный.

— Похоже на то. Как бы уж лапинским или стожевским бабам не знать, — ихние мужики ко дворам пишут, а про Варнаву не упоминают!

— Хотелось бы мне помянуть за упокой его душеньки, понафидку справить, да не знаю, как. Поди, поп без «умершей»¹ не отслужит?

Узнать Агафью Максимовну нельзя. Здоровая была женщина, лицом и ростом, как сын, — Варнава вылитый в мать, только у нее глаза темнее, — в работе всегда проворная, дело у нее в руках спорилось, и походку имела легкую, а за последние-то годы сильно подалась: лицо в морщинах, волосы с висков поседели, светлые карие глаза, от частых слез должно-быть, замутились, и сама вся сгорбилась, ровно старуха древняя. Не красно выглядела и молодца: похудела, с лица сумная, взгляд робкий, — куда все пригожество и молодость девались.

В начале третьего года, как Варнава Спиридонич вторично деревню покинул, неожиданно волостной почтарь занес письмо Шумиловой. Карп Миневич распечатал, взглянул на почерк и объявил:

— От самого Кулебяшкина.

— А я думала от Варнавы! — опечалилась Максимовна.

— Подожди. Увидим.

¹ „Умершая“ — выписка из метрических книг о скончавшихся — Прим автора.

Прочитал. С первых строк сочинитель просит у Максимилиана извинения, что позамедлил ответом на ее письмо, — больше года не отвечал. Причину он тут выставляет, что, видючи несчастное положение Варнавы Спиридоныча, находился в большом расстройстве чувств, «так как господин Шумилов был первым моим другом и учителем в присучальном деле, всегда заботился обо мне и охранял мою нравственность». Да и не хотел огорчать сердца родительницы, выжидал, не возвратит ли господь рассудок господину Шумилову и не взыщет ли своей милостию.

«Паче всякого чаяния, — читал Минейч, — ожидания мои исполнились. Покотовавши известное время, друг мой оставил уничтожительный образ своей жизни и с фабрики навсегда скрылся... Ушел с одним приятелем, который также пил горькую чашу, а раньше того был первым мастером по своему делу: на господ фабричных начальников и приказчиков с их супругами и барышнями шил самые модные костюмы. Хотя мне теперича и неизвестно, в каком состоянии находится мой друг и попечитель, но я вполне за него спокоен: по всей канплекции господин Шумилов может вынести еще и не то, а качествам его ума и таланта удивлялись даже самые умнейшие коты. Спеша уведомить вас о сей радостной перемене, какая произошла в жизни моего покровителя, я прошу вас, дрожайшая мамаша Варнавы Спиридоныча, возложить все упования на одного бога и очень не сокрушаться, потому как сын ваш много имеет о вас заботы и попечения. А все несчастье из-за нашего мастера произошло. Варнаве Спиридонычу принадлежало самому быть мастером, а тот потребовал с него в руку: «давай пятишницу», — сказал, — «и завтра ты будешь придильщиком». Господин Шумилов таким самовластным требованием ужасно обиделся. «Ежели я недостоин, так останусь на прежней должности, а через деньги я не желаю себя возвышать». Происшествие это случилось накануне полочки жалованья: десять рублей вам к маслянице он послал, а с остальными деньгами в трактир, и с этого времени предался горькой чаше и прочим слабостям. О себе лично я утруждать вас не стану. Состою на прежней должности второго мальчика и ожидаю скоро повышения: обещают назначить меня старшим присучальщиком, и тогда я буду на той же самой линии, на какой раньше стоял Варнава Спиридоныч».

— Ну, задал он нам загадку! — сказал Карл Минейч,

осилив до конца писание Кулебяшкина, и вытер лысину. —
Исписал кругом большой лист, всех слов и не сосчитаешь,
а положительного в них ничего не заключается: разгада-
вай, как умеешь... Замысловат!

Перечитывали мы не раз это письмо, но до сути добра-
ться не могли. Сочинитель как будто желает успокоить
Максимовну, «уведомляет о радостной перемене», а в чем
состоит эта перемена — не объясняет и советует положи-
ться на власть господню. С фабрики «навсегда скрылся».
Как нужно это понимать? Нашел ли Варнава какую новую
должность или с мастером он пошел слоны продавать? Ни-
как невозможно постигнуть! Но पुще всего сбивало нас
слово «канплекция». Карп Миневич на что уж начетчик —
все он старинные книги перечитал и волос ют натуги ли-
шился, — а не разъяснил прямое значение этого слова.

— По течению мысли я догадываюсь, что это касает-
ся вина, — говорит, — но такой ли смысл, по начертанию
своему, оно имеет, точно определить не могу. В связи же с
другими словами утешительного оно не предвещает. «Мо-
жет вынести еще и не то»: по-моему разумению здесь од-
но толкование допустимо — сколько бы Варнава даль-
ше ни пьянствовал, здоровье его выдержит, и он в одночасье
не помрет.

Иного смысла не открыли. Все остались при толкова-
нии, какое дал Миневич.

V

Поговорили на деревне о Варнаве да и перестали: чего
уж языками чесать — пропал человек! Старики про себя
тут заповедь крепкую положили: ребят на фабрики боль-
ше не отпускать, а которые еще жили, — потребовали ко
дворам.

Время к зиме подвигалось. Наши подрядились у лесо-
промышленников: из казенных, удельных и купеческих
дач бревна, доски, тес и дрова вывозить. Как снежок
хороший выпал, по первопутку обозы с лесом и потяну-
лись.

Но тут перерыв на неделю пришлось сделать: наш
праздник Егория-великомученика подоспел. Надо спра-
вить престол-батюшку, винца с бражкой попить и повесе-
литься с гостями, как следует, по хорошему. К Шумило-

вым приехали отданные дочери с мужьями, родители Марья. Хоть нужду терпели, а гостей принять надо: таков деревенский обычай. День погостили, а на другой и уехали. У прочих только самый развал, полны избы гостями, а они проводили своих и остались вдвоем, одни, горюхи. Вечером на улице народ, песни и гулянья, — не выдут, сидят в избе...

Собрались ужинать... Послышат, в сенях чем-то стучуло, тихие шаги к двери направляются. Насторожились... Глядят — в избу человек вошел, в легком одеянии, в валеных сапогах, а поверху головы старым верблюжьим башлыком повязан — нос да глаза только видны. Не скидая башлыка, помолился на иконы, ступил шага два к столу и упал в ноги Максимовне...

— Сынок! роженный! — завопила старуха. — Да ты ли это?.. Тебя ли я вижу?

— Прости, матушка, — не вставая с полу, проговорил сын.

Марья к нему кинулась, поднимает мужа, а он и у жены прощенья просит.

— Что ты! Да разве мы... — лопочут обе. — Слава тебе господи! воротился, живым тебя видим.

На ту пору Акулина, соседка, к ним в избу заглянула и увидела, как мать и жена, обе плача и радуясь, около Варнавы хлопотали, голову раскутали и пальтишко, ветром подбитое, с него стаскивали.

— Вот и у нас праздник, — говорят: — хозяин домой пришел.

А хозяин весь дрожит, руки чуть не окоченели и с лица опавший, худой такой. Марья ему вина, что в бутылке от гостей осталось, живо спроворила, стакашек наливают.

— Не беспокойся, — говорит Варнава, — не пью... Мне только бы вот руки поотогреть.

— Так полезай скорее на печь, — перебивает мать. — Поди, весь ты зазяб... Согрейся, да ужинать слезай с нами.

На другой день, с утра, к Шумиловым посетительницы: одна не успеет присесть, другая — в дверь, за нею третья появляется... Уж очень всем любопытно: хоть глазком взглянуть на Варнаву Спиридоныча! Посидят, поспрошают кое-о чем, глазами на полати вскинут и по стенам поведат, не висит ли где тулуп или пальто, в каком

фабричный кот домой пришел, — подымутся и распрощаются. Максимовна им на дорогу:

— Поотдохнет Варнава, за работу сядет, — молвит, — кому что из одежды понадобится шить — приносите, он дорого не возьмет, а сработает хорошо.

— Неужто?! Да разве он швец?

— Выучился. Не оставьте, милые, коли навернется работка!

— Полтора года у хорошего мастера жил, — прибавит Марья. — Сказывал вечерось, что какую угодно вещь сделает.

Неделю, две живет Варнава, на улицу не показывается, живет тихо, смиренно, ровно его и на деревне нет. Зайдет кто в избу к Шумиловым, видят, хозяин с иглой, подогнувши под себя ноги, как настоящий мастер, на лавке сидит и шьет. Сперва жене шубу перешил: мех-то еще хороший был, а покрывка изнасилась, так он покрыл и заново отделал. Матери также старое перебрал и сшил. Соседка Акулина принесла работы, ребятишкам своим пальтецы зимние сделать: к Егорьеву дню не успела, — портные завалены были работою, — так теперь надумала, чтобы малыши об рождестве в обновках гуляли. Видят работу Варнавы, слышат об его мастерстве и диву даются.

— Где ты это, Варнава Спиридонич, мастерству своему научился? — спрашивают его деревенские.

— От товарища занялся, — скромно ответит первый, — он портной на фабрике... Я теперь всякую мужскую и женскую одежду могу делать: шубы, дипломаты, сюртуки...

— Вот как!.. Выходит, ты это мастерство насквозь произшел?

— Да, бог мне открыл...

— Хорошее дело. Поживешь, узнают про твое искусство — работу станут тебе отдавать.

— Очень желательно... Если бы дело пошло, я бы помощников себе взял.

Поглядели мы на Варнаву. Никакой перемены с того времени, как он впоследствии на фабрику ушел, не заметно, словно бы еще возмужал, черная кудрявая борода побольше отросла, только темные глаза у него бесперечь мигают, — вот знай, как рябь, когда на реке.

Смирно ведет себя Варнава, работенкой своей перебивается. Хорошей-то ему не дают, — прежние заправские портные шьют, — дешезенькое что-нибудь принесут. Дове-

рия, значит, еще не оказывают Варнаве. Так месяца три продолжалось. Прибык он в деревне, в праздники на беседку к нам придет, разговаривает.

— Как дела идут? — спросят.

— Похвалиться не могу, но и обижаться нельзя, — ответит с большой скромностью, — работка есть, только незавидная.

— А ты подожди! — подхватил Савелий Савельев Щербачев, человек торговый, лавочку мелочную в деревне содержал. — Ты должен сперва искусство свое показать.

— Случая еще не представлялось показать.

— Потерпи. Удостоверятся, что ты настоящий портной, тогда и большую работу доверят, — обнадеживал Щербачев.

— Да ты основаться хочешь на этом деле?

— Имею твердое намерение.

— А от фабричного мастерства совсем отстал?

Позамаялся Варнава Спиридоныч.

— Сказать вам правду, — начал в смущении, — я от фабрики едва не потерял себя.

— Почему? Разве какая незадача?

— А вот какая незадача-то, — тихо докладывал Варнава Спиридоныч. — Последний год я зарабатывал в месяц двадцать рублей, а денег у меня ничего не оставалось: половину в хозяйскую лавочку отдашь, — цены там на все предметы и припасы дорогие; часть пойдет на одежду, потому на фабрике народ форсистый, скорее готов недоест, но чтобы костюм был отличнейший, — а остатки в трактире посеешь.

— А как поживает господин Кулебяшкин?

По лицу Варнавы что-то светлое прошло, улыбнулся и ответил:

— Хороший человек... Не знаю, что с ним в настоящее время. Говорили, будто он... Да нет, быть этого не может, пустяки!.. Андрюша — душа человек, веселый и образованный, меня читать выучил, и писать я уже начал, но обстоятельства помешали.

— Ловок очень письма сочинять!

Улыбнулся Варнава.

— Бедовый по этой части, — продолжал. — Такое иногда письмо сочинит, что никто понять не может: думаешь, он это пишет, а оказывается, совершенно напро-

тив, смысл выходит иной; слова принимаешь всурьез, а он шутит! Человек очень примечательный... Только на фабрике таких не любят.

— Почему?!

— «Умны», говорят: «мы желаем попроще, а умники нам не ко двору»... Ведь нас, простых рабочих, управляющий и прочие высшие лица на фабрике за людей не почитают... Табельщик, хожалый, младший конторщик — и те по имени, как должно, не назовут рабочего. Все над нами господа, а сам хозяин — словно божество или настоящий идол.

Много занятного порассказал нам Варнава про фабричную жизнь. Видно, что с понятием человек, ум свой не пропил и совесть окончательно в себе не загубил. Помоги ему бог оправиться!

VI

Скоро ему представился случай показать свое мастерство.

В рождественский мясоед Карп Миненч дочку свою просватал. Жених дипломата за невестой пожелал. Портные, которые обшивают деревни, берутся за эти дипломаты, но плохо умеют.

Татьяна Ивановна позвала Варнаву:

— Сделаешь ли?

— Будьте спокойны. Я шил и дипломаты, и жакетки, и кофты дамские...

Попросил карандашик и нарисовал на бумажке форму. Невеста посмотрела.

— Правильно, — сказала. — Я видела дипломат на подрядчиковой дочери, — ей в Москве делали, — точь-в-точь такой, какой нарисовал.

Препоручили Варнаве дипломат. Исполнил работу. Невеста примерила, посмотрелась в зеркало, повернулась и еще через плечо полюбовалась, как дипломат сидит, и пришла в большое восхищение...

— Мой лучше вышел, чем у подрядчиковой дочери!

Мало дипломата. Понадобилось свадебное платье — Варнава и платье сшил. Татьяна Ивановна только ахнула, как дочка надела новое платье.

— Да ты, Варнава Спиридоныч, уж не волшебник ли

какой? — спросила. — Всякую штуку умеет шить, да как хорошо!

Тут наши девки взвоевались, когда увидели дипломат и платье на невесте.

— Варнаве будем отдавать. Пальты бросим, дипломаты станем носить.

Сразу Варнава у них в честь вошел: кому что нужно к весне сшить — Варнаве все понесли. Только девкам Копытовым и другим, отцы которых у нас считались богатыми, родители не позволили отдавать работу «фабричному коту». Да ничего, без них работы у него довольно было: к светлomu дню воскресения христова Варнава деньжонок посколотил. До самой пасхи крепился Варнава Спиридоньч, а со второго дня он и разрешил.

Местоположение у нас красивое: деревня расположена по возвышенности, в обеих улицах, по сторонам дороги, липы, ветлы и черемуха растут, посередке пруд, а внизу, с полверсты от жилья, река течет, вокруг далеко леса синеют... Очень хорошо. День красный стоял, народ везде гулял, девки яйца катали. Вдруг — песня!.. Как, что такое? Трех дней не прошло, а уж песни начали!.. Поглядели — наш модный портной отличается, идет с бутылкой в руке и так-то закатывается:

Я с хозяином расчелся,
Ничего мне не пришлось;
Из конторы вон пошел —
Кулаком слезы утер.
На машинушку сядился,
В путь-дороженьку пускался...

— Христос воскрес, барышни! — кричит девкам. — С праздником честь имею вас поздравить... Следовало бы по-христиански, нам друг друга обнять и троекратно поцеловаться, но от меня вином пахнет, и я не осмеливаюсь вас беспокоить... Эх!..

Ты прощай, прощай, хозяин,
Со заводом со своим,
Со заводом со своим,
Со директором лихим.

— Ну, зашла Варнава.

Ребятишки за ним бегут, народ глядит, смеются, а он закатывается:

Фабриканты, музыканты
Хоть голы, да удалы.
На руках-то кандалы.
Они ткут салфетки,
Все на разные на клетки;
Тонку пряжицу прядут
И в трактир храбро идут;
Со мамочеккам гуляют,
Вино с пивом распивают.

— Что поет, что поет, еретик! — покачивая рыжеволо-
сою головою, с сердечным сокрушением говорит старовер
Копытов. — Ребят-то наших, пожалуй, совратит.

— Недолго продержался, — замечает Лапшин, дядя
Варнавы. — Мать-то с женою ради великого праздника
обрадовал, удовольствие большое доставил.

Вино с пивом распивают,
Со мамочеккам гуляют.

— Вот мы как на фабрике-то поживали! — кричит. —
Эх, жаль, гармонии нет! Распотешил бы я все общество...
Христос воскресе, господа жители! С праздником!..

— Воистину воскресе, — отвечают с беседки. — Ай,
Варнава Спиридоныч, хорошо гуляешь!.. Только что же
ты без товарища? Одному не так повадно!

А он бутылку привзнимает, поведет ею по сторонам и
ответ дает:

— Вот у меня товарищ-то задушевный! Другого мне
не требуется, — и опять песню заводит...
Копытов едва гнев сдерживает.

— Да ты хоть бы до трех-то ден подождал, — возвысил
он голос. — Позабыл, какой ныне праздник?.. Здесь не
на фабрике, соблазн производить не доვзим. Прекрати!

Варнава почтительно выслушал.

— Извините, — промолвил и снял картуз, с учти-
востью поклонился. — Успокойте ваш гнев, г. Копытов,
и не сердитесь, потому дни теперь — общей радости и
прощения... Но я повинуюсь и удаляюсь.

Тронулся с места, пошел тихим шагом и запел:

Из пустыни идет старец;
Несет старец зварец,
А навстречу ему — бес
В образе молодой девицы.
Начал старца он смущати,

Окаянный начал соблазнять:

Во сенницу старца звать.

— Хорош стишок, — похвалил, ухмыляясь, Щербачев. — Да на какой это он глас поет, Семен Алексеич? — обратился с вопросом к старику Копытову.

— Стыдно тебе, Савельич! — сдвинув густые рыжие брови, обрезал его Копытов. — Мужик ты обстоятельный, торговый, а слова пакостные слушаешь.

— Зачем? Слова самые умильные!

Сознания Варнава не терял, пока за градусы не перевалит: разгуливает из конца в конец по деревне, песенки распевает и танцует, девкам скажет что-нибудь смешное, те рукавами закроются, а сами хохочут, заливаются, и ребятенкам разные фокусы с бутылкою показывает. Но как наспиртуется, в градусы высокие войдет, так и примется лютовать. В трезвом виде — смирный мужик, комара, как говорится, не тронет, а во хмелю совсем негоден. Дома у себя шумит, воет, безобразничает... Особливо жене от него много приходилось: всячески бранит, с кулаками на нее лезет. Свекровь за сноху вступится:

— За что ты это, сынок, на жену-то напустился? Ничем она перед тобою не провинилась, а ты ее понапрасну обижаешь!

— Родительница! — ответит. — Ты сделай милость, отстрани себя... В мои дела не вмешивайся. Я муж, глава над своей женою, что хочу, то с нею и делаю... Зачем ты меня рано женила?.. Я хотя человек неученый, но, живши на фабрике, всего насмотрелся и могу обо всем понятие иметь, ни перед кем себя в грязь лицом не ударю. Разве по моим качествам и таланту такой жены я стою? Мне нужна супруга, а эта — неотесанная баба, никакой политики не знает. Взгляни: корова! На фабрике я каких милоч знал? С лица — картинка, на каблучках повернется, за душу хватит, а ручкой поманит, так хоть на край света за ней побежишь.

— Ой, Варнавушка! — промолвит Максимовна. Все-то у тебя непутевое на разуме... Ты человек женатый, у тебя свой есть закон возлюбленный, а ты все про фабричных девок.

— Закон? — вопрошает и хлопнет стакан. — Это, что ли, закон-то мой возлюбленный? — и кулаком перед лицом жены поводит. — Вон из дома!

Бабы наши опять на всю деревню ревут.

— Пьяница! Кот... На ко, жену уж стал бить!

Святую и фомину неделю медведя за уши водил, а на жен-мироносиц разом оборвал и за работу сел. Матери ему стыдно, на жену глаз не смеет поднять, мучится... Опять Варнава Спиридоныч как быть человек, смиренный и работающий, вина капли в рот не берет. В праздники у него только и развлечение одно: уйдет в лес или на реку и гуляет до вечера. Не раз видали его на бережке. Вырежет себе дудку и играет...

Очень хорошо играл, но печально, жалобно так дудка у него пела, словно о чем плакала.

VII

Нравилось Варнаве портновское мастерство. Старательно, чисто и прочно шил: сделает какую штуку и сам ею любит. За работою сидит довольный, веселый и мечтаньям предается.

— Стану теперь копить деньги и машинку куплю, помощников себе наберу. Я знаю, работы у меня всегда будет: за одни фасоны мне понесут. Я вон гляжу на девок: моих рук на ком вещь, или чужих, прежних мастеров, — разница большая! В кофте или пальте моей работы девка словно барыня, а других — колода. Про дипломаты и жакетки уж не говорю, — кроме меня, никто не сделает! Потому — талант особый я имею... Только господь бы меня укрепил!..

Летом у портных дело перемежается: наступит рабочая пора — не до нарядов, и сами они за полевые работы принимаются. Держался наш мастер, а как последнюю работку окончил — прорвался и закружил. Мать с женою в работе убиваются, косят и жнут, а он безобразничает. Ожидали, что запой скоро пройдет, — нет, продолжается... На короткое время поопомнится, ляжет на печи и стонет. Мать или жена иногда слышали, как он вздыхал и скорбел.

— Господи! Да что же это я делаю? Неужели я со врагом своим не совладаю?

Осенью к нему опять работу понесли. Сошьет, деньги получит и в Панфилиху закатится, а то дома пьет, буйнит и колотит жену! Видят, запой у Варнавы затяжной... Сколько по мастерству своему опущения сделал! Работою его все оставались довольны, цену брал не дорогую и

остатками от материала не пользовался. Удивлялись даже такой его честности.

— Простой он мужик, — говорили о нем заказчицы. — Портные за грех не почитают от сукна или материи утаить, а Варнава-то до последнего обрезочка все тебе возвратит. Только вот долго ждать приходится: мало он тверезый бывает.

Но что хуже всего — Марью свою без всякой причины обижал.

— Скажи, что я есть за человек? — с хмельной головы пыгает жену.

Та забьется в угол, сидит безгласно и ждет, что вот-вот муж вразумлять ее примется.

— Слышишь? Можешь ты меня понимать или нет? Отвечай!

— Да в чем тебя понимать прикажешь, Варнава Спиридоныч? — подаст боязливо голос жена.

— В чем?.. Умная женщина сама должна постигнуть. Ну, почему я вино лопаю?

— Не могу знать... может, характера недостает, попустил себя...

— Дура! Я сам не знаю, отчего пью... Разве ты не примечала, как я себя преобладаю? И работа мне теперешняя мила, а пью... На фабрике причина была... Я человек с понятием, и сам знаю, что дурно поступаю... Ежели бы я смолоду наукам разным был обучен, то какой бы из меня человек вышел!.. А ты этого не понимаешь!.. Какая же ты мне после того жена, какой ты мне закон? Нет, долго, видно, мне еще придется тебя учить, долго образовывать? — и подымется с лавки, пойдет, пошатываясь, к жене и примется ее по-своему учить да образовывать.

От мужнина ученья редко когда синяки у Марьи с лица сходили. Терпела... Бабы, жалеючи ее, сколько раз говорили, чтобы она кинула мужа и ушла к отцу. Не слушалась.

— Может, он установится, — отвечала. — В нем это, по моему худому разуму, старое отрыгается. Со временем пообойдетсЯ. Станет к мастерству своему прилежать и утишится.

— Долго ли же тебе этого дожидаться? По его поступкам, как мы замечаем, чем дальше, тем он с тобой хуже, и утроба у него чаще вина требует.

— Ах, милье! — вымолвит горюха, и в глазах ее се-

рых что-то затеплится, — ведь, мне жалко что... Когда он трезвый, дурного я от него не вижу, словом не обидит... А что же делать, коли в нем слабость — он и сам не рад!

Разговоры промежду баб ходили, что Варнаву на фабрике одна девка от жены отворотила. Часто, сказывают, такие случаи бывают... Правду ли говорят, или врут — дело их, а не мужицкое.

Варнава не исправлялся, слабость больше в него вкоренялась, и он реже приходил в чувство. Особливо летом — на человека не похож! Терпела Марья, все от мужа переносила; свекровь за нее уже не заступалась, — сынок и родительницу свою бранил... Неизвестно, какая участь постигла бы женщину, если бы отец не приехал и своими глазами не увидел, как муж с нею обращается. Забрал все дочернее имение и увез Марью к себе домой.

— Чорт с вами! — послал им в догонку Варнава: — с хлеба долой и в избе просторнее.

Без жены не лучше себя повел. Пить стало не на что, отправился в амбар, но там — ни зерна!.. Мать-то с женою, как обмолотили, к соседям весь хлеб свезли, чтобы целее был. Хватился лошади — продана, мать оброк уплатила. Только обругал родительницу. Работа началась. Деньги получит и гуляет. Ночью когда взберется на крышу, сядет за трубу и кричит филином. А то сделает особую дудку, уйдет за гумна, в овин спрячется и оттуда по-лешинному выводит: вечером-то чутко, голос далеко слышать! Мужики догадывались, какой это леший, а бабы с девками пугались. Разные фокусы выкидывал... Чудесник! Мы не обижались, — шутки его безвредные, — но богатеи над Варнавою ехидно посмеивались. Выдастся неделя-две, успокоится и работает; воскресными днями на улицу покажется и к нам на беседку подойдет. Одежонка у него плохая.

Подойдет, послушает, о чем старшие говорят.

— Варнава Спиридоныч, — начнет Копытов, — что это ты сам портной и, сказывают, первый мастер, а не сошьешь себе новой шубы? Видно — за чужою работою времени у тебя недостает собою заняться?

Варнава несколько смутится, глаза у него еще чаще заморгают.

— Средства не позволяют, — ответит и в короткие рукавишки спешит запрятать свои руки.

— Как так? Времени довольно мастерством своим

новым занимаешься, кажется, пора бы и капиталец тебе составить.

— Должно-быть, расходов у него много, — подпустит Усанов.

Дядя Лапшин добавит:

— Мало ли расходов! Семейство у него большое, а добычников в дому один.

Варнава промолчит; отойдет к сторонке, сделает вертушку и закурит.

— Вишь, проклятую траву запалил, — говорит Копытов: — дымища смрадного напустил... На цыгарки да вино денег хватает.

Всякий раз, когда Варнаву увидят, найдут чем-нибудь уколоть его да посмеяться. Слова им не ответит — смиренный трезвый-то, — и вида не покажет, что понимает их насмешки.

Крепился долго, про себя таил; но потом, видя, что богатеи не унимаются, войну им объявил.

VIII

Как только выпьет, пойдет улицею и вызывает неприятелей. Остановится против дома Копытова и кричит:

— Семен Алексеич, дома ли? Выглянь-ка!

Тот к окошку подойдет, глядит сквозь стекло.

— Скажи мне, пожалуйста, правда ли, что я от людей слышал: будто по ночам ты огненным змеем летаешь к одной молоденькой солдатке?

Потемнеет весь Копытов, плюнет и отойдет. Народ на улице слышит, известно — смеются.

— Что же ты? — продолжает Варнава. — Подожди, я стишок тебе пропою:

Позабыл пустыню старец,
Воздыханья тяжки, слезны,
Розла зварец старец,
Бесом женским соблазненный:
Во сенницу без молитвы шел!

Победил Копытова, пошел на Усанова. Тот за воротами на скамеечке у дома сидел, разговаривал с Багровым, Карпом Миненчем.

— Василию Гаврилычу нижайшее почтение, — начал

Варнава, скидая с головы худую шапку. — Доброго здоровья, Карп Миневич. С праздником.

Багров поздоровался как следовало, а Усанов только слегка головой кивнул и спросил:

— Тебе чего надобно?

В полушубченке старом, в шапчонке худой и валенцах стоптанных остановился Варнава, вид принял почтительный и с учтивостью отвечал:

— Подошел речей ваших разумных послушать.

— Мы про себя разговор ведем, — сказал Усанов. — До тебя не касается.

— Очень жаль... Понимаю, Варнава недостоин. Так, может, притчу от меня желаете послушать?

Усанов отвернулся.

— Пойдем-ка в горницу, Карп Миневич, — сказал, — поди, самовар готов!

— Обожди, — ответил Багров. — Какую ты притчу хочешь рассказать, Варнава Спиридоньч?

— А притча очень назидательная, — отвечал Варнава. — Коротенькая, долго не задержу...

— Рассказывай. Послушаем его, Василий Гаврилыч.

— В недалеком расстоянии от нас пустошь находится, — Погорелюю она называется. Вам хорошо известно, что место это слывет нечистым: пугает часто людей, и разные наводнения проезжие видят. Недавно мне в Памфилихе случилось быть, — в кабак заходил. Нынче, знаете, строго: в заведении пить запрещено, возьми бутылку или штоф и уходи, а то целовальник сам покупателя выставит. Но для приятного времяпровождения гостям лещочек предоставлен, — рядом, шагах в тридцати; там столики, скамеечки поделаны, — очень прекрасно на вольном воздухе вино кушать...

— А ты притчу-то нам подавай! — перебил Багров.

— Сию минуту. Захватил я сорокушку и в лесок. Там — публика, впрочем, больше серый народ, только за одним столиком двое, по костюмам на купцов или приказчиков похожи, беседуют за смирновскую нумер двадцать первый, а поблизости их тарантас и хорошая лошадь стоит. Мужики про эту пустошь ведут речи, рассказывают, кому в каком виде и образе дьявол представлялся и наводнения какие видели: одному супоростной свиньей под ноги метнулся, другому огромным лохматым чортом показался, за бороду мужика ухватил и всего обшарил, третьему еще

страшнее... Купцы слушают внимательно. Один из них полюбозытствовал, спросил: «Вы о Погореловой пустоши?» — «Да, — отвечают, — про нее толкуем: место нечистое». — «Справедливо, — отвечает купец, — нечистое у вас тут место. Лет пять тому назад случилось мне проезжать этой пустошью, деньги большие с собою вез. Ехал благополучно. Вдруг из леса трое вышли — лешие или черти, не знаю, загородили дорогу и человеческим голосом: «Давай бумажник!» Поглядел я на этих нечистых — народ все крупный, с здоровыми дубинами. Отдал бумажник. Взяли и сказывать не велели».

— Пойдем, Карп Минеич! — встал Усанов. — Что нам пьяного человека слушать.

— Подожди, Василий Гаврилыч! — останавливает Варнава. — Объясни, какой породы были эти черти, и не знаешь ли, кто такой этот купец или приказчик?

— Идем, Карп Минеич! — торопит Усанов, и сам, не дожидаясь приятеля, поскорее — в калитку.

— А, кльжан, ушел!

Багров посмотрел зеленоватыми глазками на Варнаву, метнул бородою с сedyю и тихонько усмехнулся.

— Мудреную притчу ты рассказал, — промолвил. — Надо, однако, итти: хозяин, пожалуй, обидится...

— Ступай, Карп Минеич, да расспроси брюхана про чертей-то. Любопытно!

Разговоры эти давно идут, что на Погореловой пустоши страшают и с людьми затмение ума случается. О купце тоже слух был, но темный...

Варнава к дяде направился, и того отчитал по-хорошему. Да с этого раза и пошел их честить: ни одного праздника не обходилось, чтобы он про кого из богатеев стишка ни пропел, песни ни сложил и на всю деревню ни потешался над ними. На беду Щербачев с нового года в деревне питейную лавочку открыл. Варнаве теперь близко: в Памфилиху надо за четыре версты итти, от работы не всегда удобно отрываться, а теперь — под руками; добежать разве долго? Первым покупателем он у Савелия Савельича считался. Заложит, вертушку закурит и пойдет мимо неприятелей.

— Гляди, как пышет, мошенник! — в гневе говорит Копытов. — Затуши огонь, брось свою мерзость! — кричит. — Долго ли до греха? Жительство спалишь.

Варнава приостановится.

— А, боишься, рыжий демон! — посылает в ответ с дороги Копытову. — Опасаешься, что снег загорится. Лицемер! Подожди, дай лету притти, я тебе красного петуха подпущу!

Семена Алексеевича словно чем сверху придавит, широкоую спину и голову наклонит, сидит на скамеечке без движения, только про себя глухо бормочет:

— Спалит, еретик, спалит Варнашка, мошенник. Никакого в нем страха божьего нет: великий пост, люди по одиножды в день хлеба принимают, а он табачище курит, беса тешит.

Другие жители про себя только посмеивались, как Варнава богатеев пробирал и куражился над ними. До Фоминой шло все благополучно: Шумилов чудит, а богатеи злятся. Пасху почти всю на мельнице пробыл; там нашел развлечение и забавы, а может и порабатывал что на мельника. В конце святой воротился и дома уж пил.

Отлучилась куда-то из дома Максимовна, а Варнава, выпивши, на печи курил, свесивши ноги на казенку, где рунье всякое — одежонка негодная. Душно ему показалось, слез и вышел на волю. Насупротив их избы, среди улицы, пруд и ветлами кругом обсажен. Он под ветлы и лег, заснул крепким сном. Вскоре соседи заметили дым в его избе. Выбежали, закричали; поднялась тревога. Ребята ударили в колокол, — про несчастный случай у нас на столбе колокол висит. Услыхали частые удары, народ обежался. Огня не видать, а только дым идет, и смрадный такой дым. Наскоро потушили.

— Грозил поджечь-то! — ревел Копытов. — Вот чуть, разбойник, не спалил нашу деревню. Староста, в волость его!

— К начальству! — шумели другие. — Да где он?

Увидели, под ветлами почивает. Разбудили, руки ему связали и с десятскими в село отправили. Старшина при бумаге в город препроводил, а там в острог его посадили. Вскоре к нам в деревню следователь приехал, созвал жителей и начал допрашивать.

— Я не видал, ваше благородие, — первый показал наш староста, — как Варнава у себя в доме запалил. Только угрозы его слышал, он не однова провозглашал: «Петуха красного подпущу».

Прочие жители в таких же словах показали. Спросил вдову Маремьяну — она насупротив дома Варнавы жила.

— А ты что, бабушка, знаешь?

Маремьяна была шустрая, востроносая да речистая старуха.

— Как же, как же, я все знаю, — зачастила. — Вот что барин: Варнава как напьется пьяный, так и начнет выхваляться: «Петуха красного подпущу», «сожгу я вас!» Ну вот он и поджег.

— Да ты видала?

— Не видала, сударик. Чего не видала, так уж не скажу понапрасну, греха на душу не возьму.

Опросил свидетелей и уехал барин, а дело о Варнаве передал земскому начальнику.

— Отчего у тебя в доме пожар случился?

Варнава обстоятельно рассказал:

— Я был выпивши, ваше высокоблагородие. Курил табак, и должно быть, от вертушки искра попала в рунье. Я ничего не заметил и на улицу вышел, заснул около пруда. Меня разбудили, связали и представили. Я не знаю, почему на меня клевету возложили, что будто я нарочно зажег?

— Значит, ты не умышленно заронил?

— Помилуйте, ваше высокоблагородие! Разве я какой лиходей своему имуществу?

За неосторожное обращение с огнем земский начальник оштрафовал Варнаву на рубль.

— Следовало тебя подвергнуть более строгому взысканию, — объявил начальник, — но ты просидел три недели в остроге, и я сделал тебе снисхождение. Ступай.

С тем и отпустил.

IX

Недолго, месяц с чем-нибудь, Варнава находился в отсуствии: увели его от нас на фоминой, а к пятнице шестой он уж воротился. Бабы живо пронюхали и разузнали, что его отпустили.

Вструхнули мужики. Субботу пропустил, не видали его, а в воскресенье показался. Отдохнувши после обеда, добрые люди на улицу вышли, расположились кто у своих домов в тени, кто под липами и ветлами: беседуют мирно, разговоры ведут.

— Вот они! — раздался грубый голос. — Со стороны

на них посмотреть — святые, чисто ангелы! Что, пузаны, не ожидали меня?

Не заметили, как Варнава успел в лавке Щербачева побывать, храбрости там набраться, но когда услышали его голос, сразу догадались, что он с войной идет. В пиджачишке, штанишках клетчатых, босой и без картуза шагает, черными волосами потряхивает, глазами страшно мигает и кулаками грозит.

— Хотели безвинного человека утопить! Так я вам покажу себя... Будете уважать и бояться Варнавы! Работу брошу, обложу, кого знаю, оброком и стану жить господином. Все беззаконные дела пузанов мне до тонкости известны, я теперь сам могу их в Сибирь сослать.

Помалкивают мужики, переглядываются. Варнава побывал в остроге, — слышал, какими оттуда люди образованными да ловкими на всякое дело выходят: надо теперь от него нового ожидать.

На другой же день он начал со своего дяди. Видят, ходит с саженью вокруг дома Лапшина и меряет. Приостановится и про себя говорит:

— Не на плане... Как же это ему дозволили?.. Не ошибся ли я? Обойду-ка еще раз.

Дядя поглядывает и слышит, что новый землемер бормочет. А Варнава померяет, бумагу какую-то вынет и посмотрит.

— Так, правильно я измерял, — говорит. — Половина дома на земле Ивана Елисеева стоит, — значит, дядя старосту подарил. Чтобы по плану вышло, как требует закон, надобно половину избы снести.

Лапшин не утерпел, подал свой голос:

— Да что ты утруждаешь себя, чужую-то землю меряешь?

— Поручение от начальства мне дано — проверить усадьбы, согласно ли они с планом расположены. Ты захватил много чужой земли...

— Что зря брешешь! — возразил Лапшин. — После пожара отводили землю с понятами, строились каждый на своем участке.

— С понятами! За вино понятые не столько бы еще чужой земли отхватили, — говорит Варнава и бумагу разворачивает.

— Вот казенный план, гляди!

— Чего глядеть? Сколько не разглядывай — не пой-

мешь, что красками у него в бумаге размалевано.—Оробел Лапшин.

— Давай синий билет, — сказал племянник. — А то представлю высшему начальству, — дом раскидают и хозяина не спросят.

— Ты хоть дядю-то пожалей, — чуть не заревев, просит Лапшин. — Рублевки с тебя довольно...

— И не торгуйся! Я только по-родственному с тебя пять рублей назначил, а с другого менее трех красных билетов не взял бы. Снисхождение окажу: выдай сейчас трешницу, а остальные я подожду за тобою.

Получил с родственника и — к Щербачеву... Мало погодя, видим, Копытова усадьбу обмеривает. Скупой человек Семен Алексееч, самого Варнаву видеть не мог, но заплатился и он.

Недели не прошло, меряет землю Усанова.

Мне нужно костюм новый сделать, — говорит Варнава, — ато гродской-то, в котором я вернулся, плох стал. Бессовестные работы на городах: в самом лучшем магазине купил, а долго ли вот проносил? По швам расплозся и дыра на дыре. Хотя при настоящем моем положении за иголку мне неприлично братья, но городским не доверю, испортят материал, и сам уж побеспокоюсь, сошью.

Смеется. Такой чудесник!

Обмеривать еще не у кого, деньги переносил к Щербачеву, и сам в прежнем костюме щеголяет.

— Летом жарко, — говорит, — похожу в старом, а осенью новый справлю. Пойду недоимки собирать.

Вправду ли чужой земли захватили богатеи, или уж очень боялись, что Варнава примется их попрежнему золотить, неизвестно, но давали ему безотказно на вино. По-больше месяца они дань платили. Затем тяжело им показалось, Варнава одолел требованиями. Стали от него прятаться.

— Усанов! — взывает под окошком Варнава. — Ты куда запропастился? Пора тебе заплатиться!

Не показывается Усанов. Покричит Варнава и пойдет к другому.

— Эй, красный!.. Да что же это? Ни один не выгянет. Или водяные, соскучившись по их душам, в омут к себе затащили?.. Найду. Я столько греха на душу через вас принял, допустил чужой землей пользоваться, а вы добродетель мою позабыли!

Должники уклоняются, сидят по уголкам и голоса не подают.

Варнава днями гулял, а ночи всегда спал, такое у него было заведение. Но тут ему пришлось нарушить порядок. Зная, что по ночам хозяева дома, спят крепко, стал к должникам около полуночи наведываться. Подойдет к окошку и застучит.

Спросонья не разберут, чей голос, подыметесь Копытов, выглянет из окошка и узнает.

— Ах, чтоб тебя, полуночника! — и захлопнет.

— Не уйду, — шумит Варнава. — До утра просижу. Подавай долг. Даром, что ли, я буду себя беспокоить да ночи через вас, пузанов, без сна проводить? — и запоет про старца или какой новый стишок.

Выкинет Копытов ему на сорокушку.

Не тому мы удивимся, что пьет Шумилов, а тому, как от подобной жизни долго еще человек существовать может. Правду о нем Кулебяшкин писал, что «канплекция» его «и не то вынесет»... Но все же опустился Варнава Спиридонич. Лицо у него сделалось нехорошее и взгляд дикий моргает бесперечь... Должники перестали совсем платить, так он начал без разбора к другим приставать и грозить.

— Спалю! Петуха красного пушу!

На сутки, двое приостановится, а дальше уж не терпит.

Мать ему иногда скажет:

— Варнавушка, ты хоть бы немножко пожалел себя... Помилуй бог, умрешь без покаяния.

— Борюсь, — промолвит. — Терпения моего нет... Вот сейчас: чад из головы повышел, сразу бы покончить, а нет, знаю, потянет к Щербачеву.

— Богу молись. Ты совсем про него позабыл... Раньше ты хоть вздыхал, призывал его к себе на помощь, а последнее-то время — никогда про него не поминешь...

— Верно, матушка. Духа у меня нехватает к нему обратиться... Хуже я всякой негодной свиньи и до крайности себя довел... Выдешь на улицу, народ смотрит, и кажется, что глаза всякого говорят: пьяница, в остроге сидел... Ну, скорее за вино, чтобы отуманить себя и останную совесть заглушить... Ах, хоть бы Кулебяшкина мне увидеть. Андрюша! — и заревет.

Зашел раз в дом к Карпу Минеичу. У того Семен Алексеевич сидел, читали старинную книгу и о божественном

беседовали. Варнава с мельницы должно быть: весь-то в муке и босой!

— Мельник пришел, — говорит. — Мир честной вашей беседе.

— Просим милости, — отвечает хозяин.

Хозяйке дома мельник поклонился, постоял, глазами мигаючи, и к хозяину:

— Карп Минеич, дай пожалуйста гривенник.

— А на что тебе?

— Известно, на какую нужду я прошу...

— На вино и на табак копейки не дам. Если хочешь поесть, накормлю.

— Что мне еда! Мне бы теперь стакан: голова не своя и под ложечкой сосет.

— Этого от меня не будет, Варнава Спиридонич. Ступай, промышляй где в другом месте.

Не уходит, переминается на месте и только глазами хлопает. Видать, что не по себе человеку. Семен Алексеич пристально смотрел на мельника. Захотелось ему злобу, какая накопилась, сорвать на Варнаве: знал, что у Минеича он безопасен.

— Вот, Карп Минеич, — заговорил, — сказано ему, что ничего не будет, а он стоит, словно не понимает. Чего еще ему ждоть!

— Ах, ты, рыжий дьявол! — обругал его Варнава. — Да хочешь ли, я всю вашу старую веру разнесу?

— Ну, что с тобой, негодяем, разговаривать-то, — промолвил Семен Алексеич и занялся опять с хозяином.

Подождал Варнава; ни хозяин, ни гость внимания не обращают, подсел к хозяйке и завел с нею свою беседу. Начал рассказывать про свои похождения, когда, лишившись на фабрике должности, он в коты поступил. Прежде об этом Варнава никому словом не заикался, а тут, — с какой целью, неизвестно, — нараспашку повел дело и выложил все до подноготной.

Поведал, как он с товарищами по деревням путешествовал, амбары и клетки обхаживали, слепца-старика придушили и бабу зарезали.

— Слышишь, что говорит? — из-за божественного спрашивал хозяина Семен Алексеич.

— Пустое мелет, — отвечал Минеич.

Татьяна Ивановна в ужас приходит.

— Неужели вправду душу загубили?

— Зачем? Мученическую кончину телеса их приняли, а душам через это спасение предоставили: на глазах наших взвились и прямо в рай полетели. Я лично в этих делах не участвовал, а только деньги разыскивал. Самому всего один раз довелось.

— Господи, Иисусе христе, — осеняя себя крестным знаменем, шепчет Татьяна Ивановна.

— Жил я на даче, — это у нас лес так прозывается, и лежал в яме; два дня не только ничего не ел, а капли вина во рту не было... Гляжу, от фабрики идет женщина и ситец несет. Как она посравнялась с моей дачей, я выскочил и к ней. «Отдай ситец!» — говорю. — «Что ты шутишь, почтенный!» — отвечает. — «Я за ситец деньги платила!» — «Отдай! Ты себе другого купишь...» Не покоряется, упорствует. Не говоря лишнего слова, выхватил я из кармана ножик и пырнул ей... Отдала ситец без всякой канители. Я на него и погулял.

— Какими он делами выхваляется! — с большим сокрушением в голосе, вздохнув, сказал Копытов. — Да за эти слова его удавить бы надо, разбойника... Если бы моя воля была, я минуты бы ему, пропойце, не дал жить.

Встал пропойца.

— Молчи! — крикнул на рыжего. — Если поземельное не выплатишь, я весь твой лес спалю или когда ножом хвачу.

Сказал и в дверь. Хозяйка следом за ним пошла под предлогом дверь на крыльце запереть, а в сенях потихоньку сунула ему в руку гривенник.

— Помалкивай, — шепнула, — никому не рассказывай.

— Понимаю, — ответил Варнава. — Да ты не опасайся меня, — прибавил, усмехнувшись. — Пожалела ты меня. Спасибо, добрая душа.

Копытов в тот же день разнес по деревне слова, какими Варнава у Минеича перед Татьяной Ивановной выхвалялся.

Такого страха нагнал, что от пропойцы все на запоре ворота стали держать. Чего доброго, подожжет или что стянет отчаянная голова: от него всего надо ожидать! А Варнаве-то и любо, что его боятся! Поди ты вот; наши — бывалый народ, по разным городам и в Москве работают, всякого начальства и людей насмотрелись, никого не опасались, а у себя дома, в деревне, слабый человек их в трепет приводил.

Богатей к миру: надобно пропойцу ограничить, поучить что ли хорошенько или приговором из общества его исключить. Мир призадумался:

— Больно-то худого от него мы еще не видали, — говорили. — Оброками только донимает.

— А деревню-то на фоминой было сжег да завсе страшает спалить или зарезать. Чего вам еще?

— Верно, страшает... Но, может, он только спьяна. По-выждем, увидим, что дальше от него будет.

Не повезло с мужиками, к бабам забежали, чтобы их возмутить и на мужей натравить. Особенно Копытов усердствовал. Глаза его круглые, словно у быка, кровью налились, бородой красной, широкой поводит и глухо таково рычит:

— Обворует вас, избы на ветер пустит и начисто житье погубит. Куда вы с малыми ребятишками денетесь?

Сам настаивает и жена его баб разжигает.

— Ох, бабоньки, сердце у меня из-за вас изболелось, — говорила Копытиха. — Мы хоть с мужем и пострадаем, да у нас про черный день копеечка спрятана, а с вами-то, горемычными, что станется?

Возмутились.

— Вон разбойника, вон из нашего селения! — кричат по избам. — Чтоб духом его у нас не пахло.

Послабее кто характером или головой — подавались, с женами были согласны, но самостоятельные мужики отпор давали.

— Ну, чего вопите? Ничей дом еще не спалил, никого из вас не обворовал?..

— Все равно — после украдет...

— Тогда и разговаривайте.

— Поздно уж будет, когда на улице жить придется.

— Перестаньте!

А если какая горячая что еще скажет, то муж сразу ее охладит.

Торжествует над врагами Шумилов. Но тут несчастье с ним повстречалось. Заходит как-то он к своему дружку Савелью Савельичу, по обыкновению подходит к самому буфету и требует:

— Сорокушку!

— Деньги! — отвечает Щербачев.

— Отдам. Не пропадет.

— Принесешь деньги, сколько хочешь отпущу, а в кредит я нонче не торгую.

— Ну, полно смеяться. Сам знаешь, с похмелья мне нельзя... Мучит.

— Деньги!

— Заплачу, ей-богу, принесу... Савелий Савельич! Поимей же в душе жалость, — молит пропойца, — сколько я тебе денег переносил, сам ты меня первым своим покупателем считаешь, и я тебе гроша не должен, а ты сорокушки не доверяешь.

Щербачев был не в духе. Вскинул темными длинными волосами, повел сердито раскосыми глазами и с сердцем крикнул:

— Сказано тебе, что без денег не дам. Проваливай!

Больно кольнули эти слова Варнаву.

— Кровопивец ты, — закричал, — а не человек. Разве я не знаю, что ты от парней воровское принимаешь и пополам с водой вино продаешь?

Щербачев как развернется да хватит по виску обличителя, — здоровый мужик!

Пошатнулся Варнава, руку к виску приложил и озирается, точно бы что он потерял...

— За что ж ты... ударил? — выговорил.

— Уходи, уходи, а то надвое расшибу!

Повернулся тихо Варнава, глаза у него еще чаще замигали, и слезы, слезы покатались...

После этого несчастья он с неделю пропадал. Видели его на водяной мельнице: ковал с мельником новый жернов и еще что-то мастерил.

Стоял праздник успения пресвятой богородицы. Часть народа работала, на помочах были. Управившись с помочами, хозяин добрым людям угощение сделал, вином как следует попил. Поразъело губу у мужичков, с помочи от хозяина к Щербачеву направились. Солнышко село, заря алая разливается, а мужики около винной лавки. Хозяйки ужинать накрывают, парни с девками и ребятенки с улицы к домам торопятся. Опустела деревня. У ворот своего дома стоит один Григорий Иванович Куделин, старик лет семидесяти, но бодрый и здоровый старик, стоит и сам про себя чему-то усмехается, — выпил он на помочах и на сердце у него веселит. Хотел в калитку повернуть,

но заметил, что человек идет, раздетый и босиком, идет, держась к стройке, словно таясь кого и озираючись.

— Никак Варнава? — окликнул Куделин, дав поравняться человеку с калиткою.

— Я самый, — отвечал Варнава. — Здравствуй, Григорий Иваныч.

Остановил его старик.

— Небось, пьяный ты? — спросил и смеется.

— Достаточно, — отвечает Варнава. — мельник хорошо меня попотчевал и сверх того дал за мои труды деньжонок.

— Добычник ты, но слабость тебя задoleвает. А ну-ка, расскажи ты мне про свое приключение в городе. Я не слышал, так мне любопытно от тебя выслушать.

— Оставь, — промолвил Варнава. — Мне противно про это и вспоминать.

— Что так? Нет, расскажи! — пристаёт Куделин.

— Брось, старик! Что про дурное рассказывать... Съели было вы меня, но чужие начальники пожалели: увидели, что я безвинно страдаю, и отпустили на все четыре стороны.

Куделин человек хороший, добрый, но пообиделся должно быть ответом Варнавы или в голове у него довольно-таки шумело, только он и выпустил такое слово:

— Напрасно они это сделали. Следовало бы тебя на вольное поселение сослать.

— За что?

— А за то, что ты распутной жизни человек, мать родную не считаешь, пьяница и кот фабричный. Сам ты рассказывал, какими делами в котках занимался. Вор ты, грабитель и душегуб!

Варнава осатанел: не ожидал такой обиды от Куделина. Схватил полено, сшиб Куделина на землю, сел на него верхом и принялся нахаживать; отлудил, как ему на сердце пало, и благополучно отправился домой.

На дворе темнело. Петр, сын Куделина, возвращался из винной лавки ко дворам; сам Щербачев, тоже выпивши довольно, провожал его. Набрели на тело.

— Кто это перед чужими воротами расположился? — спрашивает Петр Григорьев. — Что за бесчинство! — прибавил и понаклонился. — Да никак это родитель? Савелий Савельич, ведь это мой родитель... Батюшка, родитель! Аль ты откуда из гостей?

А родитель через силу голос подает...

— Из гостей... употчевали... Варнашка разбойник...

Копытов с Усановым подошли: услышали восклицания Петра Григорьева.

— Что за происшествие?

— Семен Алексееч! Василий Гаврилыч, вы? — с вопросом к ним Петр Григорьев. — Не угодно ли посмотреть, какие беспорядки в нашем селении? Видите, мой родитель? Разбойник, Шумилов... ниспроверг!

Домашние выбежали.

— Надо в дом нести, — промолвил Копытов. — Там посоветуемся.

Подняли старичка, вчетвером мужики внесли в горницу и на кровать его положили.

Сноха, дочери около избитого хлопочут, не знают, что делать и чем помочь. Петр из себя выходит, Копытов с Усановым совет держат.

— Нет моего терпения, — говорит Петр. — Я побегу, избыю Варнашку.

— Поди, воздай! — одобрил Копытов. — А мы пока обдумаем.

— Смотри, осторожнее, — предупредил Усанов, — при нем должен быть нож.

— Какой нож! — засмеялся Щербачев. — Намедни он мне согрубил; я как свистнул его по виску, так он смиреннее овцы сделался. Шумилов грозен на словах, а на деле он — что весенняя муха.

Петр не дослушал, убежал.

В избе Шумиловых ночник теплился. Варнава сидел на лавке, табачок покуривал; Максимовна со стола прибирала. Влетел Петр Григорьев, без дальних разговоров одной рукой Варнаву за густые волосы принагнул хорошо, а другою со всего усердия по шее и хребту принялся молотить. Старуха успела только вымолвить:

— Да за что ты его, Петр?

— Он знает за что!

Варнава как-то вывернулся, к печке метнулся, живо повернулся и Петра чем-то под самую ложечку ударил. Мужик испугался, в дверь и на улицу выбежал.

— Караул! Батюшки, помогите, зарезал меня!

Ребята с девками, поужинавши, гулять вышли; услышали голос.

— Что такое?

— Ножом пырнул. Убил! Батюшки, смерть моя!.. —
ревел молодой здоровенный мужик и к пруду бежит.

Как был в красной рубашке и штанах с сапогами, так в воду и кинулся, окунулся раз пяток — кровь чтобы унять. Ребята под руки его взяли, повели... На деревне замешательство: из окошек везде бабы повысунулись, за ворота мужики выбежали, ребяташки шум подняли.

Десятские, староста и ночной сторож на происшествие явились. Нельзя, дело большое.

Богатеи с Щербачевым совет держали, а в горницу Петра уж ведут... С лица даже изменились, как взглянули и поняли, в чем дело.

Петра Григорьева на лавку положили. Побелел он, как береста, и говорить не может, только бородкой русой вздергивает.

А родитель на кровати лежит, тоже в большой слабости и время от времени, чуть слышно, тонким да жалобным голосом просит:

— Попа... попа... Скорее за попом...

Тут Семен Алексеич провозгласил:

— Оставаться нам дольше не за чем. Идем.

Х

На улице Копытов объявил мужикам свое решение. Староста позаупрямился.

— По-моему, — сказал он, — Шумилова следует арестовать, а самим учить его не приходится.

— Мы арестуем, — отвечал Копытов. — Только сперва поучим.

— Он будет людей убивать, а мы ему спустим? — говорил Усанов. — Тогда он всех переколет.

— Поучить не мешает! — подал голос Щербачев. — Мир отвечать не будет.

— Поучим! — весело подхватили мужики, которые были с мухою в голове.

— Поступайте, как знаете, — сказал староста, — а я с вами не пойду.

Десятские и трезвые крестьяне сторону старосты приняли, не последовали за предводителями, а все прочие двинулись с ними к дому Шумиловых. Ребята к ним из любопытства пристали.

Осторожно подступили, обложили усадьбу; легонько в окошко постучали:

— Максимовна! отепри-ка...

Старуха отперла, приотворила на крыльцо дверь и сразу догадалась.

— Да нету его дома, нет!

— А вот мы сами поглядим.

Человек десяток в избу ввалилось, огонь вздули, принялись везде обыскивать да шарить, в подполье слазили. Нет Варнавы!

— Куда ты, старая, его схоронила? — гневно допрашивает Копытов.

— Никуда я его не хоронила, — отвечает старуха. — Верно со страху ушел в лес.

Поискали в сенях, на подволоку слазили, двор оглядели, — нет Варнавы, след его запропал. Предводители из себя выходят, прочие сердятся... Тронулись на задворки, искать по гумнам, сenniцам и овинам.

Ночь стояла теплая да светлая, синее небо в звездах, и месяц глядит, все далеко видать, таково-то кругом явственно.

Сеном свежим попахивает, воздух хороший, приятный и везде тишина непробудная... Разбились на кучки мужики, ходят везде, ищут и бранятся, что никак на разбойника не набредут.

— Не укроется, найдем! — распаляется Копытов. — А это что за ноги? — заметил он у одной копны. — Зде-есь, зде-есь! — и ухватил за ногу. — Наваливайся, вяжи его!

— Нашли, нашли! — раздался крики.

Сбежались все, окружили преступника. Связали по рукам и ногам.

— Нож-то при нем?

— Никакой орудии не оказалось.

— Так давайте колотить! Всыпай...

— Пойдите, — спокойно проговорил Копытов. — Бить его мы не станем, он человек хороший и нужный: побережем его для острога. Мы только его поучим.

— Какое же ученье, ежели не отколотим?

— Другое средство найдем. Ну-ка, честь честью подымайте да понесемте Варнаву Спиридоныча к воротцам.

Некоторые пообиделись было, не понявши замысловатой речи Копытова, и по собственному расположению принялись награждать Варнаву, кто по голове, кто по скуле.

— Что вы, что вы? — закричал Копытов. — Разве сами вместо него хотите в острог?

Приостановились, глядят.

— Что за недогадливый народ! — воскликнул Щербачев. — Сообразить простой вещи не могут: Семен Алексеич поумнее нас, науку занятнее придумал.

— Ой-ли? А мы, дураки, слушаем... Так несем скорее к воротцам.

Притих Варнава. Его несут с разговорами веселыми, а он хоть бы слово какое промолвил! Молчит.

В деревне у нас между сараями и гумнами, через дорогу, пряслом огорожено, чтобы скотина не заходила; в прясле для прохода небольшие воротца проделаны. К одним таким воротцам и принесли Варнаву...

— Ну-ка, пораскачайте да перекиньте его! — отдал приказание Семен Алексеич.

— Ха-ха-ха! Вон что измыслил.

Раскачали и перекинули на другую сторону. Грузно шлепнулся о землю Варнава, только крякнул.

— За старика, не бей поленом, — поучает Копытов. — Зайдите кто на ту сторону, встаньте там да перебрасывайте к нам!.. Вот так, хорошо... Мягко ли на земле, Варнава Спиридоныч? А это за Петра...

— Ха-ха-ха!.. Ловко!..

Слышат, Максимовна голосит.

— Родимые! Християне православные! Пожалейте, ведь он у меня один.

Сквозь народ хочет протесниться, но ее не пускают.

— Куда ты? Впереди, пожалуй, еще ненароком зашибут тебя. Погляди издальки: вон, месяц светит, хорошо видать.

— Убьете вы его, убьете! — вопит старуха. — Пожалейте!

— Мы, жалеючи тебя, и учим сына, чтобы он кормильцем тебе был, — успокаивал Усанов. — После сама мир поблагодаришь.

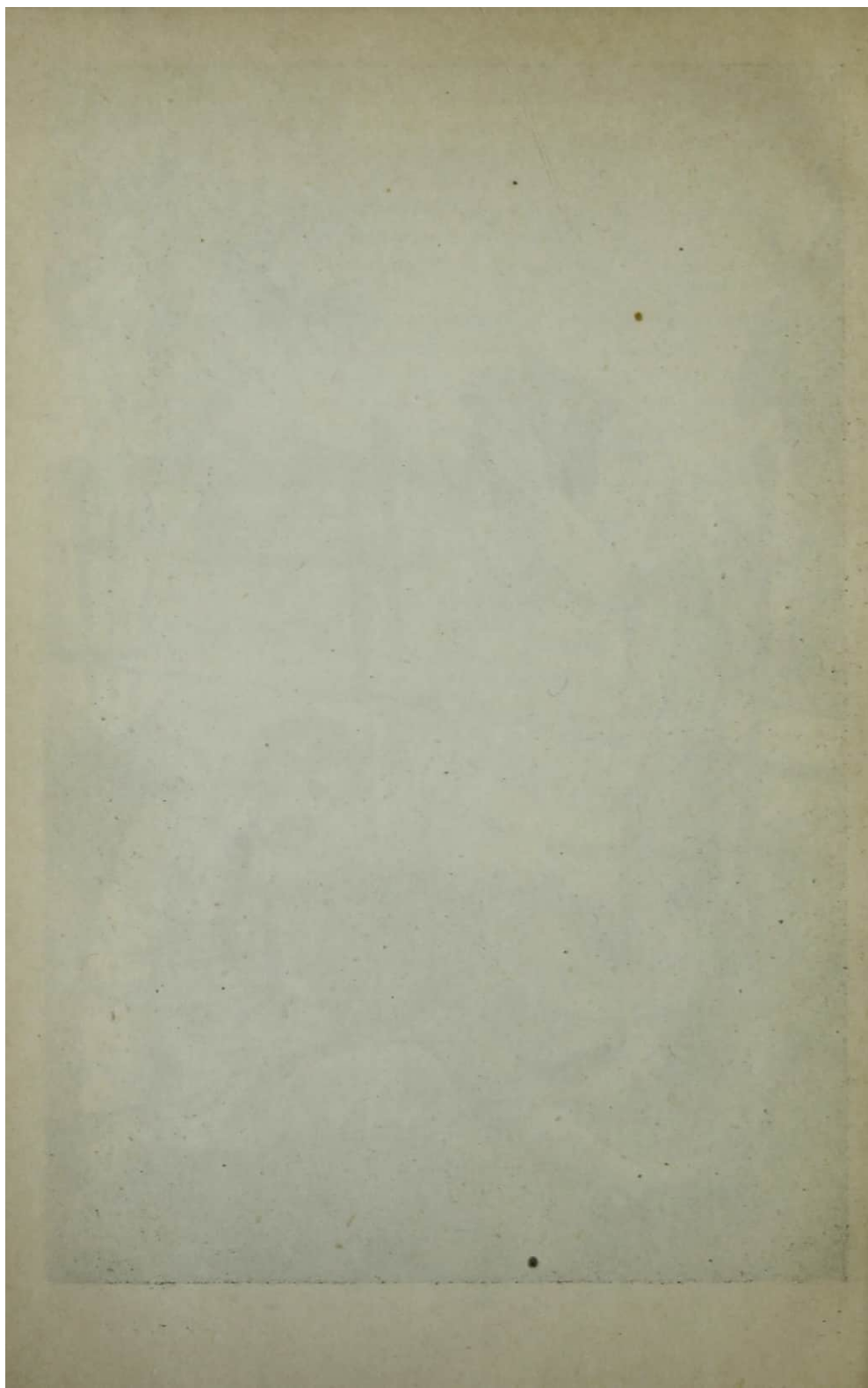
Продолжают. Копытов только приговаривает:

— За пустыню и старца... Вот — за огненного змея... Это тебе — поземельное...

— Ха-ха-ха!

— Да пустите меня! — порывается мать. — Ой, дух из него вышибете. Коли он виноват, доставляйте его к начальству.





Народу прибывает, со всей деревни валят. Занятно: впервые такое зрелище привелось увидеть. Багров показался.

— Не довольно ли?

— Что ты, Карп Минейч? Мы ведь легонько его.

— Довольно, будет! — раздался другой голоса.

— Ну, ин быть по-вашему, — уступил Копытов. — Может, взаправду довольно. — Ну-ка, наверх-то сыт разок повыше!

Ни слова от Варнавы, только побряхтывает.

— Следует еще разок, — говорит Щербачев, — за грубость мне.

— А я что в поле за обсевок? — добавляет Усанов. —

Он поносил такими словами...

— Довольно, довольно!.. В нем, чай, тоже душа человеческая.

— Прекратите, — повторил Багров.

Оставили Варнаву. Хотели по домам расходиться, но вспомнили о Куделиных.

— А как же мы одного его покинем? Ну, как старик-то к утру скончается? Придется Варнаву перед начальство представить.

— Не уйдет он, — горько плача над сыном, вымолвила старуха Агафья. — До того ли уж ему теперь?

— Смотри, чтоб он в сохранности был, а то сама будешь за него отвечать.

Разошлись.

— Что, родной, шибко знать тебя убили? — спрашивает мать, развязывая сыну руки.

— Особенной боли не чувствую, — отвечает. — Только грудь и спина ровно не свои... Да руки вот бичевкой изрезало.

— Вишь, вишь, болезный! Без всякой-то они жалости с тобою.

Варнава приподнялся, присел на землю: встать-то, должно быть, сразу не мог.

— А что, матушка, правду ли мужики про Куделиных толковали? Чем я Петра-то ударил?

— Железиной, Варнавушка! От сломанного ножа железинка у нас сохранялась.

— Ну, так пустяки... А старик выходится... Оба они здоровые... Погодите, жители, я вам теперь покажу себя: всем отомщу.

— Полно тебе, глупый! Бога на помощь лучше призови. Понурился, помолчал Варнава.

— Ах, до чего я себя довел! — простонал. — Самым-то последним, низким человеком я стал. Погибель моя пришла!

Утром на другой день, как только встали, первым делом мужики о Куделиных осведомились. Ничего, все слава богу!

Рану у Петра за ночь позатянуло, а старик, поотославшись, облегченно почувствовал; проснулся и сейчас же винца попросил. Сын тоже, глядя на родителя, выкушал стаканчик.

— Только у самого дядюшки Григория очень голос слаб, — докладывали мужьям бабы. — Пискливо таково, словно новорожденный младенец, попросил сноху: «Марфа, дай винца!»

— Ну, ежели они вина пожелали, так никакой опасности нет, — порешили мужики. — Бог даст, скоро оправятся... А что про Варнаву слышать?

— В сенцах лежит. Максимовна сказывала, что ему нешь занездоровилось.

— Что так? Разве вечерось позашибли? Винца бы, что ли, хворому снести. Не сказывала мать-то, аппетит у него есть на вино?

— Она вином его обтирала, а про аппетит не упомянула. Вишь, пожелал сперва в корыте с теплой водой выкупаться, а после вином натереться.

— Экий чудесник!.. Вылежится. Человек он еще молодой... Начальству о нем уж не станем докладывать: господь с ним!

XII

День спустя Петр Григорьев на работу вышел, и старик обошелся, ходил и делал все, что по хозяйству надобно, но только за обед и ужин еще с осторожностью садился. Шумилов тоже оправился: на мельницу переселился и там уж пьянствовал, а от своей деревни его отворотило. Мельник не наш был, из казенных деревень, и снимал у бывшей нашей помещицы на реке мельницу. Варнава часто ему кое-что подельвал, исправлял, что у того не заладится, — на всякое мастерство у него дарованье было, и по мельничной части разумел больше самого хозяина. Мельник возлюбил

Шумилова, дал ему у себя пристанище, кормил и вином каждый день поил. Советовал он ему пожаловаться на мир, — за ученье-то, — но тот не принимал его совета... Из наших, кто с зерном поедет на мельницу, видали Шумилова. Идет бережком, весь съежится, ступит шаг-два и приостановится, все словно чего боится, плечами вздергивает, на воду смотрит и глазами мигает. Но сам он встречи с своими избегал: если увидит кого, за кусты схоронится, и как будто нет его. Слыхали также, на дудке играет, утешается.

Недолго однако Варнава на мельнице побыл: около воздвиженья простился с своим приятелем и ушел. Мать сказывала, будто бы сын отправился на богомолье в Киев и другие святые места... Хорошее дело! Может, угодники и чудотворцы господни, услышав его молитвы, пожалеют заблудшего и обратят на истинный путь. Один Копытов сомневался.

— Какие теперь святые места! — говорил. — Настоящие богомольцы весной ходят молиться, а не осенью. Наверно опять в коты ударился.

К своему престольному празднику Варнава не вернулся, на рождество христово его нет, и к пасхе не пришел. Пропал Шумилов....

Да больше года о нем никакого слуха не было. На деревне про него позабыли; только мать одна помнила, ждала, горевала по сыне. Максимовна одна жила, подаяннями от добрых людей питалась. Дочери ее к себе звали — не согласилась.

— А ну как Варнавушка-то придет?

На другой год, вскоре после покровы, у нас снежок выпал, сразу путь установился, и морозцы пошли. Наши по обыкновению за возку лесного материала принялись. Вот тут неожиданно Варнава Спиридоныч и объявился. На лошадке приехал, одет во все теплое, мальчугана какого-то и кладь с собой привез, прямо к родительскому дому подъехал. Глазам своим не верили, что это Шумилов! Но видят, Максимовна, как сидела в избе, в одном сарафанишке на волю выбежала, платка на голову не повязавши как следует, и, ровно обезумевшая, кинулась на шею приезжему, крестит его и целует...

— Да что это, не привиденье ли нам? — говорили у колодца бабы, — Варнава будто и не Варнава?! Беспременно он: Максимовна его обнимает и в избу ведет... А паренек-от это с ним чей?

Сильно потянуло любопытниц в избу Шумиловых, но чего-то позасовестились... Одна Акулина, соседка, побежала, — они с мужем никогда Максимовну не покидали и сына ее жалели. Ласково с ней Варнава поздоровался, чай пить оставил: самовар привез, — матери гостинец и подарок.

Пока самовар грелся, они с мальчуганом расшили рогожу, вынули какую-то большую «штуку» и поставили ее к окошкам, бумажными листами покрыли. Акулина спросила, что за вещь такая.

— Швейная машинка, — отвечал. — Я стану на ней работать. А вот это, — показал на паренька, — помощник мой будет. Если тебе что потребуется, — приноси, сошьем теперь скоро.

— Как не потребоваться? — та отвечает. — Праздник близко...

По правде сказать, девки с парнями обрадовались Варнаве, когда узнали, что он снова за мастерство свое примется, машинку поставил и помощника еще привез. К тому же — Егорий не за горами!.. Глядим, Шумилов, в крытом тулупе, новых валеных сапогах и шапке, на мельницу пошел, а оттуда воротился с узлом: работы приволок. Понесли и свои, деревенские. Придут к нему в избу, посмотрят: мастер за машинкой сидит, колесико вертится и что-то постукивает, а паренек шьет. Передняя стена вся картинками оклеена, на которых — барыни, господа, детки.

— Фасоны, — кивнет головою на стену Варнава. — Смотрите, какие носят костюмы.

— Вишь, барыни-то все пригожие да модные! — любуются девки.

Стучит машинка, идет дело.

Много уже позже Шумилов нам рассказывал о своем путешествии. Мельник в разговоре упомянул, что Кулебяшкин одной с ним волости и что фабрику тот покинул, в деревне живет и хлебопашеством занимается. Бог милость их деревне послал: общество как-то ухитрилось рядом землю купить — пашни, лугов и леса, всего довольно, — и зажили теперь хорошо, на сторону бросили ходить. Варнава прямо и махнул к своему приятелю: в то время он душою очень скорбел. «Хоть взгляну раз на Андрюшу, а там и покончу!..»

Любовно, с полным радушием принял странника Кулебяшкин. Семья у них большая, два брата с женами и деть-

ми, и он старший, большой над всеми; дом хороший, живут согласно и достатки имеют. Приютил его у себя, одел и на ноги поставил: помог ему машинку купить и работу промыслил. Деревня находилась близко от станции железной дороги и торгового села, работы сколько угодно. Кулебяшкин про искусство приятеля железнодорожным рассказал, духовным и прочим. Варнава работою потрафил, на господ даже шил и двоих мальчиков в ученье к себе взял. Кулебяшкин и своим домашним и знакомым постоянно расхваливал Шумилова: «Вот мой истинный друг и покровитель. Ежели бы не он, — я свободно мог на фабрике испортиться; но Варнава Спиридоныч всегда меня соблюдал и охранял, а впоследствии даже такой пример мне на одном человеке представил, что я в ужас пришел... А человек тот хоро-о-ший был!.. Видите сами, каков я? Вина не пью и живу слава богу! Должен я вечно за это благодарить одного господина Шумилова». В свободное время Кулебяшкин с ним хорошие книжки читал, про жизнь рассуждали и разное. Душевными разговорами да расположением своим победил он в приятеле врага его... «Увидел я, какие хорошие люди бывают, как они живут союдно и к ближнему своему относятся, и содрогнулся я всем существом», рассказывал Варнава. «Прозрел я, словно заново родился, другим человеком сделался, и теперь радостно гляжу на белый свет. Не отпускали они меня домой, но родительницу захотелось видеть да успокоить и перед женой своей вины загладить. Одного мальчугана взял, — не был уверен, что работы здесь столько будет, — а вот теперь и другой у меня. Бог даст, больше распространю свое дело, — вон попадьи из села за мной присылают»... О богомодях словом не обмолвился: должно, постеснялся этим выхваляться или не удосужился исполнить свое желание; но Максимовна потихоньку сказывала, что он ходил к святым местам, молился угодникам и чудотворцам господним, «с горькими слезами припадал и просил, чтобы помогли ему в порядок-то себя привести, душеньку свою сохранить».

Живет по-хорошему, работает с пареньками-то. За неделю так до престола попросил мать к жене сходить, звать ее к себе и подарочек ей послал. Отец Марью не отпустил: сказал, что он посмотрит, как дальше поведет себя Варнава... Опечалился, услышав такой ответ тестя, вздохнул и промолвил:

— Он справедливо поступает. Я жене своей большой досадчик и мучитель был.

На храмовом празднике Варнава Спиридонич не гулял, принял в гости сестер с мужьями и других родственников, но сам вина не пил; а с третьего дня, проводивши гостей, принялся на машинке постукивать — с чужой деревни работы принесли... Но матери приметно было, что сын по временам задумывался и вздыхал. Боялась старуха: как бы с ним чего не случилось, к вину его не потянуло. Нет, все с ним благополучно, и жизнь ведет трезвую... А задумывается и вздыхает!

О рождестве христове Максимовна успокоилась. Сын в село сходил, утреню и обедню в церкви отстоял и воротился, а дома жена сидит: не стерпела Марья, пожелалось ей мужа увидеть и отпросилась у отца к Шумиловым на денек.

Обрадовался ей Варнава!.. За обедом вина упросил ее выпить — мать попотчевал и сам, ради праздника и свидания с женою, пропустил стаканчик и тотчас же бутылку в шкаф поставил. Марья пришла погостить, да так и осталась. Варнава с этого дня перестал задумываться и повеселел.

XIII

Хорошо зажили Шумилковы. Варнава с женою — как молодые, недавно повенчанные; Максимовна ног под собою не слышит, ожила, и морщинки на лице у нее поспрятались. Все за работою да в трудах. В доме у них тихо, светло и приветно. Машинка перестанет стучать, песенки заведут: работают и поют — не фабричные песни, какие раньше Варнава пел, а настоящие, деревенские, протяжные и на голоса. Бабы за прялками: Марья от мужиков не отстает и держит свой голос, а Максимовна прядет и слушает... Великое дело, как в семействе согласие и люди нужды не терпят! По воскресеньям Варнава Спиридонич с помощниками книжку почитают, — славные оба паренька, смирные и грамотные; а то с женой выйдут на улицу, погуляют, с добрыми людьми побеседуют.

— Дай им бог! — желают на деревне. — Мужик он разумный, что говорить, одно портило его маленько—слабость. А теперь уставился Варнава Спиридонич.

— И жена то — долго ли в спокойе прожила?.. При-

гожей стала, щеки ровно яблоки румяные и полнеть зачала, — ввернут слово бабы.

— Гляди, как бы она теперь нос не задрала.

Сам Варнава Спиридоныч изменился, и люди к нему стали по-другому. О прошлом и не намекают, разве за глаза, да и то редко вспомнят. Правда, были и неверы, сомневались в постоянстве Шумилова. Раз на беседке, в разговорах, Щербачев с веселостью сказал:

— Да, господа жители, много значит наука. Не поучи мы его в позапрошлом году — окончательно бы пропал, а теперь Варнава Спиридоныч настоящий человек, свое заведение имеет, машинку купил и деньги зарабатывает.

Копытов сердито повел на него своими бычачьими глазами.

— Не удержится, Савелий Савельич, — злорадно и расстановисто говорит. — Если бы ты слышал, какими он тогда делами в доме Минеича выхвалялся, так узнал бы, какой он есть человек. Много на душе его тяжких грехов и совесть в нем не может быть спокойной: заговорит она, и Варнава сопьется. Я так полагаю, великий он еретик.

— Ну, Семен Алексеич, ты уж очень строг, — заступился Антон Елисеев, сосед Варнавы. — Что Шумилов не вашей веры и ходит в великороссийскую церковь, так уж он и еретик! Поэтому мы все, по-твоему, будем еретики. А что насчет его фабричных походов, про слепого там и бабу, что ли, так я это за одну похвальбу и пустые слова почитаю. В диком образе человек всячину на себя наплетет.

Старик Куделин, добродушно посмеиваясь, от себя прибавил:

— Не знаю я, еретик или душегуб Варнава, а только поленом он меня важно угостил.

Засмеялись мужики.

— Память дал, Григорий Иванович?

— Да-таки долгонько помнилось. Вот теперь думаю: надо мне с него за бесчестье хоть трешницу взыскать.

— Ну?! — обрадовался Копытов. — Четвертной билет требуй!

Работою завалили Шумилова. Из чужих деревень несут, в село и барские усадьбы, какие в окрестности, зовут нашего мастера. Счастье большое ему повезло. Марью свою приучает к машинке, сам рук не покладывает, дни и ночи трудится.

— Надо работать, — говорит. — Переднюю избу хочу проконопатить, мох местами погнил и тепло на волю пропускает; а заднюю перестрою, расширю помещение и обоями оклею.

Мать уважает, за женою ухаживает, ровно за какой барыней, — уж очень она ему любя да по сердцу стала... С помощниками своими, пареньками, обходится ласково, работой не загоняет, содержит хорошо и соблюдает как родных. Хотя и много он трудился, но вид имел свежий, лицо чистое, и рябь в глазах прошла, не мигал часто, как прежде, всегда довольный и веселый... Покашливал, но изредка, и легонько...

Осенью, на Ивана богослова, Марья сынка родила, первенького, — до этого деток у них не было. Вот радости-то было! Кажется, счастливее-то Варнавы Спиридонича и человека на свете не сыщешь. То-и-знай, что к роженице все подбегает, спрашивает, не желает ли она чего, на младенчика заглядывает, радуется... Приятелю своему Кулебяшкину дал знать: с мужичком нарочно телеграмму на станцию отправил. Через два дня тот явился: в кумовья его Шумилов позвал. Со всей деревни народ собрался посмотреть на господина Кулебяшкина, когда он с кумою Акулиною и новорожденным в село поехали. Молодой, из себя красивый, темнорусый и высокий, лицо сурьезное и чуть приметная улыбочка на устах, — видят, что степенный и обстоятельный человек, но на язык ему не попадается!..

После крестин родильнице подарок он сделал, а крестнику на зубок положил золотой. Вот какой отец крестный! Большое уважение у нас к нему возымели.

Двое суток прогостил Андрей Петрович Кулебяшкин. Карп Миневич к Шумиловым приходил, вел с гостем разные разговоры, — ума пытал, об истинной вере начал беседовать, но господин Кулебяшкин несколькими словами прекратил об этом беседу.

— Разница, — сказал, — в обрядах и словах, а не в духе. Как вы, так и мы верим в святую троицу, почитаем бога-отца, сына и святого духа. Если каждый будет поступать по евангелию, то спасение души человек одинаково получит, что в вашей вере, что в нашей.

Багров спросил:

— По вашим словам выходит, что и язычник может спастись, если будет последовать учению Иисуса Христа?..

— Полагать надо, что спасется.

— Как так?

— А как же? Ведь уж тогда он не язычник будет.

Сразил!

— Постой... Нет, ты что-то не туда гнешь.

— Туда! — перебил Кулебяшкин. — Верно, почтенный старичок. Я очень уважаю ваше рвение и пылливость ума, но спорить о таком предмете мы не станем. Поговоримте лучше о наших крестьянских нуждах, о землепашестве и промыслах. Вот я слышал, что вы на фабрику лесной материал доставляете. Интересно мне узнать, почему, примерно, цену за дрова управляющий или фабрикант назначают с сажени, а кладку производят в три с половиною длиннику и столько же кверху?

— Справедливо, — отвечает Багров: — «у нас сажень такая», говорят.

— Да разве мера не одна в России? Казенная сажень три аршина ровно. Следовательно, фабрика должна принимать по казенной, а не по своей мере.

— Тогда работы не станут нам давать.

— Пусть так, — после мы этот вопрос с вами рассмотрим. Скажите, цену объявляют словесно, а в книжке вам не обозначают?

— Нет... При расчете против словесной цены четверть рубля или полтинник с сажени-то еще скостят.

— Остановимся. Вот теперь и потолкуем, разберем дело со всех сторон...

И пошел, и пошел. Остроту ума и сообразительность великие показал.

— Ну, башка! — удивлялся после Багров. — Мозги здоровые имеет. Этакой башки я еще в жизнь свою не встречал!

Перед отъездом Андрей Петрович обратил внимание на кашель своего приятеля.

— Варнава Спиридоныч, что ты, я замечаю, покашливаешь?

— Верно от табаку... Надо бросить.

— Прекрасно сделаешь. А еще лучше, если обратишься к доктору.

— Пустыяки... Кашель меня не беспокоит. Редко, ведь, я кашляю...

Кум пронизательно таково посмотрел на Варнаву Спиридоныча.

— Конечно, пустяки, — промолвил. — Но все же, при случае, ты посоветуйся: лекарства дадут и освободишься. Собрался в путь.

— Кумушка! Смотрите же, растите и берегите моего крестника, — наказывал роженице. — Вырастет, — мы в училище его отдадим. По нынешнему времени без образования человеку невозможно. Будьте здоровы. Давайте мне вести о себе и крестнике.

— Покорно вас благодарю, Андрей Петрович, за ваше расположение к нам и труды, — отвечала кума.

— Не говорите! — перебил кум: — я даже очень рад и счастлив... Вы представить себе не можете, как я многим обязан вашему супругу!.. Любезнейшая Агафья Максимовна! до приятного свидания. Заочно с вами я давно был знаком, а вот теперь и лично господь привел познакомиться и внука вашего от купели воспринять.

— Ой, батюшка, родимый ты мой! Спасибо тебе, — в умилении сердца говорила старуха. — Какой ты доброжелательный да к людям-то участливый... Недаром Варнавушка-то завсе о тебе поминал да свиданьице с тобой желал иметь.

Шумилов на лошадке сам отвез приятеля на станцию железной дороги. Максимовна рассказывала, что всю дорогу они проговорили, и Андрей Петрович, между прочим, сказал Шумилову:

— Расширяй дело. Набери артель и орудуй.

Денег будто радужный билет дал своему дружку.

— Дело свое поставишь и вернешь мне, — промолвил. — Но, бога ради, побывай ты у доктора. Исполни ты эту мою просьбу, сердечный друг и милый кум!..

В глазах деревни Варнава Спиридоньч теперь очень возвысился: шутка сказать, какого он друга имеет! Андрей Петрович, человек значительный и, по всей видимости, с капиталом, не стал бы поддерживать знакомство и дружбу с пустым человеком. А Варнава Спиридоньч, посиживая за работою, говорил своим семейным:

— Что у нас в дому за радость и покой! Дело у нас чистое, людям полезное, обиды или притеснения от нашего мастерства никому нет, и сами мы живем господами... Если бы я с детства по портновской части пошел, то я никогда бы слабости не поддался... Но, видно, не от нас зависит благополучие жизни... А без фабрики не знал бы

я такого человека, как мой друг Андрей Петрович. Что за душа! И за что он так много меня возлюбил? Что я для него полезного сделал? Одно, что сам я полюбил его, всячески оберегал и предостерегал от дурного на фабрике, зная по собственному опыту, как молодой человек легко может спочахнуть, на всю жизнь сделаться несчастным. Так в этом моей заслуги никакой не было. А он? Есть же на свете такие люди!

XIV

Три года прошло. Слава о нашем мастере далеко распространилась. Работы — только поспешай, всей не переделаешь; новых учеников набрал, а прежние двое за подмастерьев работают. Заднюю горницу переделал, сложил в ней печь и перевел туда мастерскую, а переднюю проконопатил и обоями светлыми оклеил: исполнил, как ему желалось. Крестьянства не оставлял: на лето работника нанимал, и бабы с ним хозяйство справляли. Вина ни разу в три года не дозволил себе разрешить. В храмовой праздник или когда по особому случаю стаканчик выпьет и тем ограничит. Со стороны люди глядят на благополучие Шумиловых и только дивуются.

— Откуда что у них берется? — толковали наши умницы. — Экое счастье им повалило. Ровно бы уж это и неспроста.

— То-то вот: «неспроста», — покрывала Копытиха. — Если Варнава не ограбил кого, так он волшебник: бесприменно душу свою нечисти продал. Ну-ка, сообразитесь: много ли нажили денег портные, которые сызмалетства своим мастерством занимаются, а Варнава в короткое время разбогател, дом исправил и мастерскую большую содержит. Смекните-ка!

А Семен Алексеевич внушал мужикам:

— Темная его жизнь была, темная, во зле и нечестии протекала. Разве старые грехи не возопиют? Вина не потребляет, так во что другое ударится. Беси не дадут ему в покое жить. А в предбудущем-то что его ожидает?

Благочестивый муж был этот Семен Алексеевич, всех-то он застрачивал воздаянием да муками прешными в будущем, а сам, при своей строгой жизни, любил на молодых баб заглядываться и никогда, в какой бы нужде человек

ни находился и как ни молил бы его выручить, ни за что не пожалеет и не поможет: деньги в рост отдавал — в кассу клал.

Весною и летом самым любимым развлечением Варнавы Спиридоныча было на реку ходить. Заберет семейство, помощников и отправится к приятелю своему мельнику. Расположится там на лужочке и проводит время за самоваром. Беседуют за приятность. На травке сыночек цветочками забавляется. Отец полюбуется на него, посмотрит на реку, как солнышко по ней золотыми искрами блещет, рыба всплескивается, и когда на дудке поиграет.

Но, видно, господь не судил долго Варнаве Спиридонычу жизнью прекрасной наслаждаться.

Давно он покашливал, но чем дальше, тем кашель хуже его беспокоил. Лето и зиму ничего, как будто пооставит, и Варнава Спиридоныч чувствует себя лучше, а в конце зимы снова подымется и еще хуже донимает. Третью-то весну и очень тяжело ему приходилось. Фельдшеру показывался, нарочно к доктору за сорок верст ездил: давал каких-то порошков и питья, но пользы лекарства мало ему принесли. «Пей больше парного молока и гуляй на чистом воздухе», — наказал доктор. На четвертом году он и зиму всю кашлял и нехорошо — кусками да с кровью кашлял, худеть начал, завсе в поту, особливо по ночам. Неможется ему, а работает, отдыха себе не знает. Так вплоть до великого поста тянулось.

— Варнава Спиридоныч, — скажет ему Марья, — да ты хоть бы на денек без работы побыл... Ведь, хуже себя утомишь.

— Нельзя, Мариша, работы много и на страстной надо окончить, чтобы добрые люди на нас после не гневались.

— Да разве мы не управимся? — настаивает жена. — Отдохни.

— Отстань, Марья, — сердится больной. — Я себя понимаю. Перед весной и в прошлом году меня томило, а как лед прошел, так я и здоров стал.

За половину пост перевалил, Варнава Спиридонычу не легче: в зноб его и жар кидает, голос слабый, с хрипотой, и весь-то он в поту. Уж сам теперь, без напоминания домашних, из-за работы приляжет и отдохнет.

— Что это со мною? — говорит. — Словно у меня все тело не свое, не чувствую я его, а вот только одно дыхание трудное и кашель.

Сынка увидит, поманит к себе; тот подойдет к отцу — бегал уж и лопотал мальчюночка.

— Андрюша, сынок!

Поотдохнет немного, подымеется и опять за работу. Так до самой страстной перемогался: здоровья нет, а работает. Жена и мать не смеют заикнуться: рассердится и пище закашляется.

На страстной однако совсем обессилел: свалился, лежит и подняться не может. Только подзовет подмастерья или ученика, поглядит на шов, покажет что не так, сам уж ни до чего не притронется.

На дворе тепло стоит, грачи давно прилетели и скворушки показались; снег день ото дня ест, ручейки весело по улице бегут, по реке везде наслузы разлились.

— Весна, — говорит больной. — Скоро река тронется... Только бы вот лед прошел, а я опять буду здоров... Мариша, окончите ли до святой?

— Все окончим, — отвечает Марья: — до четверга работу сдадим. — Не тревожь ты себя, родной...

— Ну, коли так, слава богу. Больно мне не хочется, чтобы кто без обновки остался, не огорчить бы кого для светлого дня. Уж вы постарайтесь.

— Будь спокоен, хозяин, — отвечают подмастерья. — Ночи насквозь просидим, а уж заказчиков всех убаготворим.

Девки прибегают, бабы и парни насчет своих пальто, дипломатов и разных жакеток справляются, готовы ли. Примеряют. Варнава Спиридоныч, не вставая с постели, сам оглядит, хорошо ли на ком все сидит, покажет, где вынуть нужно и что поправить.

— А тебе, знать, дядюшка Варнава, больно неможется? — спросит какая из девок.

— Весь ослабел, — промолвит. — Должно лед скоро взломает.

— Ну, дай бог тебе здоровья! Спасибо, что работку мне окончил, с праздником меня сделал.

В великий четверг больному очень тяжело сделалось: грудь завалило и дыхания не дает. Попросил за священником съездить:

— Может, полегче будет...

Исповедался и причастился. Батюшка пожелал ему здоровья и прибавил:

— На всевышнего уповай, Варнава Спиридоньч. Никто нам не поможет, как только он единый и податель всех благ.

Марья проводить вышла священника и на крылечке спросила:

— Как, батюшка, по-вашему, поправится ли Варнава Спиридоньч?

— Весьма сомнительно, — отвечал. — По моим замечаниям над трудно больными, не жилец он на сем свете. Долго не протянет... Впрочем, в животе и смерти один господь волен.

Тосковал больной... Андрея Петровича постоянно вспоминал, — желалось ему на дружка взглянуть. Пятницу и до полудня субботы у больного горлом все куски с кровью выходили. Домашние полагали, что он помрет. Максимовна и жена как убитые ходили. Но к вечеру Варнава Спиридоньч поуспокоился.

— Лед не тронулся? — спросил.

— Собирается. Окрайны показались, от берегов отъело. Гляди, в ночь пойдет.

— Поскорее бы он прошел...

Поотвернулся к стене и замолк.

Максимовна отвела сноху к сторонке и шепнула:

— Теперь я догадываюсь, отчего у него хворь-то: нутренность отбита.

В последние дни чуть не вся деревня перебивала у Шумиловых: мужики и бабы прощенья у Варнавы Спиридоньча просили, что, может, когда в чем не пообидели ли его, словом каким не оскорбили ли.

— Не в чем вас... прощать мне, — чуть слышно отвечал больной. — Я всем... своими дерзкими речами... огорченья причинял. Меня вы, Христа ради, простите... Да нет... я еще поживу с вами...

Всю ночь на светлое воскресенье спал. Домашние тревожились очень, не умер ли. Дыханья не слышно, но дотронулись до головы или руки — теплые.

Утро занялось, солнышко-батюшко ради великого дня христова воскресенья на восходе взыграло, небеса и земля радуются, на голых ветлах, липах и березках скворушки весело распевают, а внизу деревни — шум приятный, лед тростниками шуршит, — в ночь река тронулась. Марья со свекровью давно печку истопили, управились и в избе при-

брались, а Варнава Спиридонич все еще спал. На улице голоса посылшались, скрип телег, — из села от утрени и обедни народ возвращается. Больной открыл глаза, — большие они у него стали и глубокие, — глядит так хорошо и улыбается.

— Да какой у нас нынче день? — осведомился.

Услыхали бабы, возрадовались и поспешили к нему.

— Светлое христово воскресенье, родимый.

Перекрестился.

— Христос воскрес, Варнава Спиридонич! — жена наклонилась и хотела поцеловать.

— Постой, Мариша, — промолвил. — Я сперва умоюсь и богу помоюсь.

Хотела ему помочь, а он рукой отстранил и сам поднялся. Умылся, помолился богу и похристосовался.

— Слава богу, — благодарно вздохнул: — легкость я большую чувствую... Дайте мне переодеться, — и присел на лавку. — А где Андрюша? или спит?

— Вставал, да опять заснул.

Подмастерья с учениками пришли и похристосовались с хозяевами. На столе чистый самовар шумел, старуха яйца поставила, пасху и кулич. Все уселись вокруг, принялись разговляться и чай пить. Прояснились лица, увидав хозяйина за столом, на сердце повеселело.

— Что это? Словно где шумит? — спросил Варнава Спиридонич.

— Лед идет.

Просветлел и глаза на иконы возвел — опять перекрестился.

— Вот отчего мне и легко, — сказал. — Теперь я поправляюсь, выздоровею, — и в окошко посмотрел. — Как на воде-то прекрасно!

Проснулся сынок. Мать умыла его, нарядила во все новое и к отцу повела.

— Христос воскрес, сынок!

Мальченок обнял изо всей силушки отца, целует его и в глаза ему глядит.

— Тятя, тятя, — лопочет. — На мне рубашка новая... поясок какой!

Днем кое-кто заглянул к больному.

— Ну, вот, слава богу, на поправку дело пошло!

Куделины приходили, отец с сыном, Савелий Савельич.

Усанов и Багров, беседовали с больным и речами его добрыми занимали. Щербачеву с чего-то вздумалось о причине недуга осведомиться.

— Отчего такая скорбь к тебе привязалась? Кажется, здоровье у тебя всегда было хорошее!

Услышала Максимовна. Не стерпело ее материнское сердце.

— А скорбь эта, Савелий Савельич, — отвечала, — зачалась у Варнавушки с того раза, как вы его через вороты-то перекидывали. Только она долго не сказывалась, хоронилась, а после кусками да кровью из него стала выходить.

Краска на щеках больного выступила.

— Нет, матушка, не оттого, — промолвил: — фабричное житье во мне эту хворь заложило.

Татьяна Ивановна, жена Багрова, пришла, с хозяевами похристосовалась и подседа к больному.

— Да ты бы прилег, Варнава Спиридоныч, — говорит жена.

— Нет, я посижу, — отвечает. — Налегался я, да и спал нынче хорошо.

Беседует с Татьяной Ивановной. Подмастерья и ученики на улице гуляют, Марья с Андрюшенькою под окошко вышла, а мать во дворе скотину поит. Татьяна Ивановна поговорила да к хозяину с таким вопросом:

Развяжи ты меня, — начала тихо, — не верю — я, а все как будто в сомнении... Скажи ты мне, — нынче день избавления рода человеческого! Правду ли ты говорил... про старика и бабу? Помнишь?

Посмотрел так ясно на собеседницу Варнава Спиридоныч, только улыбочка горькая на устах его шевельнулась.

— Ни в чем подобном я не повинен, Татьяна Ивановна, — ответил кротко. — Не я, ведь, тогда говорил, а голова моя шальная... Хотя фабрика поразвратила меня, но грехам таким я не причастен. Богу на страшном суде в этом не покаюсь и перед людьми не потаюсь: безгрешен.

Встала Татьяна Ивановна, поклонилась в ноги больному и сказала:

— Прости меня, родимый. Спаси тебя христос, развязал ты мою душу.

Поустал больной. Говорил ли он много или слабость опять начала в него вступать, только захотелось прилечь.

Встал, пошатывается; подхватили его под руки, довели до места и положили. Ночь тревожно провел и другой день страдал. Жене с матерью говорил:

— Не верьте, что про слепого и женщину рассказывают... Все неправда... Врал... Одно хвастовство... пьяного человека...

— Да ты не тревожь себя! Знаем, что ты напраслину на себя клепаешь. Успокойся!

Поглядит на жену, на мать и сынка, и слезы, слезы у него из глаз.

— Поднеси ко мне Андрюшу... Я благословлю его.

Вспомнил, что Копытов у него не был. Попросил сходиться к нему и позвать.

Пришел старик.

— Прости меня, Семен Алексеич, — говорит: — я тебя словами и поступками своими оскорбляю... Не я, вино... Прости, Христа ради...

Дрогнуло что-то в суровом лице старика, и он спешно таково ему ответил:

— Бог простит. И ты прости меня, ежели я в чем перед тобою прегрешил.

Ночь Варнава Спиридоныч метался, дыханья у него не доставало, и в муках-то своих предсмертных все спрашивал:

— Прошла река?

— Вечером льду немного уж оставалось. К утру очистится.

А то об Андрее Петровиче затоскует.

— Взглянул бы я на него... впоследствии!

До утра дотянул, но еле уж в нем дух держался, весь расслаб. В полном сознании однако, смотрит с печалью на милых сердцу...

За дверью постучали. Марья вышла. Минуты две спустя воротилась и к кровати мужа подошла.

— Гость к тебе, — сказала.

Дверь отворилась и вошел Андрей Петрович Кулебяшкин — пареньки-то, подмастерья, от себя весть ему дали о хозяине.

Увидел его умирающий, румянец по бледным, впалым щекам разлился, глаза радостно затеплились.

— Андрюша, — слабо вымолвил, — христос воскрес! Приехал... Бог... наградит тебя... за все...

— Друг мой, Варнава Спиридоныч! — начал тихо приезжий. — Как я рад, что вижу тебя.

Присел к кровати, руку друга держит и словами успокаивает. Мать, жена с сынком стоят. Повел на всех очами Варнава Спиридоныч, слезинки выкатились, и к Андрею Петровичу:

— Не оставь, — губами пошевелинул. — Сироты...

Река прошла, разлились воды и унесли Варнаву Спиридоныча. Тихо, без всяких страданий окончался, словно заснул сладко. В последнюю минуту улыбнулся кому-то светло, вздохнул легонько и отдал господу богу свою душепёньку...



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Морачевский. — Филипп Диомидович Нефедов, его жизнь и деятельность</i>	<i>V</i>
<i>Наши фабрики</i>	<i>1</i>
<i>Святки</i>	<i>43</i>
<i>Девичник</i>	<i>101</i>
<i>Семь ключей</i>	<i>145</i>
<i>Чудесник Варнава</i>	<i>223</i>

Ивановская Обл. Научн. Библ.

Отдел Краевед.

Редактор Д. Г. Прокофьев.
Художник В. Н. Говоров.
Технический редактор
В. П. Федоров.
Корректора:
М. В. Сазонов, Н. А. Смир-
нова, А. С. Солодова.

Сдано в набор 17/VII 1936 г. Подпи-
сано к печати 15/XI—21/XI 1936 г.
Тираж 10 200 экз. Изд. № 56. Инд.
XI-6 Уполн. Ивобллита № 1219.
Формат 82,5 × 110/32. Бум. л.
5+6 вклеек. Печ. л. 20. Учетно-
авт. л. 17,5. В бум. л. 143 104 зн.

Типография издательства Ивано-
вского обкома ВКП(б). Иваново,
Типографская, 4. Заказ № 4849.

Цена 5 руб 50 коп.
Переплет 7 руб. 50 коп.





